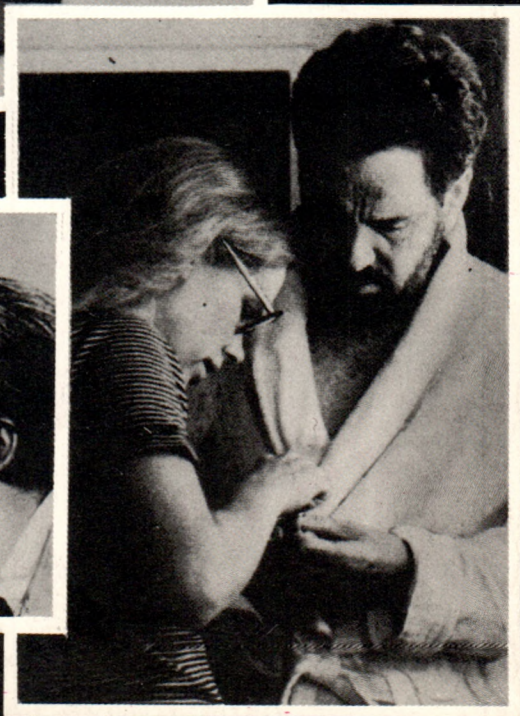


ISSN 0206-8680

Киносценарии 2'92



СДЕЛАЙ
МНЕ
БОЛЬШОЕ
ВЗДУХ



О ЛЮБВИ

Рисунок Анастасии Рюриковой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКАЯ

ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ

БИРЖА

Если вы хотите достичь коммерческого успеха, процветания своего дела, самое верное решение — стать клиентом РТСБ. Сотрудничество с РТСБ — это оперативный доступ к сырью и оборудованию, контакты с надежными партнерами. Сегодня РТСБ — это свыше 1200 брокерских контор во всех республиках и регионах страны. Интерес к работе РТСБ проявляют многие зарубежные фирмы.

*РТСБ — это высококвалифицированный персонал.
РТСБ — это ответственность перед клиентом.
РТСБ — это высокая деловая этика.*

Заявки на участие в торгах РТСБ можно подавать непосредственно брокерским конторам или по биржевому каналу — телефон в Москве: (095) 262-80-80 (работает круглосуточно).

От вас необходимо только одно — знать, что вы хотите продать или что вам нужно купить.

Все остальное — это наши проблемы.

Премия за лучший сценарий присуждена драматургу Владимиру Кунину на Международном кинофестивале в г. Пескаре (Италия) в 1991 г.

**Владимир
КУНИН**



**РЕБРО
АДАМА**

О себе

Когда меня попросили написать мою биографию, я подумал, что в наш деловой и стремительный век уже никого не волнуют пространные жизнеописания. Сухие цифры и максимальная краткость — единственный способ хоть как-то привлечь к себе внимание. Итак.

Я родился шестьдесят пять лет тому назад. 10 мая 1944 года, когда мне еще не исполнилось и семнадцати, я ушел в армию, где и прослужил семь лет. В 1951 году меня уволили из армии, и выяснилось, что я ничего не умею делать. Только стрелять и окапываться. Но стрелять было уже не в кого и окапываться тоже не имело смысла. За пятьсот старых рублей я купил аттестат об окончании средней школы и, как демобилизованный, без вступительных экзаменов поступил в Институт физкультуры и спорта. В 1955 году ректор института обнаружил, что мой аттестат фальшивый, и на всю жизнь подарил мне возможность писать в анкетах, что у меня «незаконченное высшее образование». К тому времени я уже был мастером спорта по акробатике и меня с удовольствием приняли в цирк акробатом-вольтижером. Шесть лет я счастливо отработал на аренах всех цирков — от Львова до Владивостока и от Мурманска до Душанбе. В 1961 году я разбился на детском утреннике, отлежал четыре месяца в трех больницах и там сочинил два слабых рассказа про цирк.

На журнал «Советский цирк» это произвело такое шокирующее впечатление, как если бы шимпанзе заговорило человеческим голосом. Рассказы тут же напечатали! Еще два года я был специальным корреспондентом этого журнала и газеты «Советская культура». Успел написать семьдесят статей, очерков и фельетонов. Плюс один киносценарий. Как только фильм по этому сценарию был сделан, меня тут же выгнали отовсюду. Кому-то «наверху» показалось, что фильм антисоветский. Второй мой фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика» появился только в 1967 году. С тех пор я сочинил тридцать пять киносценариев. По ним было снято двадцать девять фильмов. Из них — пять хороших. Еще я написал около тридцати сценариев для коротких документальных фильмов, которых не видел никто.

Четыре года тому назад появилась «Интердевочка». И жизнь моя стала чудовищной. Фильм выдержал девять изданий в Советском Союзе... В СНГ?.. Короче — у нас! И еще в двадцать одной стране. Общий тираж — 2 750 000. Читатели книги обрушили на меня и издательства 400 000 писем, где пятьдесят процентов авторов превозносили «Интердевочку», а другие пятьдесят требовали повесить меня за ноги, сжечь и развеять мой прах по ветру...

Из-за своей привычной лени я умудрился не ответить ни на одно письмо. Хотя иногда так и подмывало припомнить Ярослава Гашека, который в послесловии к первой части бессмертного романа о Швейке написал:

«Жизнь — не школа для обучения светским манерам. А наш роман — не пособие о том, как держать себя в свете, и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе. Это историческая картина определенной эпохи... Хорошо воспитанный человек может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова».

Об этой цитате из Гашека мне напомнил в письме один полковник милиции. Он тридцать лет проработал в уголовном розыске и всю свою сознательную жизнь боролся с явлением, которого у нас, в социалистическом обществе, до недавней поры якобы не существовало.

И я очень благодарен ему за эту подсказку...

17 января 1992 г.



На рассвете, в блекло-серой стариковской толпе блочных «хрущоб», взламывая тоскивый пятиэтажный ранжир, внуками-акселератами редко и нелепо торчат сытые восемнадцатизэтажные красавцы из оранжево-бежевого кирпича.

И все-таки это Москва, Москва, Москва...

И не так уж далеко от центра. По нынешнему счету — рукой подать. Ровно посередине: между ГУМом и Окружной дорогой.

Двухкомнатные квартиры в пятиэтажках — обычные для всей страны. Крохотная кухонька, совмещенный санузел, проходная комната побольше, тупиковая — поменьше.

Обветшалая современная мебель стоит вперемешку с александровскими и павловскими креслицами и шкафчиками красного дерева. В облупившемся багете — два пейзажа начала века кого-то из Клеверов.

В полупотемках громко тикает будильник. Через десять минут, ровно в семь, он безжалостно затрезвонит на всю квартиру.

Нина Елизаровна проснулась до звонка, и со своего дивана следит за неотвратимым движением красной секундной стрелки. Нине Елизаровне — сорок девять. Она красива той породистой, интеллигентной красотой, которая приходит к простоватым хорошеньким женщинам только в зрелом возрасте и вселяет обманчивую уверенность в окружающих, что в молодости она была чудо как хороша!..

По другую сторону обеденного стола, на раскладушке, в глубоком утреннем сне разметалась младшая дочь Нины Елизаровны от второго брака — пятнадцатилетняя Настя.

Вдруг из-за приоткрытой двери во вторую комнату, в абсолютной тишине, раздается мощный удар колокола!..

Настя тут же натягивает одеяло на голову. Нина Елизаровна зевает и слегка раздраженно спрашивает:

— Ну что там еще?

И женский голос из-за двери спокойно отвечает:

— Все нормально, мамуля. Спи. Бабушка судно просит.

В маленькой комнате на огромной кровати красного дерева лежит парализованная, потерявшая речь семидесятивосьмилетняя мать Нины Елизаровны. Над постелью уйма фотографий в стареньких рамках.

У старухи действует только одна правая рука, и для общения с миром над ее головой к стене прикреплена старинная корабельная рында. Когда Бабушке нужно обратить на себя внимание или кого-то позвать, она дерга-

ет за веревку, свисающую от языка колокола, и тогда медный церковный гул несется по всей квартире...

Происхождение корабельной рынды в этом сугубо женском мире можно угадать по фотографиям ушедших лет: Бабушка в фетровой шляпке с Дедушкой в довоенном флотском кителе; Дедушка в орденах с Бабушкой и маленькой Ниной; Дедушка в адмиральском мундире; совсем юный Дедушка в матросской форменке...

Здесь же, на узкой кушетке пятидесятых годов, живет двадцатилетняя Лида — старшая дочь Нины Елизаровны от первого брака.

Полуодетая Лида ловко и привычно подсовывает под старуху судно, прислушивается к приглушенному одеялом журчанию и ласково говорит:

— Ну вот и славненько...

Лицо старухи неподвижно. Только глаза живо и неотрывно следят за Лидой и слабо шевелится правый угол беззубого рта.

— Сейчас, сейчас, — понимает Лида и подает Бабушке поильник.

Старуха удовлетворенно прикрывает глаза и начинает пить холодный чай. Из левого неподвижного уголка рта чай выливается на дряблую морщинистую щеку, затекает на шею, растворяется на подушке мокрым желтоватым пятном. Лида терпеливо подкладывает заранее приготовленное полотенце.

В комнату входит Нина Елизаровна:

— Доброе утро, мама. Тебе овсянку сделать или манную?

У старухи чуть вздрагивает правый уголок рта. Нина Елизаровна вопросительно смотрит на старшую дочь. Лида тут же «переводит»:

— Бабушка сегодня хочет овсянку. Мамуля, где последний «Огонек» со статьей этого... ну, как его?!

В большой комнате звенит будильник.

— Настя! Вставай! — кричит Нина Елизаровна. — Лидуня, я понятия не имею, где «Огонек»... Настя! Черт бы тебя побрал! Ты когда-нибудь научись просыпаться сама?

— Ну, мамочка... — ноет Настя из другой комнаты.

Лида накидывает старенький халатик и говорит Нине Елизаровне:

— Мамуля, покорми, пожалуйста, бабушку, а я в ванную.

По дороге она расталкивает Настю:

— Настюхочка, вынеси судно из-под бабушки.

— Нет! Нет! Нет!... — вопит Настя. — Я туда даже войти не могу! Там запах! Меня тошнит!

— Это подло. Бабушка тебя на руках вынянчила, — горько говорит Лида и уходит в ванную.

— А я просила?! Я просила, чтобы она ме-

ня нянчила?!

— Анастасия! Немедленно вынеси судно! Лидочка живет в той комнате, а ты...— кричит Нина Елизаровна.

— А может, она принохалась?! А меня вырвет!

— Не вырвет.

Нина Елизаровна проходит в ванную, где Лида уже принимает душ за полупрозрачной пленкой.

Нина Елизаровна плотно прикрывает дверь, берет зубную щетку, выдавливает на нее пасту и вдруг начинает внимательно разглядывать в зеркале каждую морщинку на своем лице. Многое ей не нравится в своем отражении. Она досадливо морщится и решительно начинает чистить зубы.

— Вчера вечером звонил твой отец.

— Что ему было нужно? — спрашивает Лида.

— Понятия не имею. Наверное, опять хотел пригласить тебя на их сборище.

— Боже меня упаси! Ничего более отвратительного я... Я вообще не понимаю, как папа — адвокат, интеллигентный человек...

— Да какой он интеллигентный? — Нина Елизаровна сплюнула пасту в раковину.— О чем ты говоришь?! Типичная советская «образованщина». Всю жизнь был напыщен, глуп и безапелляционен. Да и мужик — крайне посредственных возможностей...

— Бедная мамочка, куда же ты смотрела?

— Дура была. Молоденькая дура... А как только я вышла за Александра Наумовича, твой папа совершенно цокнул: его личный счет к Александру Наумовичу сразу приобрел идейно-национальную окраску. Что у тебя с Андреем Павловичем?

— Ничего нового...

— Он собирается делать какие-то шаги?

Ответить Лида не успевает. В дверях ванной появляется Настя в одних крохотных трусиках:

— Вы скоро? Я на горшок хочу.

— Что ты шляешься без тапочек, да еще и сиськами размахиваешь? — рывкает Нина Елизаровна.— Сейчас же надень лифчик!

— Лифчики уже давно никто не носит,— нахально заявляет Настя.— Конечно, кому грудь позволяет.

— А по заднице не хочешь? — обижается Нина Елизаровна.

— Нет. Я на горшок хочу.

Бабушка напряженно прислушивается к перебранке, глядя в проем двери. Затем ее взгляд скользит по стене со старыми фотографиями. И останавливается на одной, где совсем еще юная Бабушка (ну копия нынешней Насти!..) вместе с тощим семнадцатилетним Дедушкой и его Другом сидят под роскошными нарисованными пальмами.

В глазах Бабушки начинают меркнуть цвета ее сиюсекундного восприятия мира, и уже в черно-белом изображении, сначала неясно, а потом все четче и четче, Бабушка видит...

... Дедушку, себя и их Друга за столом на крохотной клубной сцене. Бабушка размахивает руками, что-то решительно кричит в небольшой зальчик, набитый шумной космополитией тридцатых годов. Дедушка и его Друг восхищенно переглядываются за ее спиной — вот такая у них подруга! Бабушка видит их краем глаза и от этого безмерно счастлива!..

Видение исчезает, мир снова становится цветным. Неопрятная, парализованная старуха медленно поднимает единственную живую правую трясущуюся руку, берет веревку от корабельной рынды и...

Бом-м-м!!! Колокольный звон заполняет квартиру.

Голая Лида выскакивает из-под душа, накидывает на себя халатик, шелкает Настю по голове и с криком: «Господи! Судно! Какой стервозный ребенок вырос!» мчится в комнату Бабушки.

Но вот Бабушка накормлена и причесана, все позавтракали, постели убраны.

За кухонным столом, друг против друга, каждая со своим зеркальцем, сидят Нина Елизаровна и Настя. Наводят утренний макияж.

— Положи сейчас же мою кисточку,— строго говорит Нина Елизаровна Насте.— И не лезь пальцами в крем, лахудра! Ты свое дурацкое ПТУ сначала закончи, а потом рожу разрисовывай!

— Мамуля, я прохожу производственную практику во взрослом коллективе и обязана быть на уровне. А во-вторых, у нас не ПТУ, а Школа торгового ученичества.

— Огромная разница — Кембридж и Сорбонна!

Нина Елизаровна встает, вынимает из кухонного шкафчика деньги:

— Так! Маленькое объявление! На носу день рождения бабушки, и я резко сокращаю расходы. Лидочка! Тебе двух рублей на сегодня хватит?

— Да! Да! — кричит из комнаты Лида.— Я еще, может быть, завтра получу отпускные и кое-что оставлю вам. Господи! Ну где же моя голубая косыночка?!

— Настя, тебе — рубль. Себе я беру... Вермишель... Масло... Хлеб... Картошка... Короче, на всякий случай я беру пять рублей,— говорит Нина Елизаровна, и жалкие остатки семейных денег снова исчезают в кухонном шкафчике.

С улицы раздается автомобильный сигнал.

Настя прыгает к окну:

— Лидуня, твой приехал!...

— Настя... — укоризненно шипит Нина Елизаровна.

— О, Боже!.. — стонет Лида. — Ну где?.. Где моя голубая косыночка?! Настя, ты не видела, где моя косыночка?

Настя невозмутимо снимает с шеи голубую косынку:

— На, на, нужна она мне. Тьфу!..

Лида возмущенно охает, хватая косынку и мчится к дверям.

Через окно Настя видит, как Лида выскакивает на улицу, как целует ее Андрей Павлович, и задумчиво говорит:

— Странно. Кандидат... В таком прикиде...

А тачка — полное говно.

— Настя! — возмущенно кричит Нина Елизаровна.

Неподвижно лежит в своей комнате Бабушка. Все видит, все слышит.

Андрей Павлович старше Лиды лет на десять. Машиной он управляет легко, свободно, как истинный москвич-водитель, раз и навсегда решивший для себя, что «автомобиль не роскошь, а средство».

На ходу Андрей Павлович целует Лиду в щеку, вытаскивает из «бардачка» связку квартирных ключей и весело потряхивает ими перед лицом Лиды.

— Новая хата? — спрашивает Лида.

— Ну зачем так цинично? Я бы назвал это «смена явки». Пароль тот же. Рыжов уехал в Ленинград и оставил нам это. Так что после работы я в твоём распоряжении до двадцати трех часов.

— А к двадцати трем вернется Рыжов?

— Нет. Он уехал на неделю. Это я должен к двадцати трем...

— А! Вон оно что...

Тут Андрей Павлович огорчается и прячет ключи...

— Ну, Лидка... Это уже ниже пояса... Ты же знаешь...

Лида наклоняется к его правой руке, лежащей на руле, целует ее и жалобно, раскаянно бормочет:

— Прости меня, Андрюшенька... Прости меня, дуру тоскливую. Просто после двадцати трех я каждый раз становлюсь такой одинокой...

— Ладно, ладно тебе, — Андрей Павлович растроганно гладит Лиду по лицу, притормаживает машину и останавливается у тротуара.

Лида обреченно вздыхает, открывает двер-

цу и покорно выходит.

Автомобиль Андрея Павловича трогается с места, проезжает сто метров до перекрестка и сворачивает за угол. Лида пешком шагает в том же направлении...

... Зато, когда через десять минут Лида входит в свой многолюдный отдел, Андрей Павлович с обаятельной непосредственностью приветствует ее первым:

— Доброе утро, Лидочка! Здравствуйте! — и машет ей рукой.

— Доброе утро, Андрей Павлович, — отвечает Лида и проходит к своему рабочему столу. — Здравствуйте, девочки.

И все тоже радостно здороваются с Лидой. Все действительно рады видеть ее, Андрея Павловича, друг друга и ощущать себя замечательным дружным коллективом, объединенным не только общим делом, но и общей, очень личной тайной...

Сквозь открытую дверь Бабушка видит опустевшую большую комнату, старые настенные часы с безжизненным маятником, потом — фотографии над своей кроватью. На одной — прифранченная компания у дверей Замоскворецкого ЗАГСа. В центре — девятнадцатилетняя Бабушка с розочкой в волосах и военный морячок Дедушка. Тут же Друг в форме курсанта какого-то училища. Все уставились в объектив.

И в остатках бабушкиного мозга всплывают черно-белые воспоминания...

...На свадьбе кричат «горько!» Они встают, целуются. А когда Бабушка садится между Дедушкой и Другом, Друг опускает руку под стол и, под прикрытием свисающей скатерти, гладит Бабушку по फिल्деперсовому колену и выше, до края чулка, пристегнутого широкой кружевной резинкой. Бабушка делает вид, что ничего не происходит, обнимает Дедушку за шею и счастливо хохочет...

Бом-м-м!.. Тугой медный гул плывет по пустой квартире.

Бабушка отпускает веревку колокола. Сухонькая ручонка в изнеможении падает на одеяло, глаза впииваются в проем распахнутой двери.

Секунда... вторая... третья... И некому прибежать на Бабушкин жалкий набатный призыв. Глаза ее прикрываются, и по щеке, к уху, ползет слеза...

Нина Елизаровна ведет посетителей по небольшому зальчику своего музея. С указкой в руке, в элегантно-модном костюме, на высоких каблуках, она выглядит чрезвычайно

привлекательно. Мужчины-экскурсанты разглядывают ее с гораздо большим интересом, чем фотографии каких-то документов и ученические копии с изначально плохих полотен. И это справедливо. Как сказал поэт — «ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь!»

Посетители музея почти все приезжие или проезжающие через Москву, что легко угадывается по апельсинам в сетках, по вареным колбасам в сумках, по коробкам с чешской обувью.

Это же обстоятельство характеризует и музей Нины Елизаровны как третесортный — попробуй-ка, сунься с апельсинами в «Третьяковку»!..

Позади группы экскурсантов бредет невзрачный человек с доброй и смущенной физиономией. Зовут его Евгений Анатольевич. Ему лет пятьдесят с хвостиком.

И Нина Елизаровна, не умолкая ни на секунду, изредка сочувственно поглядывает в его сторону. Один раз она даже улыбнулась ему...

От этой улыбки он счастливо шалает, да так явственно, что если бы группа в этот момент не была так увлечена копией скульптуры «Булыжник — оружие пролетариата», а узрела бы лицо Евгения Анатольевича, то все в один голос заявили бы, что он нармерно влюблен в Нину Елизаровну...

А через минуту, уже в другом зале, Нина Елизаровна оглядывает свою паству и понимает, что потеряла Евгения Анатольевича. От неожиданности она сбивается с накатанного ритма и растерянно замолкает.

Однако профессионализм берет верх, и уже через мгновение речь ее льется снова легко и свободно. Только глаза все время ищут Евгения Анатольевича...

Блям-м-м!.. — слабенький удар колокола растекается по квартире.

Не мигая Бабушка смотрит в дверной проем. Ждет...

И не дождавшись, неверной правой рукой с трудом подносит ко рту поильник. Холодный чай течет по подбородку, по дряблой морщинистой шее, расплывается по подушке, по пододеяльнику...

Но Бабушка этого не чувствует. Глаза ее вонзились в довоенную фотографию — весело хохочет Дедушка в форменной шапке с «крабом», куртке с меховым воротником. Держит в руке веревку от обледелой корабельной рынды — той самой, что сейчас висит у Бабушки над головой. А вокруг Дедушки льды, снега и ужасно Крайний Север...

...Эту фотографию молоденькая Бабушка

(до жути похожая на сегодняшнюю Лиду!) показывает Другу. У Друга в петлицах — «шпала», а на портупее — пистолет. Потом Друг смотрит вместе с Бабушкой в окно. Внизу три человека в кожаных регланах подсаживают в «воронок» пожилого полуподетого человека. Друг быстро надевает такой же реглан и фуражку, по-братски целует Бабушку и гладит ее по выпуклому животу. И они оба смеются.

Из окна Бабушка видит, как Друг выходит на улицу, проверяет, как заперли «воронок», а сам садится в легковушку. Машины трогаются. Бабушка, счастливо улыбаясь, машет Другу вслед рукой...

Новые районы всех городов страны очень остроумно застроены одинаковыми «Торговыми центрами». Первый этаж — продовольственный магазин, второй — столовая, районное лицо общепита. Слева — вход в сапожную мастерскую или ателье, справа — стыдливо исключенный из общей гастрономии винный отдел. Над сапожной мастерской обычно — контора жэка, над винным отделом — штаб Добровольной Народной Дружины или каморка участкового милиционера.

«Торговый центр» закрыт на обеденный перерыв. У замкнутых дверей продуктового магазина черно-серые старушки покорно ждут открытия. От запертого винного отдела змеится мрачноватая очередь еще трезвых мужчин.

С тыльной стороны «центра» — завал из разбитых бочек, смятых картонных коробок, горы ломаных тарных ящиков.

Тут еще одна очередь — у пункта приема стеклотары. Сумки, сетки, чемоданы, рюкзаки с бутылками. В отличие от очередей у магазина, эта очередь являет собой говорливое, неунывающее братство.

В грязном отгороженном тупичке магазинного лабиринта, на ящиках из-под марокканских апельсинов сидят Настя и Мишка.

Мишке — двадцать один год. Он в кроссовках, вельветовых порточках и в теплой «вареной» курточке с белым воротничком из искусственного меха.

Настя покуривает, Мишка захлебывается новостями:

— ...такие возможности, малыш, полный атас! Люди... Солидняк, с «волгарами». Главный — на «мерседесе»! «Старик, — это мне главный говорит. — Старик, сейчас само время раскрыло тебе свои объятия! Копеечка только ленивому в рот не течет! Хочешь, — говорит, — становись на штамп, прессуй кнопки. На пластмассе гарантирую полштуки, на металле — до восьмисот! Через год у тебя квартира, через полтора — тачка.

Не хочешь уродоваться на станке — ты же десантник, — давай в охрану. Штука обеспечена.

— Что? — не поняла Настя.

— Тысяча за охрану кооператива.

— Сторожем, что ли?

— Малыш! — Мишка даже за голову схватился. — Ну, ты даешь! «Сторожем!» Теперь все, как у людей: есть рэкет — шобла, которая шерстит кооператоров. С каждого дела — две-три тысячи в месяц. А этих дел сейчас по Москве — хоть задницей ешь.

— Как это? — удивилась Настя.

— А очень просто. Ты имеешь свое дело. Кооперативное. Я прихожу к тебе и говорю: «Анастасия Александровна, хотите спокойно жить и работать?» Ты говоришь: «Хочу». Так вот, говорю, извольте ежемесячно отстегивать нам столько-то и столько-то... Поняла? И так с каждого.

— А я не могу тебе сказать: «Вали-ка ты, Миша»?

— Вполне. Утром приезжаешь — оборудование разгромлено, помещение сожжено. Я прихожу снова. Спрашиваю: «Ну как, Анастасия Александровна?» И ты отстегиваешь, что с тебя просят, или тебя подвешивают где-нибудь в лесочке за ноги и раскаленным утюжком по животу. И вот от них этот кооператив надо защищать.

— А если в милицию?

— А там что, не люди? Я тебя умоляю!.. Все хотят вкусно кушать. Слушай, ты можешь не курить? Ну что это такое? Сколько раз...

— Не ханжи. Дальше.

— Я к Сереге. С которым демобилизовывался... А Серега говорит: «На хрена нам эти кооперативы? Что мы, даром два года в ВДВ отмантулили? Лучше сразу в рэкет. Главное — в приличную шоблу встрять. Мы — ребята тренированные, а там, если с головой...»

— Но ты же хотел на юрфак?!

— Пока эту халяву не прикрыли, надо материальную базу создать. А уже потом...

— Дурак ты, Мишаня, — лениво говорит Настя, сплевывает и выщелкивает окурок. — То ты в кооператив, то в охрану, то в бандиты. Ну просто прямой путь на юридический факультет!

— Я свою дорогу в жизни ищу, малолетка ты хренова! Это ты можешь понять?! — взбеленился Мишка. — Я к тебе, как к самому близкому... А ты?! Если бы тогда меня от Афгана не отмазали, я бы сейчас полные руки «сертов» имел! За два года, знаешь, сколько я бы этих чеков Внешторгбанка привез?! Вот тогда бы я сразу в университет! Участник войны, капусты навалом...

— А если бы тебя оттуда в таком симпатичном цинковом гробике привезли?

— Ладно тебе. Не всех убили. Кто-то и своими ногами пришел.

Из служебных дверей магазина выглядывает старшая продавщица Клава:

— Настя, кончай перекур, открываемся!

— Иду, тетя Клава! — кричит Настя и говорит Мишке: — Мишка ты Мишка, неохота мне сегодня тебе настроение портить. Чеши. Зайдешь за мной вечером. Мне еще товар принимать.

И Настя направляется к дверям служебного входа.

Бабушка лежит в пустой квартире, не мигая смотрит в потолок. И возникает в глазах ее бесшумное и бесцветное видение...

*...На стеклах, крест-накрест, наивные бу-
мажные полоски сорок второго года. Голая
Бабушка, чуть прикрытая одеялом, курит
в смятой постели. Из уборной возвра-
щается Друг — в кальсонах, носках, в на-
кинутом на плечи кителе с тремя «шпалами».
Деловито натягивает галфе.*

*Скрипнула дверь. Друг, в полуодетых шта-
нах, подхватил портупею, белые комсостав-
ские бурки, метнулся за портьеру.*

*На пороге спальни стоит заплаканная двух-
летняя Нина в ночной рубашке. Бабушка
рассмеялась, вскопчила, подхватила дочь,
бухнулась с няю в постель — так, чтобы
Нина оказалась спиной к Другу.*

*Друг выходит из-за портьеры в полной
своей эмгэбэшной форме и тихо исчезает...
А Бабушка счастливо целует Нине малень-
кие озябшие ножки, отогревает ее своим
веселым материнским дыханием.*

В конце первой половины дня Нина Елизаровна с двумя продуктовыми сумками и уже в обычных уличных туфлях без каблуков быстрым шагом подходит к своему дому. И сразу же видит стоящего у парадного подъезда Евгения Анатольевича с тремя гвоздичками в руках.

— Господи, Евгений Анатольевич, как вы меня напугали! — набрасывается на него Нина Елизаровна. — Куда это вы подевались, черт вас побери?! Я уж думала, что вам плохо стало...

Евгений Анатольевич робко улыбается и молчит.

— И вообще, как вы узнали, где я живу? Евгений Анатольевич смущенно пожимает плечами.

— Вы что, сыщик, что ли?

— Нет. Инженер.

— С вами все в порядке?

— А что со мной может случиться?

— А черт вас знает! Две недели ходить в один и тот же музей — любой может сбрендить.

— Я не в музей хожу.

— А куда же?

— К вам.

Нина Елизаровна смотрится в отражающее стекло входной двери подъезда, поправляет волосы и с удовольствием говорит:

— Да ну вас к лешему, Евгений Анатольевич! Я старая баба...

— Я люблю вас, Нина Елизаровна...

— Эй! Эй!.. Вы с ума сошли! — искренне пугается Нина Елизаровна. — У меня мать парализованная, у меня две взрослые дочери от очень разных мужей! Я себе уже давным-давно не принадлежу...

— Но я люблю вас, — тихо повторяет Евгений Анатольевич.

— Вы — псих! Сейчас же прекратите ходить в наш музей! Я смотрю, на вас историко-революционная экспозиция действует разрушительно. Совсем мужик чокнулся! Ну надо же! Террорист какой-то!

Нина Елизаровна видит, как дрожат гвоздики в руках у Евгения Анатольевича, и добавляет:

— Что вы трясетесь, как огородное пугало на ветру? Давайте сейчас же сюда цветы! Если это, конечно, мне, а не какой-нибудь молоденькой профурсетке...

Евгений Анатольевич счастливо протягивает ей цветы.

— И... черт с вами! Приходите ко мне завтра часам к десяти утра. Я завтра работаю во второй половине дня. Хоть накормлю вас нормально. Небось лопаете бог знает где и что попало! Квартира тринадцать... — Я знаю.

Нина Елизаровна оглядывает Евгения Анатольевича с головы до ног:

— Нет, вы определенно чудовищно подзирательный тип!

Бом-м-м!.. Удар колокола совпадает со звуком открывающейся двери, и в квартиру влетает запыхавшаяся Нина Елизаровна.

— Не волнуйся, мамочка! Сейчас, сейчас! Уже бегу! Сейчас перестелю, обедом тебя накормлю...

Чуть дрогнул правый уголок безжизненного старушечьего рта. Прищурился слегка немигающий правый глаз. Это что, улыбка?..

Над головой у Бабушки покачивается веревка от языка колокола.

Андрей Павлович сидит у окна, лицом к подчиненным ему сотрудникам. На самом большом от него удалении — стол Лиды. Около Лиды стоит ее бывшая сокурсница и лучшая подруга Марина — модная, уверенная, эффектная.

Они разглядывают лежащий на коленях у Лиды «фирменный» пакет с шоколадной

девицей в микротрусиках и тоненьком лифчике. А за девицей — зеленые пальмы, желтое солнце, синий океан.

— Гонконг. Дешевка, — презрительно говорит Марина.

— «Дешевка»... Пятьдесят рэ, — грустно шепчет Лида.

— Хороший купальник тянет на двести пятьдесят.

— Это еще что за купальник?

— Гораздо более открытый. Один намек.

— О боже! Кошмар!

— Я дам тебе этот полтинник. Не ной. Отдашь, когда сможешь. Важно в принципе — ехать тебе с ним или нет?

Нина Елизаровна кормит мать обедом.

Еле теплящаяся, неподвижная старуха жадно открывает живую половину рта, и Нина Елизаровна привычно и ловко сует туда то ложку с супчиком, то кусочек куриной котлетки, размятой в кашу. Одновременно она делает десятки маленьких, незаметных дел — вытирает Бабушке лицо, подкладывает салфетку под шею, поправляет одеяло, поудобнее подтыкает под головой старухи подушку, сует ей в рот поильник, смахивает с постели крошки...

И болтает, болтает, болтает... Она болтает с матерью так же привычно, как и кормит ее. Без ожидания ответа, реакции на сказанное, со святой убежденностью в том, что старуха слушает ее и понимает.

— ...и я клянусь тебе, мамочка, Настя очень нежно к тебе относится! — говорит Нина Елизаровна. — По-своему, по-дурачки — с какими-то своими представлениями о родственных связях, человеческих ценностях... Пятнадцать лет — чудовищный возраст! Шенки, лающие басом. Умоляю тебя, мамуленька... Ну, вспомни Лиду... Меня наконец! В пятнадцать лет мы были такими же стервами! Тоже казалось, что мы — центр мироздания, а все остальные... Подожди, я здесь чуть-чуть подотру... Ну, давай еще ложечку... Замечательно! И потом это бездарное ПТУ! Ну что такое? Как ребенок интеллигентных родителей, так обязательно — ПТУ, или Школа торгового ученичества, или педучилище — в лучшем случае. Одну ложечку... Вот так, молодец! А как только это ребенок из нормальной рабочей семьи или из деревни — так пальцы в кровь, морду всмятку, деньги на бочку — но чтобы школа с медалью, институт с красным дипломом! А потом Москва. А там... Отлаженная демагогическая система, цепь необходимых предательств, бешеная общественная работа и... Здравсте, пожалуйста! Они уже едут за границы, они уже заседают, они уже на мавзолее стоят! Стой, стой, мамуля! Сейчас... Горячего молочка... Вот так!

И желудок будет работать лучше. И происходит какая-то двухсторонняя деградация. Революция продолжается по сей день — кто был ничем, тот станет всем! Размочить тебе печенье в молоке? Кухарки обязательно хотят управлять государством, жутко мешают друг другу, ссорятся, толкаются, как лакеи в прихожей! Не горячо, мамуля? Ну, не торопись, не торопись... Потом они ненадолго объединяются, наваливаются всем миром на интеллигенцию... Ты же понимаешь, что тут они едины. Это их инстинкт самосохранения, которого мы почему-то лишены. Раньше — за шкуру и в кутузку, в лучшем случае, коленом под зад — и катись колбаской по Малой Спасской! Теперь проще: собирают в Кремле, кормят с рук, обливают до состояния глазированной и тихо опускают до собственного уровня. До того уровня, на котором уже можно разговаривать командным тоном, а он будет тебе казаться доверительной беседой на равных. Фантастика! Тебе судно подать? Ты побольшему хочешь или по-маленькому?

Неподалеку от Киевского вокзала, рядом с Дорогомиловским мостом, в громадном угловом доме, одним крылом выходящем на набережную Москвы-реки, помещается маленький винно-водочный магазинчик. А вокруг него — толпа из вокзально-приезжего и местно-ханжного люда. У дверей магазинчика два милиционера мужественно и самоотверженно сдерживают народное волнение.

— По три сорок семь осталось всего одиннадцать ящиков! — кричит один милиционер в мегафон. — Кому по три сорок семь — больше не становитесь! Только по два пузыря в одни руки!

Толпа в ужасе ахает и еще сильнее наваливается на дверь магазина.

Длинный, тощий, бывшего интеллигентного вида, в очках, в замызганном плаще, мужчина с портфелем взмывает в серое небо костлявый кулачок, кричит милиционерам:

— Опричники!

Какой-то звероподобный человек вываливается из магазина с охапкой бутылок, хрипит в толпу:

— По девять десять кончилась, только «Сибирская» по семнадцать!

И тогда из толпы раздается тоненький, исполненный подлинного трагизма крик:

— Господи!!! Да что же это?! Для милиционеров что ли?

Но в эту секунду из дверей магазинчика с диким трудом и риском для жизни выдирается расхристаный и растерзанный Евгений Анатольевич, счастливо прижимая к груди одну-единственную бутылку шампанского.

Толпа немеет.

— Святой!.. — в ужасе шепчет один.

— Может, болен человек, — сочувственно произносит второй.

Растерянный Евгений Анатольевич пытается привести себя в порядок, но напряжившийся от необычной ситуации милиционер негромко приказывает ему в мегафон:

— Гражданин! Проходите, проходите со своим шампанским. Не собирайте народ.

Под вечер в подъезде стоят Мишка и Настя. В ногах у них туго набитая сумка с длинным ремнем.

Мишка прижимает Настю к стенке, тискает ей грудь под свитерком.

— Поехали к нам, малыш. Мамашка сегодня в вечер.

— Нет. Неохота, Мишаня.

— Поехали, Настюш. Котеночек, поехали!.. На таксырнике — туда и обратно. Не надолго. На полчаса.

Настя вытаскивает Мишкину руку из-под свитера.

— Ну сказала же, неохота, — она пихает ногой лежащую сумку. — Это надо в морозильник затолкать... У бабушки день рождения скоро. Мне тетя Клава с таким трудом достала эту шелупонь. Я ей даже деньги еще за это не отдала.

— Сколько надо? — Мишка с готовностью лезет в карман.

— Обойдемся. У меня степуха на днях.

— Обижает, малыш.

Настя подхватывает сумку на плечо:

— Чао!

— А завтра?

— Посмотрим. Как еще будешь себя вести, — усмехается Настя.

— Не понял?

Настя уже стоит тремя ступеньками выше:

— Я же сказала — завтра на тебя и посмотрим.

И уходит вверх по лестнице.

В неухоженной чужой холостяцкой квартирке, на широкой продавленной тахте, еле прикрытые простыней лежат обнаженные Лида и Андрей Павлович.

Андрей Павлович на спине, глаза в потолок. Волосы слиплись от пота, лицо и шея мокрые, дыхание еще не выровнялось, но он уже жадно затягивается сигаретой.

Лида лежит на животе, обнимает Андрея Павловича, губы ее нежно скользят по его груди.

Глаза у Лиды закрыты, и она, к счастью, не видит, что Андрею Павловичу это уже сейчас не очень приятно и он даже досадливо морщится. А еще ему ужасно хочется посмотреть на свои наручные часы...

— Ну почему, почему мы не можем лететь вместе? — вздыхает Лида.

Андрей Павлович на секунду прикрывает глаза, как человек, который уже в сотый раз слышит один и тот же вопрос, и, стараясь придать своему голосу максимально нежные интонации, отвечает:

— Солнышко мое, ну, на это уйма причин. Во-первых, меня могут поехать провожать в аэропорт. Ты будешь чувствовать себя неловко, я буду выгладеть по-дурацки. Зачем? Зачем столько унижений? А так — я вылетаю первым, выю гнездо и через три дня встречаю тебя в Адлере. Зато потом, на море, целый месяц только вдвоем! Ну, пойми меня. И кланюсь тебе...

— Господи, господи!.. — шепчет Лида и зарывается носом в плечо Андрея Павловича. — Обними хоть меня.

— Конечно, конечно, родная моя! — Андрей Павлович поспешно обнимает Лиду и получает долгожданную возможность посмотреть из-за ее головы на свои часы.

— И не смотри ты на свои часы, черт бы тебя побрал! — стонет Лида.

Нина Елизаровна гладит белье на кухне.

В комнате Настя сидит перед телевизором. Равнодушно, без малейшего интереса смотрит какой-то старый военный фильм.

Настежь открыта дверь в бабушкину комнату. Бабушка протягивает руку к веревке от рынды.

Бом-м-м!!!

Неподвижно продолжает сидеть Настя.

В кухне Нина Елизаровна бросает взгляд на часы и кричит:

— Настя, ты же видишь, что я готовлю Лидочку к отпуску! У меня же не десять рук! Сейчас же переключи на бабушкину программу! Ну что за ребенок?!

Настя лениво встает из кресла, щелкает переключателем, и на экране телевизора появляется Хрюша с партнерами из передачи «Спокойной ночи, малыши».

— И отодвинься! — кричит Нина Елизаровна, сбрызгивая пересохшее белье. — Не перекрывай бабушке экран!

Из своей комнаты Бабушка внимательно следит за кукольно-назидательным сюжетом, напряженно вслушиваясь в голоса телетрагедии.

Что-то напевает на кухне Нина Елизаровна.

Настя медленно встает с дивана, подходит к старенькому комоду красного дерева, уставленному женскими безделушками и шкатулками, и открывает самую большую шкатулку, доверху набитую лекарствами.

На экране Хрюша уже показывает мальчишечкам и девочкам всей страны ветхозавет-

ный мультфильм, и Бабушка с тоской отводит глаза.

...Под корабельной рындой, на отрывном календаре — 23 февраля 1947 года.

В большой адмиральской квартире Дедушка в компании флотских приятелей весело, шумно и пьяно празднует получение юбилейной медали «30 лет Советской Армии и Флота».

Вокруг стола порхает Бабушка в крепкожжете. Рядом с Дедушкой сидит его верный Друг — единственный не морской офицер. Маленькая Нина считает орденские колодки на отцовском кителе и на висящем портрете министра обороны Булганина...

— Ура! У министра меньше, чем у папы!

Пьяный Дедушка весело снимает со своего кителя новенькую медаль и прикалывает ее к портрету. И получилось смешно! Бабушка хохочет, целует Дедушку, пряча глаза от Друга. Все веселятся, кричат, чокаются с портретом, пьют за здоровье маршала...

А Друг с ласковой улыбкой смотрит то на пьяного дедушку, то на развеселую Бабушку, то на проколотый портрет члена правительства.

Когда уже все, кажется, спят мертвым сном, возвращается Лида. Как только раздается осторожный поворот ключа в двери, Нина Елизаровна тут же открывает глаза. Она слышит, как Лида почти бесшумно входит в квартиру, как проскакивает в ванную, как течет вода из душа.

Полежав еще несколько секунд, Нина Елизаровна приподнимается на локте, убеждается в том, что Настя на своей раскладушке дрыхнет без задних ног, и встает.

Бабушка в своей комнате лежит с открытыми глазами, скошенными в темноту — куда-то в коридор, ванную, откуда доносятся неясные приглушенные голоса дочери и старшей внучки. Ей кажется, что там кто-то всхлипывает, и правая полуживая сторона лица Бабушки принимает тревожное, испуганное выражение...

В тесной ванной зеркало висит над умывальником. Для того чтобы увидеть себя в полный рост, Лида стоит на шаткой табуретке, одетая лишь в яркие купальные трусики и узенький лифчик гонконгского производства.

В руке она держит пестрый пакет из-под купальника и, не без изящества и грациозности, изображает на своем неверном пьедестальчике позы записной манекенщицы.

Нина Елизаровна, в одной пижаме, вспле-

скивает руками:

— Как тебе идет, Лидка! Фантастика! Мужики должны просто дохнуть, как мухи! Сколько?

— Ну какая тебе разница, мамочка! Важно, чтобы было в чем раздеться! Вернусь из отпуска, возьму халтурку и рассчитаюсь. Наш бюджет — неприкосновенен.

— Потрясающе, Лидуня... Я так за тебя рада!

А Бабушка все вслушивается и вслушивается в веселое курлыкание из ванной. В ночной тишине оно так похоже на плач и стенания. В какую-то секунду она уже протягивает руку к веревке от рынды, как вдруг явственно раздается счастливый смех ее дочери. Бабушка сразу теряет интерес к происходящему. Рука ее бессильно падает на постель, глаза тоскливо упираются в потолок, на котором покачивается свет уличного фонаря.

Теперь на табуретке перед зеркалом стоит Нина Елизаровна. Она умудрилась сохранить в своем возрасте хорошую фигуру, и этот заморский купальник оказывается и ей в пору.

— Мамуля, ты неотразима! Возвращаюсь — сразу беру две халтуры и достаю тебе точно такой же!

— Не очень откровенно, а? — тревожно спрашивает Нина Елизаровна.

— Блеск, мамуля! Фантастик, се манифик, формидабль, елки-палки!

Открывается дверь, и появляется Настя в коротенькой, еле доходящей до бедер ночной рубашонке с глубоким вырезом на груди:

— Вы что, ребята, офонарели? Первый час ночи.

— А ну, иди отсюда, — строго говорит ей Нина Елизаровна с табуретки. — Марш в постель. Завтра не будишься.

Но Настя даже ухом не ведет. Она критически осматривает мать в ярком купальнике, с видом знатока щупает материал на трусиках и презрительно говорит:

— Гонконг. Дешевка. Красная цена — полтинник в базарный день.

— Сколько?! — в ужасе переспрашивает Нина Елизаровна.

— Пятьдесят рэ, — поясняет Настя.

— Это правда? — Нина Елизаровна растерянно смотрит на Лиду.

Лидка виновато кивает головой.

— Чего ты пугаешься? — ухмыляется Настя. — Хороший фирмовый купальник тянет на двести пятьдесят.

— Чем же он должен быть еще лучше?! — плачуще восклицает Нина Елизаровна и неловко слезает с табуретки.

— Гораздо более открытый, — объясняет

Настя.

— Кошмар! Ты-то откуда все это знаешь?

— Я что, на облаке живу, что ли? — невозмутимо говорит Настя.

Бом-м-м!!! — раздается первый утренний удар корабельной рынды.

— Настюша, я мою посуду! Вынеси скорее судно из-под бабушки! — кричит из кухни Нина Елизаровна.

— Я ничего не знаю — я убираю раскладушку!

— Ну что за паршивая девка, — чуть не плачет Лидка.

Уже готовая к выходу из дому, она бросается в комнату Бабушки, осторожно выпрастывает из-под нее судно и мчится с ним в ванную.

Нина Елизаровна всего этого не видит и поэтому снова кричит:

— Кому я говорю, Настя! Не тебе — мне потом белье застирывать!

— Лидка уже выносит! Чего вы на меня с утра, как два Полкана?

Дверь в ванную открыта. Видно, как Лидка второпях споласкивает судно, спускает воду.

— Мамочка, ты не брала мой проездной?

— Нет.

— Зачем тебе проездной? — спрашивает Настя. — Тебя на машине возят.

— Дура! Пока меня возят только в одну сторону. Мамуля! Ну посмотри, где мой проездной! — Лидка пробегает с судном через комнату.

— Лидочка, ищи там, куда ты его положила. — Нина Елизаровна появляется в полном макияже, с тщательно сработанной прической.

Настя даже присвистнула:

— Ты кого-нибудь ждешь? — В ожидании ответа она бросает в рот несколько таблеток и запивает их водой.

— Что за таблетки ты жрешь? — Нина Елизаровна испуганно хватается за Настю за руку. — Покажи сейчас же!

— Да смотри, смотри. Аскорбинка с витамином «Ц».

— Боже мой, где мой проездной билет? — мечется Лидка. — Ты не брала, Настя?

— Да подавись ты своим проездным! — Настя вытаскивает из заднего кармана джинсов проездной билет и бросает его на стол. — Когда у меня будет мужик с тачкой, он меня будет возить и туда, и обратно.

Лидка в отчаянии подхватывает сумку, проездной билет и мчится к дверям:

— Мамулечка, умоляю, дай ей по шее! Целую!

И Лидка выскакивает из дому, хлопнув дверью.

Настя тут же садится на подоконник

и наблюдает утренний ритуал.

Вот из парадной выскакивает Лида, вот она подбегает к машине, вот Андрей Павлович, недовольно глядя на часы, целует ее в щеку, и они укатывают.

— Знаешь, ма... — задумчиво говорит Настя. — Мне кажется, что этот Андрей Павлович со своим односторонним движением все-таки жлоб.

— Чего это ты вдруг взялась лопать аскорбинку? — подозрительно оглядывает Настю Нина Елизаровна.

— Весной и осенью нужны витамины. Кого ты ждешь, ма?

— Не твое собачье дело. Вот тебе рубль и выметайся из дому.

— Мне этот рубль — до фени.

— Эт-т-то еще что за выражения?! — возмущается Нина Елизаровна.

— «Собачье дело» можно, а «до фени» слух режет, — усмеается Настя и неторопливо натягивает куртку. — Дай двадцать копеек.

— Почему только двадцать?

— На автобус и на метро. В обе стороны.

— А что ты есть будешь?

— Пока я на практике в продовольственном магазине...

— Слушай, — от огорчения Нина Елизаровна даже опускается на стул. — Но это же гнусность. Это элементарно безнравственно и неинтеллигентно. И ты не имеешь права...

— Я тебя умоляю, ма! — досадливо прерывает ее Настя. — Не берись переделывать систему.

— Да плевать мне на систему! — вскакивает Нина Елизаровна. — Я не хочу, чтобы ты в ней участвовала!..

— Хорошо, хорошо, хорошо, — кротко говорит Настя, берет рубль и целует мать в щеку: — Декабристочка ты моя! — Она взмахивает сумкой в сторону бабушкиной комнаты: — Привет, бабуля!

На автобусной остановке масса народу. Рядом два киоска — газетный и табачный.

Настя покупает пачку сигарет «Пегас», тщательно пересчитывает сдачу и видит подкатывающий переполненный автобус.

Она тут же деревянно выпрямляет правую ногу в колене и нахально, будто бы на протезе, ковыляет к передней двери автобуса, минуя громадную очередь, которая штурмует заднюю дверь.

Мало того, она требовательно протягивает руку, и кто-то из сердобольных пассажиров помогает «девочке-инвалиду» подняться в автобус.

В салоне ей тут же уступают место между совсем древним старичком и бере-

менной теткой с годовалым ребенком на руках...

Дома Нина Елизаровна, уже возбужденная, порхает по всей квартире в нарядном платье, которое расстегивается целиком, как халатик. Тоненький красный лакированный поясок выгодно подчеркивает талию. Единственное, что не гармонирует с ее внешним видом — старые, стоптанные домашние тапочки.

Одновременно она умудряется накрывать на стол, чертыхаясь, вспарывать консервную банку «Завтрак туриста», тоненько, элегантно кроить сыр, нарезать хлеб, молоть кофе... И привычно болтать с матерью.

Где бы ни оказывалась Нина Елизаровна — в кухне ли, в большой ли комнате, в коридоре, около постели матери, — она не умолкает ни на секунду:

—...какой-то прелестный в своей незащищенности! Две недели, клянусь тебе, каждый день мотался в наш кретинский музейчик! Очень, очень милый! Уверена, что он тебе понравится. Знаешь, ничего нашего, московского! Ни нахрапа, ни хамской деловитости: машину — «взял», икорку, осетринку — «сделал», на министра — «вышел», кислород кому-то — «перекрыл»... Просто поразительно! Нормальный застенчивый человек. Чутьочку, ну самую малость, провинциальный. Но и в этом свое очарование! Наверное, только там, да, мама, остались такие? На юге России. Помнишь, под Одессу ездили, когда Лидка маленькой была. Там же до старости — «Ванечка», «Колечка», «Манечка»... И странно, и мило — старику за семьдесят, а он у них все «Петичка»! Я думаю, это в них чисто климатическое. Больше тепла, больше солнца... Суетни меньше. «О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх», — поет Нина Елизаровна и ставит на стол масленку.

Тут она влетает в комнату матери, подтыкает ей под щеку салфетку и сует в рот поильник:

— Да, мамуля, миленькая! Я что хотела тебя попросить... Мамочка, мне дико неудобно, но... Понимаешь, ма, сразу после твоего дня рождения Лидочка улетает в отпуск. С этим... Ну, с Андреем Павловичем со своим. На юг. Кажется, в Адлер. И там у них, может быть, все и... Ну, в общем... А я только что купила Насте эту куртку дурацкую. Они же теперь, эти задрыги, пальто не носят. Им нужна только куртка, и со всеми, как они говорят, «примочками»! Я не могла бы взять из твоей пенсии для Лидочки рублей пятьдесят? Вроде бы как это от тебя ей подарок к отпуску... И не волнуйся — мне тут один рефератик заказали — минимум сто рублей, и я тебе сразу же эти пятьдесят верну,

а? Но только между нами. Хорошо? А то с ее отпускными дальше Малаховки не уехать. Слушай, я вчера примеряла ее купальник. Мамуля! Не то, что раньше, но я еще очень и очень ни-че-го!.. Мамочка, я возьму у тебя деньги, да?

Парализованная старуха пытается вытолкнуть языком изо рта носик поильника, чай течет на подушку, глаза ее в бессилии прикрываются, и Нина Елизаровна принимает это за согласие. Она бросает взгляд на часы, быстро вытирает матери лицо и лезет в нижний ящик бабушкиного комода. Достает оттуда деньги, отсчитывает пятьдесят рублей и, пряча их, уже в большой комнате, в одну из шкатулок, говорит:

— Спасибо, мамуля! Пусть Лидка хоть чуть-чуть почувствует себя нормальным независимым человеком. Хоть в отпуске. Мало ли что. Ты не представляешь себе, какие сейчас сумасшедшие цены! Кошмар! Совершенно непонятно, на кого это рассчитано и чем это кончится! Просто счастье, что ты не ходишь по магазинам. Ничего нет, и все безумно дорого. Фантастика! Какой-то пир во время чумы! А мы в полном дерьме.

И в это время раздается звонок в прихожей.

Нина Елизаровна на мгновение замирает, смотрит на часы — ровно десять.

— Он! Я прикрою к тебе дверь, мамуля? Не обидишься?

Нина Елизаровна влетает в тесную прихожую, сбрасывает стоптанные тапочки и с криком: «Одну минутку! Сейчас, сейчас!..» — подтягивает колготки и надевает уже заранее приготовленные нарядные туфли на высоких каблуках.

Последний взгляд в зеркало — и Нина Елизаровна, сдерживая рвущееся из груди дыхание, неторопливо открывает дверь.

На пороге стоит Евгений Анатольевич. В руках у него пять чахлах розочек и бутылка шампанского, добытая вчера в честном и неравном бою с государственной антиалкогольной кампанией.

— Доброе утро, Нина Елизаровна, — смущенно говорит он.

— Здравствуйте, Евгений Анатольевич. Ну, приходите же, проходите!

Евгений Анатольевич осторожно переступает порог и сразу же, автоматически, снимает полуботинки, оставаясь в носках.

— Эй, эй! Немедленно прекратите этот стриптиз! — прикрикивает на него Нина Елизаровна. — В нашем доме это не принято.

— Что вы, что вы... Как можно?

— Я кому сказала — обувайтесь! Тоже мне, герой-любовник в носочках!

— Вот... — Евгений Анатольевич протягивает Нине Елизаровне розы и бутылку шампанского, сует ноги в туфли и начинает снимать пальто.

— «Не могу я жить без шампанского и без табора, без цыганского!..» Где розочки брали?

— У Белорусского вокзала.

— Вы нормальный человек?! Они же там по пятерке штука! Вы что, наследство получили?

— Нет, суточные. И компенсацию прислали. За неиспользованный отпуск, — просто-душно объясняет Евгений Анатольевич.

— Да нет, вас лечить надо, — убежденно говорит Нина Елизаровна и проталкивает Евгения Анатольевича в большую комнату. — Я, кажется, займусь вами серьезно!

Евгений Анатольевич целует руку Нины Елизаровны, улыбается:

— Я могу только мечтать об этом.

В большом учрежденческом женском туалете Марина поправляет волосы перед зеркалом, оглядывается на закрытые двери кабинок и говорит:

— Я тебе еще раз повторяю: важно решить в принципе — ехать тебе с ним или не ехать.

— Для меня это вопрос жизни. Там все, наконец, может решиться и...

Из-за дверей одной из кабинок слышен шум спускаемой воды.

Марина хватая Лиду за руку и выволакивает ее в коридор.

— Ни черта там не решится, институтка бездарная!

Они быстро идут по коридору к своему отделу.

— Это для тебя вопрос жизни, а для него — баба в койке на время отпуска. Ни шустрить не надо, ни клеить, ни охмурять. Эва, как удобно! — раздраженно говорит на ходу Марина.

— Маришка, я запрещаю тебе!

— Но он же кобель. Посмотри на него внимательно. На его сладкой роже так и написано: кобель!

— Марина! — возмущенно шипит Лида.

— Хочешь докажу? Хочешь?! — Марина останавливается у дверей своего отдела. — Смотри! Идиотка...

Она рывком открывает дверь, входит в отдел, зябко поводит плечами и с прелестной улыбкой громко обращается к Андрею Павловичу:

— Андрей Павлович, родненький, а если я закрою форточку?

Лида проскальзывает в свой дальний угол.

— Ради бога, Марина Васильевна. А если это сделаю я?

— Что вы, что вы, шеф! Как можно, начальничек...

Марина подходит к окну у стола Андрея Павловича, задирает и без того короткую юбку, обнажая красивые стройные ноги,



Лида — Светлана Рябова

взбирается на подоконник и обстоятельно закрывает форточку.

Сохраняя на лице улыбку, ставшую деревянной, Андрей Павлович нервно проглатывает слюну, не в силах оторвать глаз от ног Марины.

Отдел замер. Все ждут реакции Лиды. Но Лида, просмотрев весь этот спектакль, уже уткнулась в бумаги.

А Марина с подоконника лукаво поглядывает на Андрея Павловича. Тот встает из-за стола, протягивает ей руки:

— Позвольте помочь!

— С удовольствием.— И Марина оказывается в объятиях шефа.— Ого, сколько мощи! Кто бы мог подумать!

— Ах, Марина Васильевна, не цените вы своего начальника! — улыбается Андрей Павлович и ставит Марину на пол.

В перерыв в столовке самообслуживания медленно ползет к кассе очередь мимо супов в нержавеющей мисочках, мимо сереньких котлет и очень прозрачных компотов. Скользят по трубчатым полозьям пластмассовые подносы. Впереди Марина. Лида, как всегда, сзади.

— Ну и что? Ну и что? — тихо возражает Лида.— Ты устроила примитивную дешевую провокацию — задрала юбку, показала все, что можно, да еще и повисла на нем!.. А мужик есть мужик! Было бы хуже, если бы при виде твоих ляжек у него вообще ничего не возникло.

— Все, что надо, все возникло! В этом можешь не сомневаться. А ты — абсолютная слепая дура. Помидоры будешь?

— Да. А сколько они стоят?

— Семьдесят коп. Брать?

— Нет. Лучше салат витаминный за двадцать две. Тебе щи?

— Я первого не ем. Неужели ты считаешь, что он после вашего дурацкого Адлера бросит все и...

— Я никогда ни на что не рассчитываю,— уже за столиком говорит Лида.— Я хочу надеяться. Тем более, что он сам мне говорил.

— Не будь дурочкой, Лидуня. Оттхни свой отпуск на месяц. Поедем вместе в Ялту. У меня там в «Интуристе» мощнейший крик! Поселимся в отличной гостинице. Рядом Дом творчества писателей, до ВТО — рукой подать! Найдем двух шикарных мужиков... Причем не нас будут

выбирать, а мы! И проведем время, как белые люди, Лидка! А там, чем черт не шутит...

— Я люблю его,— тихо говорит Лида, прихлебывая щи.

— А ты не думаешь, что его еще одна женщина любит.

— Кто?..— пугается Лида.

— Его жена,— жестко говорит Марина.— Вполне приличная девка. Я бы даже сказала — симпатяга.

— Ох, черт, я так старалась об этом не думать!

Бабушка смотрит на закрытую дверь, откуда доносятся обрывки фраз Евгения Анатольевича и Нины Елизаровны.

—...и мне предложили такие вот курсы АСУП...— это голос Евгения Анатольевича.

Бабушка слышит звяканье чайной ложечки в чашке, смех Нины Елизаровны:

— А-суп! Очень по-абхазски. Там к каждому русскому слову в начале пристегивается буква «А»: «Агорсовет», «Амагазин», «Абольница»...

— Нет, АСУП — это автоматизированная система управления. Наше министерство такие курсы организовало и... Я же диспетчер на заводе. Вообще-то — старший диспетчер. Но это только название. А так... Меня и послали. На три недели.

— А что такое — диспетчер на заводе?

— Ну, есть график прохождения заказов. Смежники недопустили — план летит вверх тормашками. Звонишь, требуешь, просишь, умоляешь. Ты кричишь, на тебя кричат.

— Вы кричите? — слышно было, как Нина Елизаровна рассмеялась.

— Пожалуй, вы правы. Больше на меня кричат.

Бабушка тоскливо уводит глаза в потолок и почти перестает слышать голоса из большой комнаты.

И возникают в ее полуживой голове свои тайные воспоминания.

Ни цвета, ни звука.

Когда это было?.. И было ли?..

...В следственном кабинете, на столе у Друга, лежит портрет члена правительства Булганина, проколотый настоящей юбилейной медалью Дедушки.

Друг сидит за столом, а его помощник, молоденький чекист, стоит около Бабушки, сидящей по другую сторону стола. Он подает ей листы протокола допроса, и Бабушка, с глазами, полными слез, аккуратно подписывает каждый лист с одной и с другой стороны.

Друг встает, одобрительно гладит Ба-

бушку по плечу и выходит из кабинета.

Помощник Друга садится на место своего начальника и нажимает кнопку.

Двое конвойных под руки вводят Дедушку. Он — в тельняшке, покрытой бурьми пятнами высохшей крови. Лицо опухло, один глаз не открывается, передние зубы выбиты.

Помощник Друга трясет перед разбитым лицом дедушки портретом Булганина с настоящей медалью и показывает листы протокола, подписанные Бабушкой.

И тогда Бабушка хватается за голову, падает перед Дедушкой на колени и, рыдая, целует ему руки в наручниках.

Дедушка пытается схватить ее ногой, но сил у него не хватает, и он просто плюет Бабушке в лицо...

Бутылка шампанского почти выпита, стол являет собой все приметы закончившегося завтрака, а между обшарпанным комодиком красного дерева и диваном стоят Нина Елизаровна и Евгений Анатольевич.

Евгений Анатольевич обнимает Нину Елизаровну, целует ее лицо, шею, глаза, руки...

— Женя, ну это просто смешно в нашем возрасте,— жалобно бормочет Нина Елизаровна, даже не пытаясь отстраниться.— Когда вы первый раз пришли в наш музей?..

— Ниночка! — задыхаясь говорит Евгений Анатольевич.— Мы уедем ко мне. У нас тепло, море рядом...

— Вы сошли с ума, Женя! — печально возражает Нина Елизаровна.

— Господи, я же мог не пойти в этот музей!..— с мистическим ужасом восклицает Евгений Анатольевич.— Но ведь пошел же! Значит, есть Бог на свете!

— Женя...

— А летом-то у нас как, боже мой! Мне от завода участок давали — я все не брал, не брал...

— Женя, не мучайте меня. Какой участок? О чем вы говорите?

— Нина... Уедем, Ниночка!

— А мама? А девочки?

— И маму с собой! Она там поправится. Будем выносить ее в садик. Там цветы...

— Да ну вас к черту, Женя! Зачем вы меня терзаете...

— Я?! Да я умереть готов...

— Ну что вы, родной мой!.. Что вы такое говорите!.. Я так от этого отвыкла, так уже было успокоилась, а вы...

— Милая! Милая!.. Любимая моя...— Евгений Анатольевич нежно целует Нину Елизаровну и никак не может расстегнуть верхнюю пуговичку ее платья.

В помощь Евгению Анатольевичу она сама расстегивает две верхние пуговички и

расслабленно шепчет:

— Женя, ну что ты делаешь?.. Я же тоже живой человек...

— Ниночка...

— Ну, подожди, подожди... — не выдерживает Нина Елизаровна. — Господи, там же мама за стеной! Ну, подожди, я постелю хотя бы!

Она выскальзывает из объятий Евгения Анатольевича, достает из шкафа постель, быстро расстилает ее на диване, сбрасывает с себя платье-халатик и ныряет под одеяло.

Ошеломленный быстротой ее действий Евгений Анатольевич три секунды стоит столбом, а потом, потрясенный, еще не верящий в свое счастье, сбрасывает туфли и начинает лихорадочно стаскивать с себя брюки, нелепо прыгая на одной ноге.

— Что мы делаем, что мы делаем... — закрыв глаза, шепчет Нина Елизаровна и снимает колготки под одеялом. — Помогите нам, Господи... Прости меня, дуру старую!

— Ниночка-а-а!.. — воеет от нежности Евгений Анатольевич.

Оставшись в пиджаке, рубашке и туго завязанном галстуке, но без штанов, а только лишь в длинноватых ситцевых трусах с веселенькими желто-синими цветочками, Евгений Анатольевич с сильно поглупевшим лицом бросается к дивану...

...но в это мгновение из бабушкиной комнаты раздается мощный удар корабельного колокола:

Бом-м-м!!!

И сразу же, в незатухающем гуле от первого удара, звучит второй, еще более мощный и тревожный:

Бом-м-м!!!

— О, черт побери! В кои-то веки! — в ярости вскрикивает Нина Елизаровна и прыгает с дивана в одной коротенькой комбинации.

Она врывается в бабушкину комнату, захлопывает за собою дверь, и оттуда раздается ее отчаянный крик:

— Ну что?!! Что? Что?! Что тебе еще от меня нужно?!

Евгений Анатольевич в испуге бросается натягивать на себя брюки.

Потом, в криво застегнутом платье, в старых стоптанных шлепанцах, она провожает Евгения Анатольевича и уже в дверях говорит ему тусклым, бесцветным голосом:

— Ну, не судьба, видно. Не судьба. Наверное, не для меня уже все это.

— Ниночка...

— Может быть, так оно и к лучшему.

— Нина, послушайте...

— Идите, Женя. Идите.

— Нина! Но ведь я вас...

— Господи... На какую-то секунду бабой себя почувствовала! И здравствте, пожалуйста... Идите, Женя. Видать, не получится у нас с вами романчик. Идите.

Она открывает входную дверь, прислоняется к косяку и смотрит, как раздавленный Евгений Анатольевич спускается по ступенькам.

— Эй, Евгений Анатольевич...

Он замирает, резко поворачивается к ней. В глазах у него сумасшедшая надежда, что она позвет его обратно.

Но Нина Елизаровна желчно усмехается и говорит:

— А вам очень к лицу эти ваши трусики с желто-синими цветочками, — и медленно закрывает дверь.

Она возвращается в большую комнату, оглядывает стол с двумя приборами, остатки сыра, две чашки из-под кофе, недопитое шампанское, два бокала и пять маленьких бледных роз в старом хрустальном кувшинчике.

Потом туповато разглядывает свой диван с непорочной постелью, выливает остатки шампанского в бокал и не торопясь выпивает его до последней капли.

Она ставит бокал на стол и распахивает дверь бабушкиной комнаты.

Бабушка настороженно смотрит на дочь.

— Ну, давай теперь спокойно: что тебе было от меня нужно? Объясни: зачем ты меня звала? Я тебя час тому назад накормила. Перестелила. Судно у тебя чистое. Сама ты...

Нина Елизаровна подходит к постели матери, резко сдергивает с нее одеяло. Тоненькие синеватые ножки с уродливыми старческими ступнями еле выглядывают из-под длинной холщовой ночной рубашки.

— Сама ты совершенно сухая! Все у тебя в порядке! — Нина Елизаровна даже не замечает, что начинает повышать голос: — Что тебе еще от меня было нужно?!

Бабушка зажмуривается и в испуге поднимает правую руку, прикрывая лицо. Этого Нина Елизаровна не выдерживает.

— Ты что закрываешься?! — уже в полный голос возмущенно орет она. — Ты что закрываешься, комедиантка старая?! Тебя что, кто-нибудь когда-нибудь бил? Когда-нибудь хоть в чем-то упрекнул? Ты почему закрываешься? Ты всю жизнь жила так, как тебе этого хотелось! И меня заставляла жить, как тебе это было нужно! Это ты развела меня с Виктором! Ты не хотела его у нас прописать! Ты его сделала моим приходившим мужем! Помнишь?! А ведь Лидке уже четыре года было! Пусть он дурак, фанфарон, но он был отцом моей дочери, твоей внучки! Моим мужем, черт тебя побери! Может быть, я еще из него человека сделала бы! Нет!!! Как же! Тебе не нужен был зять-студент... Теперь у него все есть,

а мы с тобой девятый хрен без соли доедаем! Я колготки себе лишние не могу купить! Девки ходят бог знает в чем! Ты же мне всю жизнь искалечила!!! Ты Сашу вспомни, Александра Наумовича! Ты же его со свету сживала! Только потому, что он Наумович да еще и Гольдберг!.. Это ты лишила Настю отца! Ты заставила поменять ей фамилию! А он меня по сей день любит... И Настю боготворит. И не виноват в том, что его тогда в оркестр Большого театра не взяли! Не его вина, что он до сих пор в оперетте за сто шестьдесят торчит! Потому что у нас в стране таких, как ты... А ты мне здесь еще цирк устраиваешь! Ручонкой она взялась прикрываться! Гадость какая! Мне пятьдесят через полгода. И в кои-то веки пришел нормальный, хороший мужик... К морю хотел тебя забрать! В садик выносить, цветы нюхать! А ты!.. Господи!!! Да когда же это все кончится!..

Тут Нина Елизаровна замечает, что по неподвижному лицу старухи текут слезы и слабо шевелится единственно живой уголок беззубого рта. И Нина Елизаровна скисает.

— Ладно... Хватит, будя.

Она садится рядом с кроватью матери и уже совсем тихо говорит:

— Ну, все. Все, все. Ну, прости, черт бы меня побрал!

Нину Елизаровну наполняет шмяцающая жалость к безмолвной матери, она наклоняется, прижимается щекой к ее безжизненной руке и шепчет:

— Прости меня, мамочка...

Глаза ее тоже наполняются слезами, она тяжело вздыхает и вдруг, рассмеявшись сквозь слезы, удивленно спрашивает у матери:

— И чего я так завелась? Ну, спрашивается, чего?..

Настин магазин снова закрыт на перерыв.

В подсобке обедают четыре продавщицы в грязных белых куртках. Точно в такой же куртке сидит и покуривает Настя.

На электроплитке — кастрюля с супом. На столе — огурцы, простенькая колбаска, студень в домашней посудине.

Старшая продавщица Клава, в некрасивых золотых серьгах и кольцах, приоткрывает дверь подсобки и сквозь пустынный торговый зал видит за стеклянными витринами десятка полтора не очень живых старушек с самодельными продуктовыми сумками. У входа в винный отдел видит она и мрачноватую очередь еще трезвого мужского люда.

— И чего стоят? Чего ждут? Нет же ни хрена! Сами «докторской» закусьваем... А они стоят! Ну, люди!

Клава раздраженно захлопывает дверь, вытаскивает из-под стола большую початую бутылку «Московской» и разливает по стаканам.

— Оскоромисься? — Клава протягивает Насте бутылку.

Настя отрицательно покачивает головой.

— Будем здоровы, девки,— Клава выпивает, хрустит огурцом.— Настюха! Хотя студень-то спробуй. Домашний. С чесночком. Это тебе не магазинный — ухогорло-нос-сиськи-письки-хвост.

Настя вежливо пробует студень.

— Лучше б двадцать пять капель приняла, чем курить,— говорит одна продавщица Насте.

— А в «Аргументах и фактах» написано, что в Калифорнии уже больше никто не курит. Во, дают! Да? — говорит другая.

— Это почему же? — лениво осведомляется третья.

— Люди, которые живут хорошо, хотят прожить дольше,— объясняет Клава.

Заглядывает полупьяный небритый магазинный работяга:

— Наська! Обратно твой хахаль пришел. С тебя стакан. Гы-ы!

— Иди, иди, стаканчик хренов! — кричит Клава.— Ты с холодильника товар в отдел поднимай!

— А нальешь?

— Догоню и еще добавлю!

Работяга исчезает. Настя гасит сигарету и поднимается.

— Смотри, девка,— говорит Клава.

— Женится — тогда пусть хоть ложкой хлебает,— говорит вторая.

— Ихне дело не рожать — сунул, вынул и бежать,— говорит третья.

— Это точно,— подтверждает четвертая.

Настя усмехается и выходит. Клава кричит ей вслед:

— Особо не рассусоливай! Через двадцать минут открываемся!

В грязном, отгороженном тупичке магазинного лабиринта, среди смятых коробок и ломаных тарных ящиков, Мишка тискает Настю.

Настя отгалкивает его, а тот бормочет срывающимся голосом:

— Ну в чем дело, малыш? Расслабься...

— Да отвали ты, дурак! Нашел место. Не лезь, кому говорю!..

А у Мишки глаза бессмысленные, шепчет хриплым говорком:

— Ну че ты, че ты, малыш?..

— «Че», «че»! Ниче! Влипли мы, вот «че».

— Не понял,— насторожился Мишка.

— Ну, я влипла. Так тебе понятней?

— Во что? — Мишка наконец совладал со своим естеством.

— О, Господи! Кретин. Именно в это самое.

— Что, сдурела?! — пугается Мишка.

— Ага. Сдурела. Сколько раз просила: «Мишенька, будь осторожней! Мишенька, будь осторожней...» «Все в порядке, малыш, я все знаю. Не бойся, малыш!» Дотраха-лись...

Последнее слово Мишке не нравится, и он болезненно морщится.

— Чего ты рожу кривишь? Назови иначе, — советует ему Настя.

— Да погоди ты, Настя... А ты уверена, что ты... Это...

— В том, что я беременна?

— Да.

— Беременна, беременна. Не бойсь, «малыш», — усмехается Настя.

— А ты уверена, что это... от меня?

Настя смотрит на него в упор намигающими бабушкиными глазами. Рука нашаривает за собой грязный тарный ящик.

Взмах!. И ящик с жутким треском разлетается на голове у Мишки.

Мишка падает. Сверху на него сыплотся еще несколько ящиков.

— Засранец, — краем куртки Настя вытирает испачканные руки.

— Настя! — доносится голос Клавы. — Открываемся!..

— Иду, тетя Клава! — и Настя уходит, даже не оглянувшись.

На экране японского телевизора «Панасоник» в любовном томлении движутся обнаженные тела двух женщин. Струится обволакивающая мелодия из фильма «Эммануэль».

И тут же гортанный голос:

— Слушай, зачем они это делают — женщина с женщиной? Зачем мужчину не приглашают? Странно, да?

А в ответ пьяненький голос Евгения Анатольевича:

— Очень, очень странно. И ведь сначала сами приглашают, а потом...

В двухместном стандартно-неуютном номере гостиницы «Турист» сидят Евгений Анатольевич, в пижаме и тапочках, и огромный толстый туркмен в ярких «адидасовских» штанах, сетчатой майке-полурукавке и роскошной каракулевой шапке.

На фирменных упаковочных коробках стоит телевизор «Панасоник» и «Панасоник» — видеомагнитофон. На подоконнике — стопка пестрых кассет.

На столе — чудовищных размеров дыня и две водочные бутылки. Одна пустая, вторая — наполовину опорожненная. Два стакана и туркменский нож с тонкой ручкой.

— Дорогой, клянусь, как брату! Мне эти

десять тысяч — тьфу! — толстый туркмен показывает на телевизор и видеомагнитофон. — Не жалко! Мне нашу страну жалко! Дыню кушай, пожалуйста...

— При чем здесь желто-синие цветочки?... — недоумевает Евгений Анатольевич. — Что же, я не могу себе другие трусы купить?

— Мы все можем купить! — Туркмен выпивает полстакана водки. — Будь здоров, дорогой! Почему мы сами так делать не можем? Карту мира видел? Что такое Япония по сравнению с нами? Ничего! Плакать хочется!

— Да, — говорит Евгений Анатольевич, и глаза его увлажняются. — Очень хочется плакать...

Он тоже выпивает полстакана.

— Дыню кушай, — говорит туркмен. — Зачем Япония может так делать, а мы нет? Вот что обидно!

— Ужасно обидно... Ну просто ужасно! — Евгений Анатольевич деликатно отрезает маленький кусочек дыни. — Мне еще никто никогда так не нравился...

— Мне тоже нравится, слушай! Но если бы наши смогли тоже так сделать — я бы двадцать тысяч заплатил! Мамой клянусь!

— И маму я бы ее забрал. Какая разница, где лежать, в Москве или...

— Только в Москве! Всю Среднюю Азию объедешь — не купишь. Все везем из Москвы, — решительно говорит туркмен и разливает остатки водки по стаканам. — Будь здоров, дорогой! Дыню кушай...

— Ваше здоровье, — Евгений Анатольевич выпивает. Его передергивает от тоски и отвращения.

Он с трудом встает из-за стола и подходит к телефону.

— Вагиф Ильясевич, не откажите в любезности, чуть сделайте потише. Я должен ей позвонить. Если я сейчас не услышу ее голос — я умру.

— Ты дыню кушай, дорогой! Дыню кушай. У нас старики на дынях до ста двадцати лет живут и еще детей могут сделать, — торжественно говорит туркмен и выключает телевизор. — А я пока назад перемотаю. Все-таки интересно, как это можно — женщина с женщиной?!

Настя валяется на диване с журналом «Здоровье», а Нина Елизаровна, поставив швейную машинку на обеденный стол, латает старыми простынями пододеяльники и наволочки.

Дверь в маленькую комнату открыта, и Бабушка со своего лежбища тревожно прислушивается к тому, как на экране старенького черно-белого телевизора Валентин Зорин ласково сопротивляется двум аме-

риканским сенаторам.

Раздается телефонный звонок.

— Мам, если это Мишка — я ушла на дискотеку, — говорит Настя, разглядывая в журнале эволюционный процесс эмбриона и похирая аскорбинку.

— Алло! — поднимает трубку Нина Елизаровна. — Да... Это я.

Потом она долго молчит — слушает. И наконец спрашивает тревожно:

— Вы не захворали?

И снова долго слушает.

— Мне и самой очень жаль, — искренне говорит Нина Елизаровна. — А может быть, вы придете к нам послезавтра? У мамы день рождения... Только свои. Удобно! Удобно!.. Что вы! Да. Часам к пяти. И, пожалуйста, не покупайте больше цветы у Белорусского, а то по миру пойдете. И вам спокойной ночи.

Она кладет трубку и перехватывает внимательный взгляд Насти.

— Кто это, ма? — бесцеремонно спрашивает Настя.

— Ты не знаешь.

— Интересное кино! «Только свои» — и я не знаю.

— Милый и одинокий человек... Тебе достаточно?

И снова раздается телефонный звонок.

— Меня нет дома! — тут же опять предупреждает Настя.

— Да!.. — берет трубку Нина Елизаровна. — А, Сашенька... Ну, конечно. Послезавтра к пяти. Да. Мы решили чуточку раньше, чем обычно, потому что Лидочка на следующий день очень рано улетает в отпуск. Хорошо, — она прикрывает трубку рукой, спрашивает у Насти: — С папой будешь говорить?

Настя вскакивает с дивана, хватая трубку:

— Привет, папулы! Все в ажуре, не боись... Ага. Придешь? Порядок. Ну да?! Обалдеть! Какой кайф! На липучках или на шнурках? Ну, дают заграниродственники! Погоди, па! Мама! Бабушка, папина, прислала мне из Израйля кроссовки! Точно такие же, как были у их сборной на Олимпиаде в Сеуле!..

— Я очень рада — за тебя, за папу, за сборную, за Израиль, — бормочет Нина Елизаровна, приметывая заплату к пододевяльнику.

— Ладно! Все! Целую. До послезавтра. Передам! Привет, — говорит Настя и кладет трубку.

Тут же снова звонит телефон. Утерев бдительность, Настя автоматически поднимает трубку:

— Алло! — лицо ее принимает жесткое, безразличное выражение, голос становится мерзко-металлическим: — Меня нет дома.

Я на дискотеке. Вернусь поздно. И прошу мне не звонить. Вообще никогда.

И Настя снова укладывается на диван.

— Ты с ним поссорилась? — осторожно спрашивает Нина Елизаровна.

— Мамуленька, разбирайся со своими делами, — покровительственно советует ей Настя. — Я смотрю, у тебя их невпроворот. А я уж как-нибудь сама. Договорились? И переключи, пожалуйста, на бабушкину программу. Там уже началось.

Нина Елизаровна покорно встает и включает «Спокойной ночи, малыши». И снова садится за швейную машинку.

— И сдвинься в сторону, а то бабушке из-за тебя ни хрена не видно, — говорит ей Настя и погружается в изучение журнала.

Часам к двенадцати ночи Лида подходит к дому.

У подъезда стоит Мишка с перевязанной головой.

Лида в испуге шарахается, но тут же узнает его:

— Господи, как ты меня напугал!.. Миша, что с тобой?

— Да так, — криво усмехается Мишка. — Лидия Александровна, вы не могли бы...

— Я не Александровна, а Викторовна.

— Но вы же сестра Насти?..

— Да. И тем не менее, я — Викторовна.

— А она Александровна... — ничего не понимает Мишка.

— Это у нас такое маленькое семейное хобби — каждому свое отчество, — улыбается Лида.

Когда Лида осторожно входит в совершенно темную квартиру, Нина Елизаровна говорит ей со своего дивана сонным голосом:

— Доченька... Там в кухне — все на столе. Покушай, детка.

— Спасибо, мамуля.

Лида тихо пробирается к Настиной раскладушке, опускается на корточки и трогает Настью за плечо:

— Настюхочка... Там Мишка внизу. Присит тебя на секунду выйти.

Настя открывает глаза, свешивается с раскладушки и заглядывает под стол, чтобы убедиться, спит мать на своем диване или нет.

И тихо говорит Лиде:

— Лидуна, если тебе нетрудно, спустись к нему и пошли его... — Настя берет Лиду за воротник, притягивает к себе вплотную и что-то шепчет ей на ухо.

— Что?! Что ты сказала?! — в ужасе

отшатывается Лида.

И тогда Настя достаточно громко повторяет:

— Я сказала, чтобы он пошел...

Нина Елизаровна на своем диване зажмуривается и зажимает уши руками.

На светящемся будильнике два часа ночи.

Не спит Нина Елизаровна. Уткнулась глазами в спинку дивана...

Настя не спит на своей раскладушке. Смотрит в закрытую дверь бабушкиной комнаты, злобно вытирает взрослые слезы с детского лица.

В маленькой комнате все ворочается и ворочается — с боку на бок Лида. Тоже никак не может уснуть...

Да и Бабушка — неподвижная, немая, почти не дышащая, вонзила открытые немигающие глаза в потолок, на котором вздрагивает отблеск уличного фонаря.

И всплывают в остатках бабушкиной памяти ее постоянные беззвучные чернотелые видения...

...Тогда, в сорок девятом, она проснулась от звука подтохавших к дому машин. Тихо выскользнула из широченной постели, где на второй подушке сладко посапывал Друг, метнулась к окну и увидела «эмку» и «воронок» у подъезда...

...Потом трясущемуся, растерянному Другу его помощник предъявлял ордер на арест, а еще один подавал Бабушке уже заранее заготовленные листы протоколов, и она, сидя за туалетным столиком в ночной рубашке, подписывала их с одной и другой стороны.

Друг увидел, что Бабушка подписывает протоколы, закричал, забился в истерике, упал на колени, подполз к ней, стал целовать ей ноги, рыдая и умоляя не подписывать эти страшные листы.

А Бабушка, боясь поднять на него глаза, поджимала босые ноги под банкетку и ставила одну подпись за другой...

Помощник дал знак увести Друга. И когда дверь за ними захлопнулась, он подошел к бабушке, намотал ее длинные волосы на правую руку, а левой стал растегивать ширинку своих фирменных галифе...

В день бабушкиного рождения утро, как всегда, началось с дикой суматохи: уже готовая к выходу из дома Лида мечется по квартире:

— Где мои перчатки? Мама, ты не видела моих перчаток? Бабушка, с днем рождения! Прости меня, миленькая... Голова кружится... Ну где же мои перчатки?!

Нина Елизаровна вынимает Лидины вещи

из шкафа, стопкой складывает их на диван:

— Лидочка! Паспорт, билет на самолет и деньги будут лежать вот здесь. Да! Бабушка подарила тебе к отпуску пятьдесят рублей!

— Бабуленька, спасибо, родненькая... Господи, ну где же перчатки?!

Настя в одних трусиках и короткой ночной рубашке убирает свою раскладушку, — Ты эту кофточку берешь с собой? — спрашивает Нина Елизаровна.

— Мама, успеется с кофточкой! Я на работу опаздываю! Где мои перчатки?

— Завтра в шесть утра тебе улетать! Когда ты думаешь собирать вещи? Сегодня весь вечер у нас будет народ!

— Боже мой, еще вчера перчатки лежали перед зеркалом в прихожей! Настя, где мои перчатки?

— В машине — не можешь без перчаток? — спрашивает Настя.

— Какая машина?! — орет Лида. — Он еще позавчера вечером улетел! Ну где же мои перчатки?

— Слушай, ты с этими перчатками уже всех в доме заколебала! — Настя проходит в прихожую, вынимает Лидины перчатки из своей куртки. — На, подавись своими перчатками!

— Мама, ты видишь?! Ты видишь, что это такое растет?! — кричит Лида, но в это время из бабушкиной комнаты раздастся сильный удар корабельной рынды.

Бом-м-м!!! — несется по всей квартире.

— Судно! Судно забыли вынуть из-под бабушки! — кричит Лида.

— Иди, иди уже со своими перчатками, — говорит ей Настя и проходит в комнату Бабушки: — Привет, бабуля! Ну что там у нас?

Она довольно ловко вытаскивает судно из-под Бабушки, морщит нос и вопит на всю квартиру:

— Ура! Бабушка покакала!

На вытянутых руках, отвернув голову в сторону, она пронесит судно мимо сестры и матери в ванную:

— Милости прошу! Вуаля! Какой цвет! А запах! Кристиан Диор!

Она сливает судно и начинает его мыть щеткой.

— Что ни говори, а в жизни всегда есть место подвигу! Да, Лида?

— Дура малолетняя! Раз в жизни... И то умудрилась спектакль устроить! — почему-то обижается Лида и выскакивает за дверь.

Настя выходит с чистым судном из ванной и уже без ерничества, спокойно просит мать:

— Мамуль, подмой бабушку сама. Мне, наверное, с этим не справиться.



Нина Елизаровна — Инна Чурикова

Нина Елизаровна берет Настю за уши, притягивает к себе и целует ее в нос...

В теплой курточке, в джинсах, заправленных в резиновые сапожки, и в спортивной шапочке Настя стоит в кухне и записывает все, что говорит Нина Елизаровна:

— Черный хлеб — целый. И два батона белого по двадцать две. Виктор Витальевич любит по двадцать две. И обязательно смотришься в «Прагу»! Там могут быть крутоны из ветчины. Помнишь, я к Новому году покупала? Так... Нас — трое, Виктор Витальевич — четыре, папа — пять, Евгений Анатольевич — шесть.

— Что еще за Евгений Анатольевич?

— Я тебе уже говорила. Возьмешь шесть штук. Ясно?

— Да. А бабушка будет опять овсянку жрать?

— Настя!.. А бабушке там же купишь две куриные котлетки.— Нина Елизаровна лезет в шкафчик за деньгами и видит несколько трешек, лежащих отдельно.— А это что за деньги?

— Степуху вчера получила.

— Очень кстати. А почему так мало?

— Елки-молалки! — вспоминает Настя, открывает холодильник и достает из морозильной камеры смерзшийся пакет.— Я же к сегодняшнему дню языки достала! Шесть сорок за них отдала! Мамуля, их же нужно срочно разморозить!

— Языки? Настя! Немедленно признавайся, где ты достала языки?

— Мам, знаешь, есть такой анекдот: что такое «коммунизм»? Это когда у каждого советского человека будет свой знакомый мясник в магазине. Вот мы сегодня и заглянем в наше светлое будущее...

— Это безнравственно, Настя! И отвратительно!

— Зато вкусно! Давай деньги, я пошла,— Настя вынимает из рук матери деньги, берет сумку и уже в дверях говорит:— Ма, я заскочу на рынок? Папа очень любит киндзу. Куплю ему пучок?

— Купи...— растерянно говорит Нина Елизаровна.

Троллейбусная остановка точно напротив Лидиной работы.

Лида выскакивает из троллейбуса, перебегает тротуар и плечом толкает старинную роскошную стеклянную дверь своего учреждения.

И тут же, в тамбуре, перед второй, тоже прозрачной дверью, Лиду останавливает молодая печальная женщина с пятилетним мальчиком.

— Простите, пожалуйста. Вы — Лида?

— Да. А собственно...

— Я — Надя. Жена Андрея Павловича.

Лида зажмуривается, нервно трет руками лицо.

— Простите меня, Лидочка,— с трудом говорит Надя.— Но мне сейчас просто не к кому...

— Что вы, что вы... Это вы меня простите... Это я...— сгорая от стыда, борочет Лида.

— Вы уже знаете? — горестно спрашивает Надя.

— Что-нибудь с Андреем Павловичем?! — пугается Лида.

Маленький мальчик крепко берет Лиду за руку, поджимает ноги и пробует качаться, держась одной рукой за руку матери, а второй — за руку Лиды.

— Они уехали вместе на юг. С вашей подругой. С Мариной...

— Нет! Нет! Нет! — в отчаянии кричит Лида.— Это ошибка! Этого не может быть!

Все сильнее раскачивается мальчик.

— Она вылетела вчера. Вслед за ним.

— В Адлер? — зачем-то спрашивает Лида.

— В Ялту. Он в последний момент поменял билет на Симферополь.

Мальчик раскачивается все сильнее и сильнее. Обе женщины уже еле стоят на ногах...

— Лидочка... Вы не могли бы как-нибудь с ней связаться? Попросите ее не делать этого! Двое детей... Второму — десять месяцев. Он с моей мамой сейчас... Костя! Отпусти тетину руку! Ты же видишь, как ей тяжело!

— Ничего, ничего... Он легкий,— говорит Лида.

— Если он от нас уйдет... У меня даже специальности никакой. Помогите мне, Лидочка! Умоляю вас...— плачет Надя.

За внутренней стеклянной дверью военизированная охранница с булыжным рылом проверяет пропуска у служебного люда...

А за внешней — бежит, торопится, плетется, едет, мчитса, тормозит и снова срывается с места осенняя утренняя Москва...

После курсов Евгений Анатольевич прибегают в свой гостиничный номер переодеться. В руках у него уже поздравитель-

ный тортик.

Вместо пожилого туркмена с «Панасониками» соседом его оказывается здоровенный молодой мужик в одних кальсонах.

— О! У меня новый сосед? — радушно говорит Евгений Анатольевич.— Здравствуй-те, здравствуй-те.

Сосед внимательно смотрит на Евгения Анатольевича:

— Слава богу! Я-то думал, придет сейчас какой-нибудь старый хрыч — с ним и каши не сваришь. Здоров! — он протягивает руку.— Дмитрий Иванович! Можно просто — Митя.

— Евгений Анатольевич.

— Порядок! Значит так... Тебе сколько, Жека?

— Чего?

— Лет.

— А... Пятьдесят четыре.

— Ладно. Скажем — сорок пять. Ты выглядишь — зашибись! Объясню: заклеил двух телок. Придут к пяти. У меня — две бутылки самогона, баночка килек и... вот твой тортик. Одна, чернявенькая, тебе. Не то евреечка, не то армянка. Они, знаешь, какие заводные? Только туда рукой, а ее уже всю трясет! А вторая, беленькая, мне. Годится? После захочешь — махнемся. Они, по-моему, на что хошь подпишутся! И главное — потом не надо три дня на конец заглядывать. Одна в судомойке, вторая на раздаче в каком-то пищеблоке. А там, сам знаешь, осмотр за осмотром. Так что и тут порядок в танковых войсках! Учись!

— Видите ли, Митя, дело в том, что я вряд ли смогу...

— Главное, не тушуйся, Женька! Я ж с тобой! Сели, по стакану, килечка-шмилечка, две-три дежурные хохмы, гасим свет и... понеслась по проселочной!

— Вы меня не поняли, Дмитрий Иванович. Я сегодня приглашен в гости. На день рождения.

— Вот так уха из петуха! — растерянно чешет в затылке Митя.— Что ж мне с двумя-то делать?..

Евгений Анатольевич оглядывает здорового Митю и говорит:

— Да вы и с двумя справитесь.

— Я не за себя боюсь. Я и троих до мыльной пены захоно. Лишь бы они из-за меня не перещарапались... Мне сейчас эта гласность совершенно ни к чему.

— А вы надолго? — вежливо спрашивает Евгений Анатольевич и начинает переодеться.

— Да нет! Всего-то на пару дней. Специально на сутки раньше выехал — погулять...

— Командировка?

— На партактив вызвали, будь он нела-

ден! Будто мы там у себя в горькоме все пальцем деланные! Да, Евгений, подвел ты меня. Сильно подвел!

От холодного ветра Мишка прячется в телефонной будке, стоящей неподалеку от Настиного дома, и неотрывно следит за проездом, откуда должна появиться Настя.

Но вот и Настя. Тащит тяжеленную сумку.

С перевязанной головой под «адидасовской» шапочкой Мишка выползает из своего укрытия и неверными шагами идет Насте навстречу.

Увидев Мишку, Настя останавливается у своего подъезда, улыбается и приветливо говорит ему:

— А я уж думаю, куда ты подевался! Хорошо, что встретила...

И тогда Мишка бежит к ней радостно и раскрепощенно.

— Тихо, тихо, тихо,— останавливает его Настя.— Я тут для тебя одну любопытную книжечку достала. Как будущему юристу...

Настя вытаскивает из накладного кармана продуктовой сумки небольшую книжку с бумажной закладкой в середине.

— Называется «Уголовный кодекс РСФСР». Вот слушай!...— Настя открывает кодекс в месте закладки и начинает читать вслух: — «Статья сто девятнадцатая. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, наказывается лишением свободы до трех лет. Те же действия, сопряженные с удовлетворением половой страсти в извращенных формах...» На это у тебя, слава богу, ума не хватило, так что, думаю, трех лет вполне достаточно. Держи!

Она сует Мишке за пазуху кодекс и добавляет без всяких улыбок:

— И учи это наизусть, сволочь. Если еще ко мне хоть один раз приблизишься — сидеть тебе от звонка до звонка! Понял, дерьмо собачье? И вали отсюда, чтобы я тебя больше никогда в жизни не видела! «Малыш»...

И Настя входит в свой подъезд.

Бабушка лежит под свежим пододеяльником. На ней какой-то пестрый, праздничный халатик, головка тщательно причесана.

В комнату входит Нина Елизаровна:

— Мамочка, я хочу прикрыть к тебе дверь. Там на кухне такое! Настя, дуреха, во все чеснок сует. Шурует — просто загляденье! Я ее, по-моему, такой еще в жизни не видела!

Бабушка в упор, не мигая, смотрит в лицо дочери.

— Тебе что-то нужно? — не понимает Нина Елизаровна.

Но старуха отводит глаза, и Нина Елизаровна закрывает дверь.

Теперь взгляд Бабушки скользит по стене с фотографиями и останавливается на старом снимке начала пятидесятых. Бабушка тех лет сидит на гнущем венском стуле, а сзади, обняв ее за плечи, стоит двенадцатилетняя Нина с ровенькой челочкой над бровями.

Бабушка все вглядывается и вглядывается в эту фотографию, и лицо дочери заполняет остатки ее сознания...

...Плохо и скудно одетая девочка Нина — самая старшая среди полутора десятка маленьких ребятшек, закутанных в какое-то немислимое тряпье.

Нина учит малышкой играть в «классы», сама скачет с ними на одной ноге, кого-то утешает, кому-то вытирает нос, помогает крутить скакалку...

Вокруг ни деревца, ни кустика — только вытопанный сотнями ног земляной плац...

А потом бабушкино сознание расширяется, и она уже видит за плацем бараки, а впереди — высокий бетонный забор с металлешескими штангами, загнутыми внутрь зоны...

И туго натянутую колючую проволоку между этими штангами...

И вышки с часовыми по углам забора...

Вот и сама Бабушка... Она стоит в общем сером замершем строе женщин-зэков. А за спиной этого строя играют в «классы», прыгают, смеются и плачут их дети. Дети, живущие в лагере со своими заключенными матерями...

Но вот строй по команде поворачивается и становится колонной.

Конвой берет оружие наизготовку. Распахиваются ворота зоны, и женскую колонну уводят на работы за пределы лагеря.

Девочка Нина, с челкой из-под платка, смотрит вслед колонне — ждет, оглянется мать или нет...

Оглянулась! Да еще и рукой помахала!.. И счастливая улыбка озаряет лицо голодной одиннадцатилетней Нины.

Остаются на плацу только Нина да десятка полтора заключенных ребятшек — от трех до восьми лет...

На Ленинградском проспекте, в аэровокзале, Лида протаптывается к кассовому окошку и робко спрашивает:

— Вы знаете, у меня на завтра, шесть десять утра, билет «Москва — Адлер»... Я не могла бы его поменять?

— На что? — слегка раздраженно спраши-

вает кассирша.

Лида вздыхает, проглатывает комок, собирается с силами и говорит:

— На деньги...

Она открывает дверь квартиры, когда Нина Елизаровна и Настя уже вовсю готовят на кухне разную еду к бабушкиному дню рождения.

— Ой, как здорово! — в восторге кричит Настя. — Лидуна пришла!

— Тебя пораньше отпустили? — радуется Нина Елизаровна.

— Да, мои родные! Да, мои хорошие! — Лида выгружает из сумки бутылку водки, бутылку коньяка, роскошную яркую бутылку «Чинзано». — Оказывается, меня еще вчера отпустили и вообще заменили!

Несмотря на то что последнюю фразу Лида произносит с очаровательной ироничной непосредственностью, Настя и Нина Елизаровна успевают тревожно переглянуться.

— Откуда это, Лидочка? — осторожно спрашивает Нина Елизаровна.

Но Лида пропускает вопрос матери мимо ушей и звонко, чуточку излишне нервно предлагает:

— Девушки вы мои любимые! Давайте, пока никого нет, шлепнем по-разминочному рюмашу просто так — друг за друга! Я — водку.

— Я — коньяк, — говорит Нина Елизаровна.

— Я — капельку этой штуки... — Настя показывает на «Чинзано».

— Это «Чинзано», дурашка! — кричит Лида. — Италия! Напиток богов!

Каждая открывает «свою» бутылку, наливают, чокаются, и Лида одним махом выпивает полную рюмку водки, Нина Елизаровна — половину рюмки коньяку, Настя отпивает самую малость.

Она видит на бутылочных этикетках чернильные печати:

— Ресторанные?

— Сколько же это стоит?! — пугается Нина Елизаровна.

— Девочки! Кисаньки вы мои! — в голосе Лиды уже появились хмельные интонации. — Плюньте! Какая разница — сколько? Откуда? Пусть наш дом будет полная чаша!

Тут Лида не выдерживает нервно-веселого напряжения и, разрыдавшись, падает на стул, обхватив руками голову.

Нина Елизаровна и Настя бросаются к ней, но в эту секунду раздается звонок в дверь.

— Боже мой! Кого черт несет раньше времени?! — Нина Елизаровна силой поднимает Лиду, тащит ее в ванную: — Доченька... Любимая, успокойся, маленькая моя... Успокойся, девочка... Настя!!! Открой дверь!

Займи как-нибудь...

...Без пиджака, в женском фартуке с оборочками, Евгений Анатольевич сидит на кухне и чистит картошку.

Настя нарезает хлеб, великосветски прихлебывает «Чинзано»:

— Ах, Евгений Анатольевич! Вы уж извините, что я вас так напрягаю, но когда собираются, как сказала мама, только свои...

— Что вы, Настенька! Наоборот, мне очень приятно...

Шумит вода в ванной, доносятся до кухни всхлипы, какое-то неясное бормотание. Настя осторожно прикрывает ногой застекленную дверь кухни и говорит с преувеличенной экзальтацией:

— Обожаю «Чинзано»! Италия... Напиток богов! Правда, сейчас, когда я готовлюсь стать матерью...

— Как? — улыбается Евгений Анатольевич.

— Я говорю, приходится ограничивать себя перед родами.

— А-а! — Евгений Анатольевич весело смеется и тут же включается в игру: — И когда же это должно произойти?

— Месяцев через семь, через семь с половиной...

Шум воды прекращается, и слышен голос Нины Елизаровны:

— Настюша, у нас кто-нибудь есть?

— Все нормально, мамуля! Только свои.

— Иди, Лидочка, одевайся, я пол подотру, — слышится голос Нины Елизаровны. Дверь ванной распахивается, и оттуда с мокрой головой, почти голая, выходит зареванная Лида.

Увидев незнакомого мужчину в фартуке с оборочками, Лида взвизгивает, прикрывает грудь руками и скрывается в комнате с криком:

— Идиотка малолетняя!!!

Настя спокойно приканчивает рюмку с «Чинзано» и спрашивает у смущенного и растерянного Евгения Анатольевича:

— Как, по-вашему, Евгений Анатольевич, Бермудский треугольник действительно существует или это так — трепотня, чушь собачья?..

Намазанные, приодетые и причесанные Нина Елизаровна, Лида и Настя, а также Евгений Анатольевич, в фартуке с оборочками, заканчивают накрывать праздничный стол в большой комнате.

— Ты почему в джинсах? — шипит Нина Елизаровна на Настю.

— Мне так удобнее, мам. Евгений Анатольевич, будьте добры, принесите, пожалуйста...

ста, блюдо с языком. Оно в кухне на подоконнике.

— Один момент! — и Евгений Анатольевич с удовольствием бежит в кухню.

— Какой еще язык? Откуда у нас язык? — удивлена Лида.

— Анастасия — добычица. Волчица! — отвечает Нина Елизаровна.

— Ох, как я не люблю этого! Все эти дела торгашеские...

— А жрать любишь? — в упор спрашивает Настя.

— Очень. Но...

— Вот и заткнись, — говорит ей Настя.

— Девочки! — Нина Елизаровна показывает глазами на входящего с блюдом Евгения Анатольевича. — Девочки!

Раздается несмелый короткий звонок.

— Твой пришел, — говорит Нина Елизаровна Насте.

Настя бросается в переднюю. Евгений Анатольевич поспешно снимает фарук, но запутывается в завязках на спине. Нина Елизаровна подходит к нему сзади, помогает развязать тесемки:

— Да не нервничайте вы так, Женя...

В прихожей Настя повисает на отце:

— Папуля! Ура!.. А я тебе киндзу купила!

Александр Наумович смущенно улыбается — руки у него заняты кларнетом в футляре, огромным букетом цветов, туго набитой сумкой. Он чмокает Настю в макушку:

— Ну, погоди, погоди, дочура...

Через голову Насти он печально-влюбленно смотрит на Нину Елизаровну, видит рядом с ней незнакомого мужчину и тут же говорит быстро и сбивчиво:

— Лидочка! Здравствуй, детка... Настюхочка, возьми пакет... Тут тебе ужасно семитские кроссовки и... Нинула! Ниночка, поздравляю тебя с днем рождения мамы! Мои прислали еще и лекарства для нее из Тель-Авива... Самое эффективное средство для послеинсультников! Буквально чудодейственное! Патент на это лекарство у Израйла закупили буквально все страны мира. Ну, кроме нас, естественно...

Лида и Нина Елизаровна целуют Александра Наумовича, Настя помогает отцу снять пальто.

— Сашенька, познакомься, пожалуйста, это Евгений Анатольевич — мой друг. Евгений Анатольевич, а это мой второй муж — отец Насти.

— Гольдберг, — представляется Александр Наумович. — Не против?

— Что?.. — не понимает Евгений Анатольевич.

— Это папа так бездарно шутит, Евгений Анатольевич. Не обращайтесь внимания, — говорит Настя. — Неудавшийся вундеркинд, вечная запуганность, три класса церковно-

приходского хедера...

— Что же вы так о папе, Настенька, — огорчается Евгений Анатольевич.

Но Александр Наумович весело смеется, удивленно и гордо разглядывая Настю, и говорит:

— Девочки, распатроньте сумку до конца. Я там ухватил какой-то продуктовый заказик в нашем театре. Ничего особенного. Вы же знаете, оркестру, как всегда, в последнюю очередь и что останется. Но все-таки... Вдруг вам пригодится.

Но тут раздается второй звонок. Он совершенно не похож на звонок Александра Наумовича — долгий, требовательный и, кажется, даже в другой тональности.

— А это — твой, — говорит Лиде Нина Елизаровна.

Появление Виктора Витальевича категорически отличается от прихода Александра Наумовича.

Никакой суетливости, никакого смущения. Каждое движение его крупного тела, облаченного в дорогой костюм, исполнено самоуважения и достоинства.

— Здравствуй, Лида, — он подает дочери горшочек с цикламенами и небольшой электрический самовар, расписанный хохломскими узорами. — Это бабушке. Как она?

— Спасибо, папа.

— Как жизнь, Настя? — и, не ожидая ответа, протягивает Нине Елизаровне бутылку дорогого коньяка: — Здравствуй, Нина. Поставь на стол, пожалуйста.

— Здравствуй, Витя, раздевайся.

Виктор Витальевич еле кивает Александру Наумовичу и вопросительно поднимает брови, глядя на Евгения Анатольевича.

— Это мой близкий друг Евгений Анатольевич, — с легким вызовом говорит Нина Елизаровна. — Познакомьтесь, Женя. Виктор Витальевич — мой первый муж. Отец Лидочки.

— Очень приятно, — радушно улыбается Евгений Анатольевич.

Но Виктор Витальевич сразу же делает попытку определить разницу положений:

— М-да... Забавно. Ну что ж. Вы знаете, я только что с заседания президиума коллегии...

— Это наверняка безумно интересно, — безжалостно прерывает его Нина Елизаровна. — Но если ты сможешь расставить стулья...

Сильно хмельной Мишка сидит в детском «Кафе-мороженом».

А вокруг — мамы с маленькими ребятами, бабушки с внуками, за угловым столиком — здоровый парняга с двухлетним сынишкой на руках, с женой и детенышем в складном креслице на колесиках.

Допивает Мишка шампанское, отыскивает мутным глазом официантку:

— Еще фужер!..

— Уже четвертый, — говорит официантка и кладет Мишке счет.

— Не считай. Неси! — Мишка бросает двадцать пять рублей на стол и неожиданно для самого себя говорит: — Я за вас кровь в Афгане проливал!

Официантка приписывает к счету, дает сдачу и приносит Мишке шампанское.

Отхлебывает Мишка полфужера, обводит соловым взглядом столики, и начинает ему казаться, что за каждым столом сидит Настя!..

За одним — Настя кормит с ложечки годовалого...

За другим — Настя с двумя близнецами!..

За третьим — Настя с грудным младенцем на руках!..

За четвертым, в углу, — Настя с малышом в складном креслице, а рядом с Настей — молодой, здоровый парняга с двухлетним сынишкой на руках...

Мишка залпом допивает фужер и кричит истонно на все кафе:

— Настя!!! Настя!.. — и роняет голову на стол.

В испуге начинают плакать дети.

Молодой, здоровенный парень передает жене сына и...

...выезжает из-за стола в инвалидной коляске. Он подкатывает к Мишке и трогает его за плечо:

— Не шуми, браток. Дети пугаются.

Мишка поднимает тяжелую голову, тупо смотрит на парня:

— А ты кто такой?

— Да никто я. Не шуми.

— Я Афганистан прошел! — кричит Мишка и начинает сам верить в то, что воевал в Афганистане.

— Один? — спрашивает парень.

— Чего «один»?..

— Один прошел что ли?

— Я душу свою там оставил!

— А я — ноги. Чего же теперь, детей пугать? Уходи отсюда.

— Извини... Извини, корешок, — лепечет Мишка.

В большой комнате за накрытым столом все сидят полукругом, лицом к распахнутой двери бабушкиной комнаты, а Виктор Витальевич стоя произносит тост:

— «...коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!..» — настоящая русская женщина, прошедшая вместе со своей страной, своей Родиной, тяжелый и славный путь, сумевшая сохранить и твердость характера, и нравственную чистоту своей ду-

ши. Да, да! Души!.. «Души прекрасные порывы» старейшины этой семьи в трудные годы стагнации дали возможность ее дочери, моей бывшей жене, закончить исторический факультет университета имени Михайлы Васильевича Ломоносова, а нашей дочери Лидии получить диплом института Плеханова! Смею надеяться, что и младшая ее внучка — Анастасия, если сумеет избежать нынешнего тлетворного и разлагающего влияния некоторых, «родства не помнящих» сил, пытающихся сегодня ошеломять и принизить весь пройденный нами более чем семидесятилетний путь, тоже станет полезным членом общества. И перефразируя строки одного из лучших поэтов нашей эпохи, так и хочется пожелать вам, уважаемая виновница сегодняшнего торжества: лет до ста расти Вам без старости! Год от года цвести Вашей бодрости!..

Виктор Витальевич заглядывает в бабушкину комнату и приветственно поднимает рюмку:

— Стоя! Стоя! За бабушку все пьем стоя!

Все послушно встают. Лида бросает взгляд на отца и даже глаза прикрывает от стыда и злости...

Евгений Анатольевич, ошарашенный тостом Виктора Витальевича, смотрит на Нину Елизаровну. Та успокоительно берет его за руку и говорит прямо в маленькую комнату:

— С днем рождения тебя, мамочка! Поправляйся!

— Привет, бабуля! — кричит Настя и толкает отца коленом.

С трудом сдерживая смех, Александр Наумович подмигивает Насте и залпом выпивает рюмку водки.

Все, стоящие у стола, тянутся бокалами в сторону бабушкиной комнаты...

...а Бабушка неподвижно лежит в своей старинной кровати красного дерева и очень смахивает сейчас на покойницу: глаза закрыты, количество и расположение поздравительных цветов, окружающих ее сухонькое, бездыханное тельце, совершенно соответствует погребальному.

Так как это приходит в голову одновременно всем — то и оцепенение тоже становится всеобщим и жутковатым...

Длится оно, к счастью, всего несколько секунд, потому что Бабушка вдруг приоткрывает один глаз и чуть подрагивает пальцами правой руки.

Все облегченно вздыхают, шумно садятся за стол и начинают быстро закусывать...

— Неужели это настоящий язык?! — в восторге восклицает Александр Наумович. — Откуда?! Я уже забыл, как он выглядит!

В вагоне метро пьяный Мишка нависает

над сидящим молоденьким сержантом милиции. У сержанта слипаются глаза от усталости:

— Слушай, друг... Я с дежурства. Сутки не присел. Понял? Отвяжись ты от меня, ради Христа!

— А если она скажет, что мы... это самое... Вернее, она... Так сказать, добровольно? — спрашивает Мишка.

— Все едино — сидеть тебе как кролику.

— А если я люблю ее?

— Вот и люби. Сидя. И тебя там, в колонии... любить будут.

— Как это?

— Как, как! Через задницу — вот как! Там, кто за малолетку попал — сразу оприходуют!

— Так я и дался!

— Спрашивать тебя будут. Ножик к глотке и... Как ее звали?

— Настя.

— Вот и ты у них весь свой срок будешь — «Настя»!

Поезд замедляет ход. Милиционер видит название станции, вскакивает, продирается к выходу. Мишка придерживает его за рукав:

— Погоди... Я еще спросить хотел...

— Пошел ты! — вырывается от него сержант. — Из-за тебя остановку свою проехал! Нашкодят, сволочи, а потом...

И вскакивает из вагона. А поезд увозит Мишку далеко.

На кухне Нина Елизаровна держит поднос с чайной посудой и спрашивает Евгения Анатольевича:

— Донесем?

У него руки заняты чайником, заваркой, тортиком...

— Вдвоем-то? — улыбается Евгений Анатольевич. — Да запросто!

Они осторожно выбирают из кухни:

— Знаете, Женя... Может быть, мне действительно съездить к вам ненадолго? Я так давно не была на море! Вы мне завод покажете...

Евгений Анатольевич счастливо прикрывает глаза, наклоняется и целует Нине Елизаровну руку, держащую поднос.

— А дом пока возглавит Лида, — шепчет ему Нина Елизаровна. — Так сказать, пробный шар...

Когда они садятся за стол, Виктор Витальевич поднимает рюмку:

— А теперь — за Лидочкин отпуск! За Лидочкин Адлер!

Нина Елизаровна, Настя и Евгений Анатольевич переглядываются.

— Нет, — решительно говорит Лида. — За отпуск мы пить не будем. Тем более, за Адлер.

— Но тебе же на работе дали отпуск?!

— Да. И я постараюсь использовать его на поиски другой работы.

— Я прошу объяснений! — требует Виктор Витальевич.

— Ну не хочет Лидочка ехать в этот вонючий Адлер! — резко говорит Нина Елизаровна. — Наверно, у нее есть свои соображения.

— Какие еще соображения?! Пусть скажет!

— «А из зала кричат — давай подробности!» — поет Настя. — Действительно! Какие у простого советского человека секреты от коллектива?! Общественное превышает личного! Да, Виктор Витальевич?

— Тебя вообще пока никто не спрашивает, сопляк!

Александр Наумович шлепнул рюмку водки, жестко сузил глаза:

— Я попросил бы вас, Виктор Витальевич, разговаривать с моей дочерью в ином тоне.

— Всё, всё, всё! — вскакивает Лида. — Сашенька! Не обращайтесь внимания... А ты, папа, не смей цепляться к Насте! К вопросу об отложенном отпуске!

Лида достает из комодика пятьдесят рублей и яркий пакет с купальником. Проходит в комнату Бабушки, кладет пятидесятку на столик у кровати:

— Бабуля! Милая... Я возвращаю тебе эту дотацию, которую наверняка у тебя выпросила для меня мама... Это раз! Второе. — Лида подходит к столу, обнимает сзади Настю за плечи: — Настюха! Прими в дар купальничек. Не обессудь, старушка, Гонконг, дешевка, всего пятьдесят рэ. Но от чистого сердца.

— Что ты, Лидуня, — растроганно произносит Настя. — Купальник — прелесть! О таком мечтать и мечтать... Просто он мне сейчас совсем ни к чему.

— К лету, Настюшка. Бери!

— К лету — тем более... Не нужно, Лидуня. Оставь себе, родная.

— Почему? — огорчается Лида.

— Да потому, что я уже месяца полтора-два как беременна. Представляешь, как я буду выглядеть летом? — улыбается ей Настя. Над столом нависает жуткая тишина...

...Бабушка смотрит в большую комнату. Тревожно вздрагивает правый уголок беззубого рта. Она поднимает руку, цепляется за веревку от рынды и...

Бом-м-м!!! — медный гул тревожно заполняет квартиру.

Настя бросает взгляд на часы и включает телевизор.

Неподалеку от Настиного дома из уличной урны валит дым, вырываются языки пламени. Продрогший и нетрезвый Мишка методич-



Настя — Маша Голубкина

но вырывает из уголовного кодекса страницу за страницей, бросает их в полыхающую урну.

— Хулиган! — несется из форточки на третьем этаже. — Вот я сейчас в милицию позвоню!

Мишка поднимает печальные глаза, борочет себе под нос:

— Вали, тетка... Звони. Я уже в тюрьме...

На экране телевизора Хрюша склочничает со Степашкой, а «дядя Володя» сладким голосом изрекает тоскливые дидактические истины...

Со своего ложа Бабушка неотрывно следит за экраном.

Теперь за столом все сидят так, чтобы не перекрывать Бабушке телевизор. Первый шок от Настиного сообщения прошел, и в комнате стоит дикий гам. Только Евгений Анатольевич испуганно помалкивает, не считая себя вправе вмешиваться в чужие семейные дела...

— Я сейчас же звоню прокурору района — это мой старый товарищ, — и мы этого мерзавца изолируем минимум лет на десять! — говорит Виктор Витальевич.

— Так я его вам и отдам! Держите карман шире! — заявляет ему Настя. — И про десять лет не смейте врать! Статья сто девятнадцатая, часть первая — до трех лет! И все!

— А мы оформим это как изнасилование!

— А я на вас — в суд за клевету! И не лезьте не в свое дело!

— Но он же тебя предал!!! — кричит Нина Елизаровна. — Он посмел усомниться...

— Он перетрусил, мама! Испугался, и от страха, как дурак...

— Нужно немедленно организовать аборт! — заявляет Виктор Витальевич. — Лида, у тебя есть свой доктор по этому профилю?

— Откуда?!

— Но ты же взрослая женщина...

— У меня хахаль был достаточно опытный и осторожный!

— Хорошо. Достанем. Аборт необходим!

Александр Наумович выпивает рюмку водки, складывает из своих длинных музыкальных пальцев выразительную фигу и сует ее под нос Виктору Витальевичу.

— Молодец, папуля! — восхищается Настя. — Ешь киндзу!

— Яблочко от яблоньки...— язвит Виктор Витальевич.

— Ну зачем же так? — брезгливо говорит Евгений Анатольевич.

— А вы-то тут при чем? — взрывается Виктор Витальевич.

— Он при чем! Он при чем! Он — мамин друг! — кричит Настя.

— Но почему Настя?! Почему она?! — бьется в истерике Лида.— Это я... Я должна была! Сейчас моя очередь рожать!

— Лидка, милая, прости меня... Так получилось...— умоляет ее Настя.— Я этого сама хотела! Очень! Очень! Очень!

— Как ты можешь говорить об этом так бессовестно?! — стонет Нина Елизаровна.— Этого стесняться надо!

— Да почему?! Почему, черт бы вас всех побрал?! — орет Настя.— Я хочу родить ребеночка — чего я должна стесняться?! Ты двоих родила — не стеснялась же?!

— Я от мужей рожала! — в защиту своей нравственности Нина Елизаровна широким жестом обводит стол с мужьями.

— Тебе никто не мешает еще раз родить от Евгения Анатольевича! Пожалуйста!

— Дура! Замолчи сейчас же! — в ужасе кричит Нина Елизаровна.

— В конце концов, это отвратительно и противоестественно,— говорит Виктор Витальевич.— Забеременеть в пятнадцать лет...

Александр Наумович выпивает рюмку, закусывает и замечает:

— Вот если бы вы, Виктор Витальевич, забеременели — это было бы и отвратительно, и противоестественно. А девочка в пятнадцать лет... Чуть рановато... Но — ничего страшного.

— Может быть, для вашего племени и ничего страшного, но вы живете в России, сударь! И извольте этого не забывать!

— Послушайте, вы ведете себя уже непристойно,— неожиданно твердо говорит Евгений Анатольевич.— Эдак можно бог знает до чего договориться.

Но Виктора Витальевича уже не остановить:

— Что же это вы, Александр Наумович, в прошлом году со своей мамашей, сестричкой, ее мужем и племянниками туда не выехали? Где же ваш хваленый «голос крови»?

Александр Наумович улыбается, наливает себе водки и выпивает:

— Мой «голос крови» — в любви к моей дочери. К Ниночке — женщине, которая ее родила... К вашей Лиде, которая при мне стала хорошим взрослым человеком... И в дурацком, чисто национальном, еврейском оптимизме — в извечном ожидании перемен к лучшему.

— Папочка...— Настя целует отца в лысину.— Киндзу хочешь?

Виктор Витальевич вздыхает и скорбно произносит:

— О чем может идти речь, когда великую страну раздирают пришлые, чуждые и изначально безнравственные...

— Да заткнись ты! — рявкает Лида.— Что за гадость ты мелешь?! И отодвинься сейчас же! Ты бабушке перекрываешь телевизор.

— Что же делать?! Что же с Настенькой-то делать? — заламывает руки Нина Елизаровна.— Женя! Ну хоть вы-то...

— Наше поколение...— не унимается Виктор Витальевич.

— Плевать я хотела на ваше поколение! — кричит ему Настя.— Я свое поколение выращу! Такое — какое вам и не снилось!

Александр Наумович выпивает рюмку водки, берет Настю за уши, притягивает к себе и целует в нос. Так, как это делала Нина Елизаровна. И спрашивает тихо и серьезно:

— А кого ты хочешь — мальчика или девочку?

Тут Настины глаза наполняются слезами. Чтобы не заплакать, она усмехается, смотрит на мать, на Лиду, на Евгения Анатольевича и говорит:

— Девочку.

Неотвратимо, как статуя поддавшего Комадора, Мишка приближается к Настиному дому...

На кухне тихо плачет Нина Елизаровна:

— ...и опять у нас роман не получается... Только что-нибудь решу — все опрокидывается. Почему так не везет, Женечка?

— Ничего не опрокинулось, Ниночка... Ничего не изменилось! — обнимает ее Евгений Анатольевич.

— Господи, Женя!.. Как же вы не понимаете, что изменения произошли чудовищные и необратимые! Одно дело, когда еще час назад я была матерью двух взрослых дочерей — и это придавало даже некоторую пикантность,— а другое, когда в одно мгновение я превращаюсь в старуху, в бабушку у!..— И Нина Елизаровна снова начинает плакать.

— Какая вы бабушка?! Что вы говорите! Настя родит, дай ей Бог, только в июне. Ко мне мы должны поехать...

— Женя! Вы с ума сошли! Даже на два дня я не смогу оставить беременного ребенка!

Мишка подходит к Настиной квартире, нажимает на звонок и не отпускает, пока по ту сторону двери не раздастся раздраженный голос Нины Елизаровны: «Неуже-

ли никто не слышит звонка?!»

Раздается щелчок, дверь открывается, и Мишка говорит:

— Я люблю ее, Нина Елизаровна...

Из квартиры несутся шум, крики. Нина Елизаровна выходит на лестничную площадку, прикрывает за собою дверь.

— Я люблю ее,— повторяет Мишка.— Я без нее... Пусть посадят, пусть зарежут там... Позовите ее...

— Ты ее предал.

— Я больше не буду,— вдруг по-детски говорит Мишка.

— Будешь. Один раз предал — еще предай. Это закон. И потом, ты уверен, что она именно от тебя беременна?

Нина Елизаровна уходит в квартиру. Оскорбительно щелкает замок.

Со звериным воем Мишка барабанит в дверь кулаками...

Страшный стук несется по всей квартире!

— Я морду набью этому подонку! — возмущается Виктор Витальевич.

— Он два года в десантных войсках отслужил. Он вас на куски разорвет, — с удовольствием говорит Настя.

— Тогда милицию вызвать.— Виктор Витальевич берет трубку.

— Положи трубку на место! — приказывает Нина Елизаровна.

Стучит Мишка кулаками в дверь, вопит истошно...

— Что ты мучаешь его, Настя?! — кричит Лида.

Пьяный Александр Наумович наполняет водкой две рюмки:

— Я бы с удовольствием с ним познакомился.

— Ничего интересного, папа. Слабый, бесхарактерный, не очень умный,— говорит Настя.— Наверняка поддатый сейчас. Постучит немного, выйдут соседи по площадке, отправят его в каталажку.

— Нет. Этого допускать нельзя,— Евгений Анатольевич встает из-за стола.— Это постыдно. Как его зовут?

— Мишка...— Настя не на шутку встревожена.— Осторожней, Евгений Анатольевич! Он все приемы знает.

— Ну да авось...— и Евгений Анатольевич направляется к двери.

Полумертвый, высохший бабушкин мозг заполняется страшным стуком. Челюсть отвалилась, рот кривится в беззвучном вопле, стекает слюна на подбородок, в широко открытых глазах дикий ужас...

— Настя-а-а! — кричит Мишка и молотит в квартиру.

Но тут дверь неожиданно распаивается, и Мишка видит перед собой Евгения Анатольевича, который говорит ему:

— Михаил, ты бы вел себя поприличнее. А то ты этим только Настю расстраиваешь. А в ее положении сейчас, сам понимаешь, огорчаться нельзя ни в коем случае.

— Ах ты ж, козел старый! Я сейчас из тебя, курва, такую макаку сделаю — по чертежам не соберут, падла! — орет Мишка.

— Ну что же ты так нервничаешь? Приди завтра, трезвенький, поговори как человек. А то соседи сейчас выйдут и отправят тебя куда следует.

— Как же! Выйдут! Никто носа не высунет! Ну, иди, иди сюда, бздила!

— Тьфу ты, боже мой... Ну как с тобой разговаривать, Миша?

— Да кому ты нужен, сука, со своими разговорами?!

— Вот это верно,— опечаленно говорит Евгений Анатольевич.— Видать, разговорами не обойтись.

Не успевает Мишка принять боевую стойку каратиста, как Евгений Анатольевич дважды резко бьет его в солнечное сплетение — слева и справа.

Он подхватывает падающего, теряющего сознание Мишку, заботливо усаживает его на ступеньки, садится рядом и обнимает его за плечи:

— Ну, все... Все. Успокойся, сынок. Сейчас пройдет... Это ненадолго...

Часам к двенадцати ночи обессиленные Нина Елизаровна, Настя и Лида, уже переодетые в старенькое, домашнее, с измученными лицами, сидят за опустевшим столом с грязной посудой, остатками еды и пустыми бутылками.

Бабушкина комната прикрыта.

Лида выливает себе в рюмку остатки коньяка.

Нина Елизаровна нервно трет виски — мучается головной болью.

Настя достает пачку «Пегаса».

— О ребенке подумай,— негромко говорит Лида.

Настя благодарно ей улыбается, комкает пачку и бросает в кучу грязной посуды. И видит на комодике отцовский кларнет.

— Папа опять кларнет забыл...

— Ах, молодец Маринка! — потягивает коньяк Лида.— Ах, хваткая девка! Мощнейшая провинциальная закваска! А ведь какой серенькой мышкой приехала к нам на первый курс!

— Что же делать с квартирой? Надо что-то с квартирой решать,— трет виски Нина Елизаровна.— Появится маленький...

— Маленькая,— поправляет ее Настя.

— Деньги, деньги...— говорит Лида.— Сейчас за деньги...

— Ма, давай красное дерево толкнем — на него жуткие цены сейчас! — оживляется Настя.

— А на что не жуткие? — усмехается Лида.

— Единственное, что от бабушки осталось, — грустно говорит Нина Елизаровна. — Да и не купит никто в таком виде. Реставрировать надо. Опять деньги! Господи-и-и! Да когда же мы жить-то начнем по-человечески?! Ну сколько можно? Ну смешно же прямо! Говорят, говорят, говорят! Уши ведь уже вянют!

Не спит Бабушка — внимательно слушает. С тоской оглядывает свою широченную кровать красного дерева...

— Ладно тебе, мамуль... — Настя прижимается щекой к руке Нины Елизаровны. — И так разместимся как-нибудь.

— Мам, у нас выпить нечего? — спрашивает Лида.

— После Александра Наумовича? Ты с ума сошла.

— Спокуха, девочки! — и Настя достает из-за дивана бутылку с итальянским вермутом. — Когда я увидела, что папа уже в мажоре, я тут же заныкала это.

На дне бутылки плещется граммов сто, не больше. Настя разливает «Чинзано» по двум рюмкам — сестре и матери:

— Вуаля! Кто — добытчик? Кто — волчица?!

— А себе, волчица?

— В глухой завязке. Или дети, или поддача!

— Мамуля, давай треснем за Настюху и... Пей, пей, мама! И будем исходить из реальных возможностей... Нам надеяться не на кого.

— Будь счастлива, дочура, — смахивает слезу Нина Елизаровна.

— Настюхочка! Будь здорова, киска! Вперед! — Лида выпивает свою рюмку: — Внимание! Только следите за мыслью. Если шкаф поставить вот так... А мамин диван вот сюда...

— Правильно! — кричит Настя. — То здесь встанет кровать! Да?

— Оф корс, май систер! Стеллаж запикивается в нашу комнату...

— А комодик? — спрашивает Нина Елизаровна.

— На помойку! Тогда Настина раскладушка совершенно свободно встает рядом с кроватью и...

— Ну, правильно, — прерывает Лиду Нина Елизаровна. — И судно с бабушкиными делами можно будет выносить только мимо маленького.

— Ма-лень-кой!.. Сколько раз тебе говорить!

— Какая разница, если ребенок будет постоянно дышать миазмами?!

— Чем? — Настя впервые слышит это слово.

— Ну, что в судне бывает из-под бабушки.

— А-а-а... Но не вечно же это будет? Когда-то же придет и конец. — И тут, судя по тому, как одновременно замолчали мать и сестра, Настя понимает, что этого говорить не следовало. — То есть я хотела сказать...

— Ну что ты за сучка, Настя! — зло говорит Лида. — Как у тебя язык повернулся?!

— Это же твоя бабушка... — тихо говорит Нина Елизаровна.

— Сами же говорили: «исходя из реальных возможностей»... — виновато бормочет Настя.

В своей комнате Бабушка слышит Настин приговор и в панике поднимает трясущуюся правую руку. Цепляется скрюченными пальцами за веревку от колокола и резко дергает...

Но привычного «Бом-м-м!!!» не раздастся. Тяжелый медный язык корабельной рынды оторвется и падает Бабушке точно на голову.

По истощенному, парализованному тельцу Бабушки пробегает предсмертная судорога, а в угасающем мозгу молниями несутся обрывки видений...

...Окровавленный Дедушка отшвыривает ее от своих ног...

...Подписывает, подписывает Бабушка протоколы! Друг ползет к ней, плачет, умоляет...

...Наматывает волосы Бабушки на руку помощник Друга, расстегивает ширинку форменных галифе...

...Вышки с часосовыми... Строй заключенных женщин... Конвой... За строем одиннадцатилетняя Нина играет с маленькими заключенными детьми...

И все! И кажется — умерла Бабушка...

Но Бабушка открывает глаза! Оглядывает комнату, фотографии... Поднимает правую руку, очень осмысленно рассматривает ее. Потом поднимает левую! И, наконец, встряхивает своей маленькой птичьей головкой с жидкими седыми волосенками...

Мало того — она пытается приподняться на локте, и это ей удается.

Она садится, осторожно спускает тоненькие подгагрические ноги на пол и, придерживаясь за столик, встает в полный

рост!..

Удрученные концом разговора, Нина Елизаровна, Настя и Лида молча сидят за столом напротив двери в бабушкину комнату.

Скрипнула дверь... Все трое переглядываются, прислушиваются и вдруг видят, как эта дверь начинает медленно открываться!

От страха и неожиданности они застывают и немеют. Только глаза у всех троих становятся все больше и больше!

Распахивается дверь, и в ее проеме, словно в картинной раме, появляется Бабушка — седая, патлатая, в несвежей ночной рубаше с потеками...

Чтобы не закричать благим матом, Нина Елизаровна зажимает рот руками...

Лида в кошмаре хватается за голову...

Настя сидит, не в силах оторвать глаз

от этого невероятного явления!..

Бабушка стоит в проеме двери с фингалом под глазом, и вид у нее, прямо скажем, мерзкий. И наглый. И наступательный. И жалкий...

— Вот теперь, когда Бог наконец надо мной смилостивился,— произносит Бабушка скрипучим от долгого молчания голосом,— я на вас всех такое напишу... в эНКаВэДэ!..

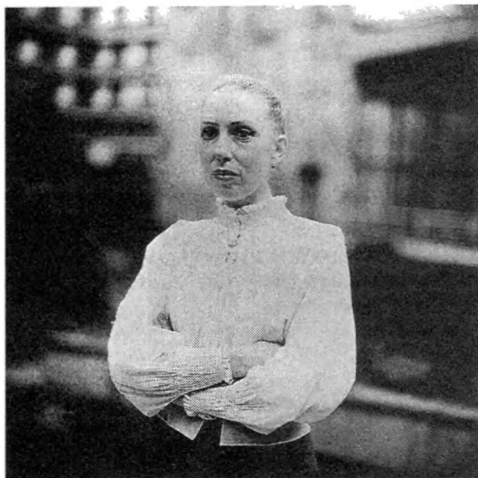
Сидят неподвижно три парализованные кошмаром женщины — сорока девяти лет, двадцати шести и пятнадцати...

И только самая младшая, Настя, постепенно приходит в себя и, не отрывая от Бабушки глаз, негромко говорит:

— Черт побери... Неужели это опять может повториться? Исходя из реальных возможностей...

1989 г.

На Международном кинофестивале в г. Пескаре (Италия) в 1991 году актриса Инна Чурикова удостоена премии «Серебряный пегас» за лучшее исполнение женской роли в фильме «Ребро Адама». Актриса беседует с Мариной Сергиенко.



— Инна Михайловна, всех ваших героинь, от страстной Сарры в «Иванове» до «железной» Вассы, объединяет одна черта, вернее, чувство — все они женщины любящие. Вы сознательно вкладываете это в каждый образ? Или это органично присуще лично Вам?

— Я сейчас даже не знаю: или они такими были, или я такая... Во всяком случае, для меня каждая роль — это человек. Я думаю, скорее всего такими они и были. Васса любит, более того — она целомудренна в своем чувстве к мужу, это было ее первое, ее единственное чувство. Хотя она и предлагает ему ради спасения семьи, дома принять яд... Помню, я еще маленькая была и слушала эту пьесу по радио — и это было для

меня так страшно: как можно такое предложить любимому человеку!.. Она сильно угнетена его мужской натурой, измучена его цинизмом, неверностью, и все равно внутри сохраняет свое чувство. Помните, перед ее смертью, он приходит к ней, он ласкает ее, он нежен с ней... Она умирает светло, она уходит из жизни легко и хорошо, в любви. Да, она любящий человек, конечно...

— Но ведь через все роли! Наверное, это все-таки идет от Вас...

— Не знаю. Мне трудно судить... Но во всяком случае в «Ребре Адама» тоже... Любовь спасает от нашей замусоленности бытом, нуждой, от которой человек вроде уж ни на что и не реагирует, потому что он задавлен.

— То есть — любовь до полного самоотвержения?

— Ну я не могу сказать, что так уж до полного самоотвержения... Нине хочется нравиться, пудриться, краситься... Все это в ее жизни существует. Но тем не менее, в этой истории с беременной девочкой она ведет себя как любящий человек. Она не бьет ее, не орет на нее... Здесь очень важно, как поведет себя мать. А они уже и кроватку находят куда поставить, и шкаф, и как здесь жить... Бывает ведь по-другому, я вот видела по телевидению, как дочка родила и мать заставила ее сдать ребенка в детский дом. И никаких хлопот. Очевидно, эта, другая мать, спасает себя. У нее еще какие-то планы на свою жизнь... Эгоцентризм чудовищный! Или еще я помню, крупным планом сидит пара и объясняет, что у них нет денег, родители выгнали, и они положили на скамеечку перед роддомом ребеночка... Она говорит: «Гроза началась, и я пошла и еще даже оглянулась». Я как представила: гроза, дождь. Два здоровых взрослых человека... Моя героиня — нормальная! Она нормальный человек, любящий своих детей.

— Тогда — если вернуться к сценарию — как же получились такие прекрасные девочки у такой бабушки? Одаренные чувством любви и ответственности друг за друга?

— Видите, я вообще, откровенно говоря, не знаю, как в семье, допустим, алкоголиков рождаются дети, которые не пьют... Правда, рождаются и те, которые пьют. Потом, мне кажется, она страдала очень, моя героиня. Она задавала страдание в себе, приняв этакий общий тон жалости к больной маме, но та заставила ее очень страдать. Да и вообще в фильме бабушка-то получилась очень хорошая! Ей-богу, она не такая уж страшная! В сценарии она, действительно, из кагебешной среды, мол, я на вас на всех наступчу сейчас, напишу... А в фильме — мало ли что там было у них! Это ведь неизвестно, кто какую правду несет с собой. Нина даже повторяет судьбу своей матери. Потому что та одинока, эта одинока... И девочки у нее получаются одинокие. Какой-то общий код у них. Но обвинять Нинину маму я не хочу. Я вообще не хочу обвинять. Наверно, мама приложила к этому свое, но что-то такое не складывалось и у самой дочки.

— Может быть, здесь как раз не хватило той самой самоотверженной любви именно к мужу, — чтобы оставить мать, но создать своим детям, да и себе нормальную семью?

— Да-да, вот так и получается. Я не знаю, насколько это ошибка, но факт тот, что она отказалась от мужчин. Да, осталась с мамой. И с девочками.

— Окажись Вы, не дай Бог, перед такой дилеммой — как бы Вы решили?

— Я живу отдельно от мамы, но тем не менее Ване я сказала: когда наша мама будет болеть — вдруг, упаси Господь! — она будет жить с нами! Потому что я сдавать маму в дом для престарелых не хочу. Этого я не могу понять. Я, конечно, ни в чем не хочу зарекаюсь, но это для меня так же недопустимо, как сдавать родных детей. А вообще я считаю, что дети должны жить отдельно от родителей, пока родители могут жить отдельно. Потому что просто возраст разный! Вот, например, мой Ваня — он же сейчас соловьем поет, летает — ему сейчас тринадцать. А мне в этот момент, скажем, хочется поспать... И потом, когда

приходят другие люди — жена ребенка или муж, — это же ревность колоссальная! Я еще этого не испытала, но ведь сама же не знаешь, какая ты в ревности будешь, может быть, чудовище. Лучше отдельно жить и сохранять нормальные отношения. Хотя я сейчас думаю, что вот если Ванечка встретит подругу, она будет очень для меня симпатична, и хочется, чтобы вместе. Но ему-то, наверное, захочется, чтоб отдельно. Чтоб своя семья. Все понятно... Вот так и с этой картиной...

— Вам понравилось работать на этой картине?

— Конечно! Как я говорю, картина — это всегда лицо режиссера. Вот у этой картины — лицо Вячеслава Сигизмундовича нашего. У него очень внимательный, пылкий взгляд, он не назойлив, он интеллигентен... Достойнейший человек!

— Вы много работали с мужем как с режиссером. Так ведь, наверное, легче работать с родным человеком? Или наоборот?

— Вы знаете, у меня даже сложности в связи с этим. Работая с мужем, я привыкла к по-настоящему хорошему режиссерскому уровню, и иногда, когда встречаюсь с другими режиссерами, нам словно нужен переводчик. Мы говорим на одном языке, но мы не понимаем друг друга... У меня и с Петром Ефимовичем была такая ситуация, с Тодоровским. Очень много у него симпатичных качеств, которые нас связывают. Мы с ним хохотали все время. То он что-нибудь скажет, то я, и хохочем! Еще мне очень нравилось у Тодоровского, что он импровизацию всегда приветствовал. Как существование. Как дыхание. И он давал эту возможность.

— Ну а если вам необходимо выразить себя и именно таким образом, а режиссеру это не вполне понятно? Так может быть?

— Нет-нет! Это эстетически очень важно. Здесь именно по работе нужно, чтобы совпадало. А так — я ведь не дружить пришла!..

— А дружить, значит, так можно?

— Дружить можно. Можно же дружить с человеком другой профессии. И общаться можно, интересно общаться! А тут общение будет интересным только тогда, когда мы полезны друг другу в работе. Вот это главное. Мы сразу договорились, что это история любовная, не бытовая. Эти люди любят друг друга. Это семья. И поэтому я верю, что мы выдержим все неприятности. Потому что в нас именно этот запас неистребим!

— Любви?

— Да. Это точно — неистребим. Мы выдержим эту ситуацию.

— Мы, женщины?

— Нет, почему, я и в отцов верю. Сейчас как будто кто хочет искутить, хочет испытать нас в очередной раз. Весь этот бред, когда люди убивают друг друга... Вот это моя земля, нет, это моя земля, нет, это наша земля; вот я такой национальности, нет, я такой национальности... И это — серь-ез-но!.. Это такая болезнь. Ведь это невозможно, люди должны понять, что жить их детям! Если только они не хотят, чтобы жизнь вообще кончилась. Не может быть такой матери, которая сказала бы сыну: убей его, убей себя... Не верю! Хотя женщины разные бывают. Одна может сказать: убей его, он азербайджанец. Или армянин. Или грузин. Я не исследую этот тип женщин. Мать может сказать: не убивай — и будет лучше. Матери все должны так сказать своим детям: не убивай — и будет лучше. Действи-

тельно будет лучше. Все эти территории — это игры политиков. Они играют, а люди страдают. А детей надо спасать. От ненависти. Это очень заразительное чувство. Допустим, убили старушку или убили женщину, и я вижу — у меня тут же возникает чувство ненависти. От него трудно избавиться.

— Ну а если отвлечься от национальных проблем, нам для выживания нужны еще и кров и пища. Нет у вас ощущения экономической бесперспективности нынешней жизни?

— Нет, я думаю, мы движемся в абсолютно верном направлении. Нас изменило. Я не хочу, чтобы было как прежде, когда тебя заставляли. Думать так, как надо кому-то, не хочу! Пусть я не очень умна, но я хочу думать так, как мне думается... Не хочу, чтобы меня прослушивали, подглядывали... Пусть уж сколько чего мне отпущено, будет моим. У нас сейчас так много ошибок! Я, может быть, элементарно рассуждаю, но мне кажется, что жуткое количество ошибок, хотя бы с этими ценами чудовищными... Страдают-то простые люди.

— А вы лично?

— Ну а как вы думаете? Для артистов же нет специальных магазинов...

— И как же вы выходите из положения с кормежкой? На рынок?

— На рынке пока еще не была, но придется, наверное. Были дома кое-какие запасы. вот сегодня яйца купила и молоко в баночках... Когда вижу

какую-нибудь жуткую очередь, у меня, простите, просто судороги начинаются. Но там, где это быстро проходит, я могу еще постоять... Вот за этими баночками я постояла. А на рынке — я еще просто не готова. Купить за такие цены мясо — я не могу еще пока...

— Вообще непонятно, как выживать людям вашей профессии...

— Не знаю... Может быть, встанет вопрос перемены профессии для многих. Это ужас какой-то... Ну, допустим, концерты. Но я не играю сейчас концерты, потому что они выхолащивают напрочь, они лишают сил! Но если уж совсем туго будет, может быть, придется... Не знаю, наверное, еще не прижало. Не знаю, что буду делать. Потом, дай Бог ему здоровья, еще муж есть...

— Но ведь и ему тяжело приходится, сейчас для постановки фильма в среднем требуется три миллиона, а цены продолжают расти... Эти же деньги надо где-то раздобыть...

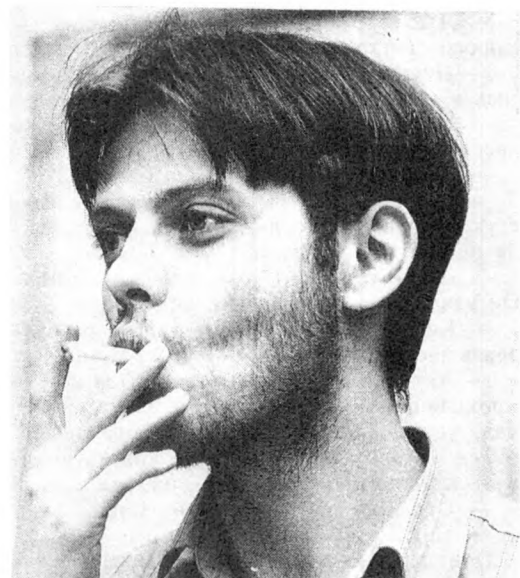
— Да, в кино сейчас вообще ситуация тяжелейшая, во всем. Да и в театрах... Но у нас такая атмосфера в театре хорошая! «Чайку» хочет Захаров делать, сейчас репетируем пьесу Галина, тоже очень интересная пьеса... И эта работа — в какой-то степени просто эмиграция от всех таких противных дел... Странно. Вот такая у меня хорошая, интересная жизнь. Потом придешь домой... Единственно, у меня сын должен быть сыт. Мы-то, взрослые, как-нибудь... И тем не менее — это все интересно, то, что сейчас происходит.



Александр
Михайлович
ЧЕЧУЛИН

Так странно и больно говорить — он был. Он был рыцарем кинематографического братства, профессиональной чести. Он любил друзей, женщин, автомобили, дороги, но более всего — свою профессию, суматошную, беспокойную, нервную, опасную не только возможными творческими провалами — порою просто житейски опасную. Его знали как талантливого кинооператора и режиссера, но в последние годы он обнаружил себя талантливым литератором. Написал автобиографическое повествование «Записки конформиста, не дожившего до пенсии». Впервые его опубликовал наш журнал. Свойство настоящей литературы оставлять живым давно ушедшее — былое время, былых людей. В «Записках» они все живы: его отец, мать, дядья, знаменитые кинематографисты, люди, когда-то встреченные им, его друзья. Жив и он сам: сначала мальчик, потом студент ВГИКа, после — известный кинематографист Александр Михайлович Чечулин.

Редакция



В шестидесятые годы на Одесской студии была традиция — по праздникам показывать иностранные фильмы. Восьмого мая 1962 года, ко дню Победы, шел «Психо» Хичкока. Моя мама посмотрела фильм и через несколько часов родила меня.

В Одессе я провел дикое дворовое детство. Десятилетним мальчиком был перевезен в Москву, за что и сейчас благодарен своим родителям — живи я в Одессе дальше, мечта стать моряком могла бы осуществиться. С тех пор я хотел быть кинорежиссером. Режиссер для меня был в первую очередь начальник над всеми. Кроме того, эта профессия в моем представлении всегда была окутана романтизмом. Я дважды проваливался на вступительных экзаменах и в конце концов с тяжелым сердцем поступил на сценарный факультет ВГИКа.

Я пришел туда отсиживаться, пока не пробил мой час встать у камеры. Отсиживаться мне понравилось. Лучшие часы своей жизни я провел за письменным столом, сочиняя истории, которых никогда не было или которые совсем недавно случились со мной...

В. Тодоровский

ЛЮБОВЬ

В Москве — поздняя осень, дождь, сумерки.
Саша. Все по порядку. Она пришла, попили чай... Потом?

Вадим. У меня принцип: да — да, нет — нет. Не устраивает — до свидания.

Саша. Нет, ты не подробно рассказываешь. Попили чай. Дальше?

Вадим. Объял...

Саша. Вы сидели рядом?

Вадим. Не помню... Она на стуле, а я в кресле. Нет, это я на стуле.

Саша. Ведь неудобно? Ты встал, навис над ней и...

Вадим. Навис. А голову положил сюда.

Саша. Куда?

Вадим. На грудь.

Молчание.

Саша. И как там у нее?

Вадим. Что?

Саша. Грудь. Большая?

Вадим. Я больше люблю маленькую. А тебе обязательно, чтобы вот так?

Посмеялись.

Саша. Ну, а потом?

Вадим. Раздел ее, положил... И все.

Саша. Говорил ей что-нибудь?

Вадим. Что-то нес... Главное — ничего не обещать.

Саша. И они не обижаются?

Вадим. Как поставишь. Черт, что за район!..

Дорожка среди луж и размокшей глины, ведущая к группе девятиэтажек у края лесопарка.

Саша. И как она тебе, понравилась? Страстная?

Вадим. Кусалась.

Саша. Кричала?

Звук, изображающий, как она кричала. Смеются.

Едут в кабине лифта.

Вадим. Наступи, поссоримся.

Ботинок Саши, вымазанный в глине, символически наступает на ухоженный ботинок Вадима.

Саша. И ведь каждый раз понимаю, раз она пришла, значит понимает, зачем пришла, так? Но в последний момент... Как-то неудобно становится, вот сейчас взяты и полезть.

Вадим. Однажды в жизни надо понять: не одни мы хотим. Они хотят еще больше. А мы вечно — как просители. Это унижительно в

конец концов.

У двери остановились двое семнадцатилетних юношей.

— Сегодня что-нибудь обломится, я это чувствую,— сказал Вадим, нажимая на звонок. Высокий и представительный, он был одет в широкополую шляпу и длинный, до полу, плащ. В руках держал черный зонт.

Саша счищал о ступеньку глину с ботинок. Выглядел он попроще своего друга и невольно старался держаться за его уверенной спиной.

Дверь открыла длинная, худая девка в бесформенном, залитом вином балахоне. Волосы ее, завитые мелким бесом, трепетали в воздухе. По обеим сторонам вытянутого носа блуждали мутные веселые глаза.

— Вадик!..— она повисла у Вадима на шею, целуя куда-то в темноту, под шляпу, залепетала: — Что ж ты так поздно, нам уже надоело...

Ожидая, когда его заметят, Саша разглядывал босые ступни девушки, которая, изогнувшись, стояла на цыпочках.

— А это — Саша! — представил Вадим. — Он еще нам покажет себя!

— Покажу! — с фальшивой бодростью заявил Саша.

Девушка обняла и его, поцеловав в губы. — Кузя, хозяйка дома? — спросил Вадим, бросая плащ на вешалку.

Саша снял ботинки.

— Ой, не надо! — сказала Кузя. — У нас и так тут...

— Грязно на улице.

Пошли на кухню.

Трое хорошо одетых молодых людей, сидя за столом, играли в карты.

— Извини, я забыла, как тебя зовут,— сказала Кузя.

— Саша.

Молодые люди, не прерывая игры, пожали Сашину руку.

Одного из них, самого красивого, Кузя обняла за шею и что-то зашептала на ухо.

— Хорошо, только потом...— поморщился он и бросил карту.

— Давай, давай! — Вадим подмигнул Саше и указал ему на комнату.

Саша вышел из кухни. По пути ему попались два здоровых парня, которые с хохотом носились друг за другом по коридору.

В комнате толпился народ. Потоптавшись на месте, Саша налил себе большую рюмку водки и закусил шпротинкой.

В углу кучерявый, болезненного вида парень пел песни под гитару. Толстая девица расположилась у ног гитариста и пела вместе с ним.

— Давай выпьем,— предложил Саше гитарист.

Обосновались у стола.

— Как тебе все это? — глотая водку, сказал парень. — Сколько говна сразу.

Саша неуверенно пожал плечами. Разлили остатки из бутылки.

— Э! Надо экономить напиток! — крикнул кто-то с дивана.

— Ты как попал в этот говнюшник? — спросил гитарист.

— Друг привел. — Саша разглядывал девушек в комнате.

— Пошли отсюда. Посидим в метро... Нас здесь трое порядочных людей.

— А кто третий? — спросил Саша.

— Будовская,— гитарист указал на толстую девчонку, которая, высунув язык, давила на струны. — Пошли?

— Давай попозже? — предложил Саша. Он увидел одну, симпатичную.

— Как знаешь. — Гитарист ушел, разочаровавшись в Саше.

— Активнее, активнее,— зашептал на ухо проходящий мимо Вадим. Он вдруг замолчал, уставившись в сторону. Саша повернулся и увидел необыкновенно красивую девушку, которая в прихожей снимала плащ.

— Отдай ее мне,— попросил Саша.

— Нет.

Они вдруг стали возиться в дверях, как мальчишки.

— Нет, я первый увидел! — смеялся Вадим, отталкивая Сашу.

Девушка смотрела на них широко раскрытыми, прекрасными глазами.

— Он всегда первый,— уныло сказал Саша, прекращая борьбу. — А мне не везет.

В пьяной грусти он побрел по квартире. Хотел пройти на кухню, но дверь не открывалась.

— Спрятались, гады! — закричал он и навалился на дверь плечом.

— Пошел к черту!..

Саша заперся в туалете. Со стены на него зазывно смотрела полуголая японка. Покачиваясь, он менял направление струйки и хохотал.

В дверь постучали. Саша открыл и увидел гитариста.

— Пойдем отсюда? — предложил Саша.

— А выпить?

— Обязательно.

Гитарист поднял крышку бачка унитаза и извлек оттуда бутылку сухого.

— Прохладная. Потрогай.

Саша потрогал.

На кухне пили вино из горлышка по очереди. Выпив, ставили бутылку под стол, от постронних глаз.

— Что они знают про любовь? — сказал Саша.

— Они и не поймут, если скажешь — тоскливо сказал гитарист.

— Ты любил?

— Да.

— Я так и думал.

Гитарист ласково улыбнулся, положил голову на стол и мгновенно уснул.

Сашу вдруг охватила жажда деятельности.

— Эй, вы, где вы тут? Попрытались?! — закричал он.

В ванной, на кафельном полу сидела Кузя и плакала, размазывая косметику.

— Подонок... — проскулила Кузя. — Он же подонок!..

Саша молча погладил ее по голове.

Кузя подняла на него глаза.

— Иди отсюда, — сказала она.

Теперь он бродил по квартире в настроении почти элегическом. Он был как бы посторонний наблюдатель падения нравов.

В спальне Вадим ворковал со своей красавицей. Красавица смеялась и убирала руку Вадима со своего плеча.

— Но почему? — капризно спрашивал Вадим.

— Очень быстрый, — она грозила пальчиком.

— Саша, я ее люблю. Скажи ей, что я ее люблю.

— Не слушайте его, — грустно сказал Саша. — Что он понимает в любви?

— Вот гад! — возмутился Вадим. — Это я то не понимаю?!

Саша вышел из комнаты. В коридоре, неожиданно для себя, он встал на карачки, опустил голову и мыча двинулся вперед...

— Бабушка хворает, развал в доме... Я пойду.

В дверях стояли Кузя и незнакомая девушка.

Они одновременно заметили Сашу, который снизу вверх глазел на них.

— Весело у вас, — сказала новая девушка, с любопытством разглядывая Сашу. — Это кто?

— Не знаю. Нажрался... Все сегодня нажрались. Сил нет смотреть.

Кузя брезгливо поморщилась и, переступив через Сашу, прошла в комнату.

Девушка была в плаще и шапочке, изпод которой выбивались темные кудрявые волосы. Она глянула на часы и взялась за ручку двери.

— Стоять, — сказал Саша.

— Что?!

— Не уходите, — попросил Саша, поднимаясь на ноги.

— Но мне очень нужно.

Саша молча глядел на девушку, пытаясь скрыть пьяное покачивание.

— Вам, наверное, тоже пора домой, — сказала она. — Вы где живете?

— Далеко... я живу, — сказал Саша. — Я здесь случайно.

— Лучше бы вам домой, — улыбнулась девушка.

— Детское время, — сказал Саша.

— Ну тогда... До свидания, — она протянула руку.

— Не надо... уходить. — Саша говорил отрывисто, будто отдавая команды.

Девушка помолчала, достала из сумочки блокнотик, написала что-то и, оторвав бумажку, сунула ему в руку. И вышла за дверь.

Он развернул бумажку: номер телефона. Подписано: Маша.

Последнее воспоминание вечера. В одних трусах он стоит посередине комнаты, и комната равномерно качается. В дверях — заспанные родители.

— Гадость. Господи, какая гадость... — бормочет Саша.

Мать тащит его в ванную, где его выворачивает наизнанку.

— Какая гадость!.. — чуть не плача бормочет он.

— Может, неотложку вызвать? — говорит мать.

— Не надо.

Отец курит на кухне, поджав под себя босые ноги.

Уже в постели Саша бормочет что-то, стонет, а то вдруг начинает смеяться.

— В институт не будить? — спрашивает мать.

Но он уже спит.

Долго, потеряв чувство времени, лежал в ванной. Курил. Пепел падал в воду и, рассыпаясь, шел ко дну.

На кухне пил чай, дрожащей рукой поднося к губам чашку.

В комнате подобрал с пола брюки, вывернул карманы и нашел многократно сложенный листок бумаги. На столе разглядел и перечитал несколько раз. Установил на полу телефон и набрал номер.

— Я вас слушаю, — слышался старушечий голос. — Говорите.

Саша молчал. Старуха тоже молчала. Потом слышался шорох и гудки.

Он побродил по квартире, остановился у зеркала. Попробовал улыбнуться. Напряг мышцы.

— Вот так, — вслух сказал он. — Так-то.

Вернулся к телефону. Набрал номер. Последнюю цифру долго не отпускал, держал палец в отверстии.

— Слушаю, — сказала старушка. — Что вы опять молчите?!

— Машу можно? — сказал он первые в этот день слова, и голос сорвался.

— Кто ее спрашивает?

— Знакомый.

— А у знакомого есть имя?

Саша замолчал, готовый положить трубку.

— Вы меня не знаете, — сказал он. — Это звонит Саша.



Рабочий момент

— Очень приятно, Саша. Одну минуточку. Ожидая, Саша скривился, как от кислотыны.

— Здравствуйте, Саша. Очень хорошо, что вы позвонили, не стали тянуть. Я так и думала, что это вы. Але, вы куда-то пропали?!

— Я здесь,— сказал Саша.— Вы меня не путаете?

— Нет, конечно.

— Откуда вы знаете, как меня зовут? Я ведь вчера не успел, кажется...

— Мне бабушка сказала.

— Действительно.

Помолчали.

Саша взял аппарат и, расправляя шнур, зашагал по квартире.

— Как самочувствие? — спросила она.

— Плохо,— признался он.

— Беденький. Но с вами такое не часто?

— Нет. Редко.

— Ну тогда можно и не вспоминать.

В кино Саша и Вадим сидели рядом. По обеим сторонам — девушки Маша и Марина, красавица, с которой они познакомились на вечеринке.

Вадим и Марина целовались. Иногда Вадим поворачивался к Саше и шептал на ухо:

— Не теряйся. Вспомни, что я говорил. Маша сосредоточенно смотрела на экран. Она была в очках. Саша положил руку на спинку кресла, как бы обнимая ее и в то же время как бы для удобства.

Тихо засмеялась Марина. В темноте поблескивали ее огромные глаза. Потом они снова целовались.

Саша повернулся к «своей» девушке. Он увидел четкий, застывший профиль с чуть орлиным носом. Профиль сдвинулся, и на Сашу в упор посмотрели два увеличенных линзами глаза.

— Пошли,— сказала Маша и, не дожидаясь ответа, пошла из зала.

Шли переулками. Облупленные московские особнячки тянулись вдоль дороги.

Она взяла его под руку, как взрослая женщина, и Саша напрягся.

— Очень плохой фильм,— сказала она.— Это ты выбирал?

— Нет, Вадим.

— Я так и думала.

— В зале тепло, какая разница?

— Есть разница.— Маша отпустила его руку и ловко перепрыгнула через лужу.

Саша через лужу переступил одним боль-

шим шагом. Закурил.

В темноте они шли вдоль ограды зоопарка. Среди деревьев виднелись белые пятна лебедей.

Они шли маленькими шажками, как стачки. Временами Маша тяжело наваливалась на его руку, будто не могла идти сама.

Остановились у подъезда старого кирпичного дома.

— Я здесь живу. А вам куда? — сказала Маша.

— Мне на Юго-Западную.

— Нет, ты должен ответить: мне некуда. Но не беда, переночую на вокзале.

Саша растерянно молчал.

— Они неловко замолчали... — продолжила Маша. — А можно к вам? Сказала: да.

— Почему ночевать на вокзале? — разозлился он. — У меня дом есть.

— Не читал? Давай еще кружок. Я только почту возьму.

Они вошли в подъезд. Маша открыла почтовый ящик, достала оттуда газеты, встряхнула ими, будто что-то искала, и положила газеты обратно.

Снова — облупленные особнячки, ограда зоопарка, редкие прохожие...

Вадим. Так и сказала: можно к вам? Этими словами и сказала?

Саша. Что-то такое.

Вадим. И сама ответила: да?

Саша. Не она ответила, а как бы кто-то так ответил.

Вадим. Дурак, она намекала. А можно к вам? Да, можно. И зашел бы.

Саша. Что теперь делать?

Вадим. Братъ. Она готова.

Саша. А у тебя? Есть прогресс?

Вадим. Кое-что.

Смеются...

Был солнечный осенний день.

— Красивая девочка, — сказала Маша.

— Кто?

— Марина, которая с твоим другом. Очень красивое лицо.

— Красивое, — согласился Саша.

— У них что-то серьезное? Он ведь тебе все рассказывает?

— Почему? Нет. И потом — у Вадика не бывает серьезного, — сказал Саша. — Он противник женитьбы.

— Ну да, свобода... Дурак твой Вадим. Я только почту возьму, и еще пройдемся.

Через открытую дверь подъезда Саша видел, как она достала газеты, просмотрела их и положила обратно.

К дому подъехал автомобиль. Из него вышел представительный мужчина с букетиком в руках. Поцеловал Машу в щеку:

— Новостей никаких? Риск есть?

— Идите. Вас ждут, — сказала Маша. —

Вас ждали раньше, Михаил Михалыч!

— Иду. — Мужчина пошел по лестнице. — Задержали сегодня.

— Это кто? — спросил Саша.

— Мамин друг.

Они медленно пошли по старому маршруту.

— Кстати, по этому вопросу я согласен с Вадиком, — сказал Саша заготовленную фразу. — Не принимаю браков в восемнадцать лет.

Она остановилась, удивленно на него посмотрела:

— Не бойся, я тебя женить не собираюсь.

Дальше шли молча. Настроение Маши явно испортилось. Она будто тяготилась им. И вдруг...

— А у твоей Марины, прости, конечно, задница великовата. — Она улыбалась и заглядывала ему в глаза.

Саша остановился.

— Я не знаю насчет задницы, но почему Марина моя?..

— Ты же сказал, что она красивая?

— Это ты сказала.

— Мне можно. А ты должен был сказать, что она страшна, как смертный грех!

— Но я же так не думаю.

— Да? — Маша развернулась. — Ты и в самом деле считаешь ее красавицей?

— Я не говорил, что она — красавица, но...

— Но задница великовата. Или не разглядел?

Саша замаялся под таким напором...

Саша. Все ей не нравятся. Все не так. Видно, большого о себе мнения.

Вадим. Мы тоже не махонь. Ты ей дай понять. Не мальчик с потной ладошкой...

— Скажем так: задница могла быть поменьше, — сказал Саша.

Маша молча пожала ему руку, и они пошли дальше.

— И никогда мне не говори, что кто-то красивый. Купи мне мороженое.

Он не сразу усвоил переход в разговоре.

— Я прошу купить мне мороженое.

— Тыфу ты...

Они стали в очередь...

Вадим. Все оказалось сложнее... Как тебе сказать... Она не дает.

Саша. Но...

Вадим. Да, целуется, даже ложится, но дальше — ни-ни. Ни в какую. Главное ведь — возбуждается... Железная воля у нее.

Саша. Динамистка.

Вадим. Да нет... Просто для Маринки это все очень серьезно, она к этому очень серьезно относится. Вот в чем дело.

Саша. Но ты-то не очень серьезно относишься?

В переулках варился снег, падал и снова взлетал, подхваченный ветром. Таял на лице,

превращаясь в большие капли.

Они остановились у Машиного подъезда.

— Что скажешь? — спросила она.

— Ты забыла почту посмотреть.

— Да? — Она удивленно вскинула глаза. — Ты прав. Сейчас.

Пока Маша открывала ящик, где-то наверху на балкон вышла подвыпившая компания. Музыка, смех, возбужденные голоса...

Саша поднял голову и увидел невесту в белой фате. Она громко смеялась и ловила ладонями снег.

— Простудишься, — отчетливо сказал кто-то.

Маша вышла из подъезда.

— Свадьба, — усмехнулся он.

— Да, Сережка из армии пришел.

Замолчали.

Разрозненные голоса на балконе объединились и хором стали скандировать:

— Горько! Горько!

— Ну что!.. — Маша подошла близко.

Он молчал.

— Горько!

Она ладонями взяла его мокрое от снежинок лицо и поцеловала в губы.

Саша обнял ее крепко и попытался поцеловать по-настоящему. Она отстранилась. Он закрыл глаза и неподвижно, вытянув руки по швам, стоял под снегом. Она положила голову ему на плечо. Саша стоял, боясь пошевелиться.

Компания, повизгивая, уходила с балкона.

— А можно к вам? — сказал Саша.

— Нет. Уже ночь, поздно. Мои все спят. Я почту смотрела? Да. Иди, на метро не успеешь. Завтра позвони.

Он потянулся, хотел поцеловать, но она убежала в подъезд.

Саша шагал мимо знакомых особнячков, ограды зоопарка. Он улыбался, хмурился, вдруг останавливался задумавшись, проигрывая в воображении сегодняшний вечер. Саша пошел быстрее и вдруг побежал, ударяя подошвами ботинок в мокрый, подтаявший снег.

Вадим в плаще и шляпе стоял у большой, обитой кожей двери. Позвонил..

Саша. Мне кажется, она специально меня не пускает. Все на улице, на улице, пока не околеченешь.

Вадим. Я пришел утром, мы договорились, у меня были билеты на утренний спектакль. Дверь открыла бабка.

Саша. У Маши тоже бабка.

Вадим. Старуха вообще из дома не выходит, будто приковали ее, а тут смотрю, в пальто, с сумочкой... Потом я узнал. Это она раз в месяц на могилу к деду ездит. Дед был

генерал, между прочим!..

Одетый Вадим стоит в прихожей старой антикварной квартиры. Он смотрит на себя в огромное зеркало и слышит шепот:

— Мариночка... Мариночка, к тебе пришли, этот мальчик высокий...

— Да, — бормочет Марина и спит дальше.

— Вставай, у вас билеты в театр... Ты забыла?

— Да. Встаю. Все, уже проснулась, бабуля..

Старуха проходит к дверям.

— Постойте здесь, Мариночка сейчас встанет, — говорит она и долго копается в прихожей, все не может уйти.

Наконец хлопает дверь. Звякает хрустальная люстра. В квартире — тишина.

Вадим делает несколько шагов по скрипучему паркету и смотрит в зеркало под острым углом. Он видит Марину в постели. Она сидит на смятом одеяле в одной лишь кружевной рубашке, розовая после сна. Она медленно поворачивает голову к своему плечу и поправляет бретельку. Встряхивает спутанными волосами, и они рассыпаются по спине и плечам...

Вадим. Она... Такая красивая. Проснулась и будто не спала, понимаешь? Открыла глаза и все — проснулась. Я по утрам в зеркало не могу посмотреть — такое мурло. А Маринка, она...

Не снимая плаща и шляпы, Вадим проходит в комнату. Марина смотрит на него и улыбается, даже не думая прикрыться. Он опускается перед ней на колени, пытается поцеловать...

Саша. Я утром, пока зубы не вычищу, целоваться не могу. Запах.

Вадим. Иди ты к черту, кретин! (Саша смеется.) Идиот!..

Марина отстраняет его.

— Подожди, бабушка...

— Бабушка ушла, слава тебе, господи, — говорит Вадим.

— Нет, я боюсь, ты точно знаешь? Посмотри...

Вадим нехотя поднимается и идет по квартире. Заглядывает в комнаты, на кухню. Возвращается в спальню. Марина сидит, завернутая в одеяло.

Все еще одетый, он садится рядом, проводит ладонью по ее волосам. Она обнимает его за шею, одеяло распахивается, и Вадим успевает увидеть под рубашкой розовую, нежную грудь. Они долго, не отрываясь, целуются и, тяжело дыша, валяются на кровать. Вадим лихорадочно стаскивает с себя плащ, свитер, ботинки. Марина лежа смотрит на него.

— А театр? — спрашивает она.

— Что театр?

— Мы опаздываем.

— Черт с ним.

Вадим целует ее лицо, грудь, пытается снять рубашку. Марина сопротивляется. Происходит возня. Наконец, красный и всклокоченный, Вадим садится на кровати.

— Ничего не понимаю. Почему? — говорит он.

— Я.. Не могу.

— Но почему?

— Я не могу. И все. Хватит. Я хочу в театр.

— Уже сто раз опоздали в твой театр! — в ярости кричит Вадим и начинает одеваться.

— Пожалуйста, не кричи на меня, — говорит Марина.

— Я пойду. — Он стоит одетый.

— Как хочешь.

— И ты так хочешь?

Она молчит.

— Ладно, я иду. — Он стоит. — Пока.

Она отворачивается.

— До свидания. — Вадим замечает: у нее на щеке — слеза. Возвращается, садится рядом. Целует в затылок.

Они лежат рядом, на кровати. Марина — все в той же рубашке, он — в брюках и свитере, скинув только ботинки. На тумбочке, у кровати — чашки с недопитым чаем, сахарница и бутерброды. Марина водит пальчиком по его лицу...

Вадим. Мы тогда чуть ли не до вечера провалялись в постели, она мне все рассказывала, понимаешь? У нее никого еще не было. В общем, она была девушкой. Поэтому так долго не решалась. Все-таки как мало мы разбираемся в людях.

Марина приподнимается на локтях, заглядывает Вадиму в глаза. Вадим серьезен, немного задумчив.

— Ты на меня обиделся, да? — шепчет она. — Обиделся?

Он молчит.

— Пойми, для... этого я должна полюбить. Это должен быть любимый человек. И ему я отдам все. — Она целует его в нос.

— А меня ты не любишь? — он отворачивается.

— Ты хочешь все сразу, сразу... Я так не могу. Вот я уже к тебе привыкаю, привыкаю, ты уже свой, родной. Родной-родной! — Она крепко прижимается к нему. — Вот такой!

Вадим и Марина снова целуются, поначалу тихо и ласково, потом — задыхаясь от страсти.

Слышится звук ключа, вставляемого в дверь.

Лихорадочные сборы. Стелется постель. Чашки и остатки бутербродов — в платяной шкаф. Марина натягивает платье. Сахарница, сахарница... Марина вдруг громко смеется.

— Тише.

— Не бойся, она же почти глухая! — И

Марина, будто наслаждаясь риском, жадно целует его в губы.

Саша. Можешь меня поздравить. Меня позвали в гости.

Саша втащил в лифт картонную коробку, закрыл дверь...

— Подождите минуточку, сейчас!

На лестнице послышались шаги, дверь лифта открылась, и в кабину протиснулся мужчина с букетиком в руках.

— Вам какой? — спросил он.

— Пятый.

— И мне пятый. Удачно, да?

Мужчина нажал на кнопку. Это был тот самый человек, которого однажды они с Машей встретили у подъезда. Не разговаривая они поднялись на пятый этаж.

— Квартира не эта случайно? — указал мужчина на дверь.

— Эта.

— Что ж, значит вместе, — сказал мужчина и помог вытащить коробку.

Дверь открыла Маша. В руке она держала горящую свечку. В квартире было темно.

— Здравствуйте, Михал Михалыч. Здравствуйте. Заходи. — Она подставила мужчине щеку и отступила в прихожую.

— Что это у вас... такая романтика?

— Света уже два часа нет.

Пока Саша снимал ботинки, из глубины квартиры послышался раздраженный голос:

— Опять, опять все сначала, я же тысячу раз говорила тебе, мама, ты что издеваешься надо мной? — С силой хлопнула дверь. И уже из комнаты: — Я говорила, не ходи туда, не позорься!.. Убедительно прошу оставить меня в покое!

— Ураган, — сказал Михал Михалыч и выразительно посмотрел на Машу. Она пожалала плечами и, высоко подняв свечу, повела гостей за собой. Саша в темноте осторожно ставил ногу, боясь споткнуться и уронить коробку.

— Это у тебя что? — бросила через плечо Маша.

— Увидишь.

На кухне, тоже освещенной свечами, у плиты возилась старуха.

— Бабушка, это Саша.

Саша поставил коробку и протянул руку. Бабушка неожиданно крепко пожалала ее и отрекомендовалась:

— Ревекка Самойловна. Маша, этот симпатичный молодой человек, это не тот, с которым ты встречалась еще в школе?

— Нет, бабушка, это другой, — досадливо сказала Маша и перевела разговор: — Саша что-то принес в большой коробке и наотрез отказывается сообщить что.

— Да я сейчас открою... — Саша взялся за шпагат.

В это время послышался стук открываемой двери и женский крик:

— Ты смотрела сегодня почту? Я спрашиваю?!

— Нет. И не собираюсь. Ходи сама,— резко ответила Маша.

— Я схожу,— быстро предложила старуха.

— Пожалуйста, живите без меня! Вы слышите? Я не хочу никого видеть! — И дверь захлопнулась.

Ревекка Самойловна, Маша и Михал Михалыч переглянулись между собой. Саша сосредоточенно занимался ящиком.

Ревекка Самойловна достала из кармана передника сигареты, села у стола и закурила.

— Боже мой, я когда-нибудь умру от этой темноты, я не вижу ваших лиц.— Она вздохнула.— Может, сходить за почтой?

— Не надо,— сказала Маша.— Так и рехнуться можно.

Михал Михалыч взял со стола свой букетик и, помявшись, шагнул к дверям. Это был большой, грузный, лысоватый мужчина. Он все время виновато улыбался, вздыхал и оправлял пиджак.

— Если через полчаса не вернусь,— сказал он,— не ждите. Пробирайтесь к своим.

Бабушка горестно усмехнулась, а Маша сказала:

— Мы вас не бросим, комиссар.

Михал Михалыч ушел в темноту. В некотором напряжении все услышали его осторожный стук в дверь, потом женский голос: «Я же просила, просила вас...», потом звук закрываемой двери и дальше — плач и неразборчивые утешения.

Саша наконец развязал шпагат, свернул его и положил в карман, отступил. Наверху были виноградные листья, потом сам виноград, под ним — желтые, лоснящиеся персики, а на дне — огромные, налитые соком груши.

— Слушай... Какая вкуснятина! — Маша отщипнула виноградинку и сунула в рот.— Откуда?

— У меня родственники в Херсоне, каждую осень присылают.

— Я была в Херсоне до войны, чудный город,— сказала старуха.— А ваши родители в курсе, что вы унесли?

— У нас еще много. Кстати, скоро будут уже свои, мы за городом строим дом...

— Давай помою,— перебила его Маша. Она откусила кусочек персика, сок брызнул и потек по пальцам.

Саша наблюдал за ней, пытаясь найти хоть какие-нибудь приметы того, что случилось вчера, что-то особенное в их отношениях, но... Она вела себя так, будто и не было поцелуя.

— Ну, молодой человек,— начала старуха.— Работаем или учимся?

— Учусь,— сказал Саша.

— Это хорошо. Где, можно спросить?

— В электронике и автоматике. Какие интересные вафли.

Саша отломил кусочек большого вафельного листа, похожего на картон.

— Это маца,— сказала Маша. Она ела персик, облокотившись о плиту.

— А вот наша девочка нигде не учится, вы не представляете, как я страдаю!

— Бабушка, я тебя попрошу! — вмешалась Маша.

— А что? Я не могу сказать? Когда же кончится эта темнота, я ничего, ничего не вижу.

— А может, пробки?

— Что?

— Вы пробки смотрели? Они могли вылететь.

— Да при чем тут пробки! — раздражено оборвала Маша.— Неужели ты думаешь, что мы уж настолько не соображаем, если бы пробки, уж давно бы починили.

— Я все-таки посмотрю.— Саша поднялся.

— Говорю, не надо никуда идти.

— Но почему же, доня? — удивилась старуха.— Молодой человек хочет починить свет. Пусть починит.

— Хорошо. Пошли.— Маша взяла со стола свечу и повела его в коридор.— Ты сам увидишь, что пробки тут ни при чем.

— Осторожно, дети, вас ударит током! — закричала вслед старуха.

У комнаты, куда зашел Михал Михалыч, они на мгновение остановились. За дверью была тишина, ни звука. Пошли дальше.

— Где-то здесь,— сказала Маша и осветила счетчик на стене.

Саша встал на ящик для обуви. Поднявшись на носки, он нащупал пробки, но дотянуться никак не мог.

— Ты, кажется, решил, что имеешь теперь какие-то права? — тихо и зло сказала Маша снизу.

— Что?

— Так вот знай: все это ничего не значит. Пришел со своими грушами и думал, вокруг тебя тут все будет плясать?

— Ничего я не думал.

— И попрошу тебя забрать свои дары, мы в них не нуждаемся.

Саша со злостью ударил по кнопке. По всей квартире вспыхнул свет.

— Не может этого быть, вейз мир! — закричала из кухни Ревекка Самойловна.

— Наконец-то, соизволили включить! — В коридор вышла молодая еще на вид женщина.— Здравствуйте, я не знала...— Она увидела Сашу.

— Я пойду,— сказал Саша.

— Нет уж. Теперь оставайся. Теперь ты

герой.

Они пошли на кухню, где их поджидала донельзя возбужденная старуха.

— С вашего позволения, я на вас посмотрю при свете. Так еще лучше. Вы знаете, три женщины в одном доме — это слишком! Машенька, покорми молодого человека, что же ты стоишь? Мне очень стыдно, но еще одна просьба... — зашептала Ревекка Самойловна, беспокойно поглядывая на Машу. — У нас в туалете уже год, как не закрывается крючок.

— Оставь человека в покое! — сказала Маша.

— Вы только посмотрите, скажите, что там, а мы сами... — Ревекка Самойловна подталкивала Сашу.

Саша осмотрел задвижку. Крючок никак не попадал в скобу — она погнулась.

Старуха со смиренным вниманием наблюдала.

— Молоточек... — сказал Саша.

— И что, вы прямо сейчас сделаете? — засуетилась Ревекка Самойловна. — А то мне приходится упираться в дверь шваброй. У нас есть очень хороший молоток...

Она засемила к кухне.

Саша остался ждать в туалете. Он потрогал скобу, попытался погнуть ее, но не вышло. Из дальней комнаты послышался смех Михалыча и женщины. На кухне негромко переговаривались Ревекка Самойловна и Маша. Саша услышал:

— Машенька, мальчик — еврей?

— Нет.

— Такой хороший мальчик... — как бы с некоторым удивлением сказала Ревекка Самойловна.

Саша замер, прислушиваясь.

— То-то я смотрю, он все умеет. Свет починил. Твой отец ничего не умел.

— И поэтому ты сразу села на голову, — сказала Маша.

— А ты хотела жить в темноте? — обиженно сказала старуха и зашагала к туалету.

— Этот годится? — Ревекка Самойловна протянула молоток.

Саша одним ударом поставил скобу на место.

— Можно испытывать. — Вместе со старухой они вошли в тесный туалет и торжественно закрылись изнутри.

В этот момент по всей квартире выключился свет.

— Черт, пробки!

На кухне хохотала Маша.

Свет горел, они сидели вокруг стола, все, кто был в квартире: Ревекка Самойловна, Маша, Михал Михалыч и Машина мама, Ирина Евгеньевна. Пили чай.

Саша поглядывал на Ирину Евгеньевну,

еще недавно что-то кричащую, раздраженную, теперь же улыбающуюся и спокойную.

Это была необыкновенно красивая женщина. Портила ее ужасная худоба, отчего черты лица становились резкими и изломанными. Худыми пальцами она обхватила фарфоровую чашку и с виноватой улыбкой поглядывала на окружающих. Михал Михалыч смотрел на нее с нескрываемым восхищением.

— А жалко, что свет включился, правда? — улыбнулась Ирина Евгеньевна, — Со свечой было так... Красиво. Пили бы чай при свечах...

— А ты: пробки, пробки, — сказала Маша. — Ни одно доброе дело...

— Вы ее не слушайте, Саша, — обернулась к нему Ирина Евгеньевна и добавила с легким раздражением: — А ты, Маша, иногда меня удивляешь.

— Айн момент, — Михал Михалыч заговорщицки подмигнул и вышел из-за стола.

— Молодой человек еще починил задвижку в туалете, — льстиво сказала старуха и подложила Саше варенья: — Вы ешьте, ешьте...

На кухне погас свет.

— Прошу не пугаться, никакой аварии! — появился Михал Михалыч со свечой. — Кто-то, кажется, хотел?..

Он устоял свечу посередине стола и вернулся на место, рядом с Ириной Евгеньевной.

Все замолчали, глядя на огонь.

— Машенька... — тихо сказала Ирина Евгеньевна. — А? Я тебя прошу!

Маша хотела было отказаться, но бабушка пресекла.

— И даже слушать не буду! — замахала руками старуха.

Маша вышла в комнату.

— Вы уже слышали, как она поет? О-о!.. — старуха улыбнулась, обещая удовольствие...

Голос Маши оказался неожиданно сильным, поставленным, голос не для домашнего пения, а для сцены. Старуха вначале подталкивала Сашу в бок, приглашая разделить ее гордость, но вскоре заслушалась. Михал Михалыч сел поближе к Ирине Евгеньевне, а она, не замечая его, неслышно, одними губами подпевала дочери...

Вадим. Твоя Маша... Она случайно не еврейка?

Саша. Бабушка точно еврейка. А что?

Вадим. Да ничего.

Саша. Ты что-то имеешь против?

Вадим. Говорю, нет. Между прочим, тут выяснилось, моя Марина тоже татарка, мать у нее татарка. Так-то...

Зазвонил телефон. Маша продолжала петь, а Ирина Евгеньевна сняла трубку. Послушав несколько мгновений, она положила ее на



Ирина Евгеньевна — Наталья Вилькина

рычаг. Она больше не подпевала, напротив, будто занервничала и прикурила от свечи. Телефон зазвонил еще раз. Ирина Евгеньевна сняла трубку и, услышав голос, резко положила ее на место.

Маша прекратила пение. Все они посмотрели друг на друга и тут же отвели глаза. Телефон снова зазвонил. На этот раз трубку не снимали.

Маша, побледнев, смотрела на свои руки, лежащие на гитаре. Ирина Евгеньевна курила. Пальцы с сигаретой дрожали. Телефон звонил. Михал Михалыч встал у окна спиной к остальным.

— Что же мы? — неестественно бодро сказала старуха. — Мы больше не будем петь?..

Телефон звонил.

Маша встала, нагнулась и резко выдернула телефонный штекер.

Стало тихо.

Ирина Евгеньевна вдруг начала задыхаться. Маша быстро налила стакан воды, поднесла матери. Ирина Евгеньевна сделала несколько глотков, но вода полилась обратно, на пол, и она уронила стакан.

Михал Михалыч обнял ее за плечи и быстро повел из кухни. В коридоре она разрыдалась. Это была истерика.

Они остались втроем.

— Пошли, — сказала Маша.

В темноте они вошли в маленькую темную комнатку. Загорелся плетеный светильник. Здесь было уютно и тесно. На стенах висели детские Машины рисунки, сделанные цветными карандашами.

— Садись, — Маша указала на диван.

Он сел. Она опустилась рядом с ним.

— Поцелуй меня. — Она поежилась, будто от холода.

Саша взял ее за плечи.

— У вас что-то случилось, — спросил он, — с мамой?

— Поцелуй меня.

Он поцеловал ее в губы, осторожно и целомудренно.

— Что у тебя во рту?

— Косточка, — смутился он.

— Выплюнь, — Маша подставила руку.

Он выкатил на ладонь отшлифованную во рту косточку персика. Она положила ее на краешек дивана и торопливо, будто боясь, что помешают, обняла Сашу...

Вадим. Теперь я понял. Я люблю ее. Да, я люблю ее...

... Среди антиквариата, отражаясь в трех видах в старинном трюмо, на широкой кровати лежат Вадим и Марина.

Застывшими глазами она смотрит на Вадима, красного, всклокоченного, нависающего над ней.

— Что, все? — говорит она.

— Кажется, — шепчет он.

Она вдруг начинает смеяться, и он смеется, зарывшись лицом в ее волосы.

— Слезай. Я простыню посмотрю.

Вадим откатывается на другую сторону кровати. Марина встает и рассматривает простыню.

— Посмотри, — она тихо смеется. — Нет, ты посмотри, что наделал!

Вадим, перегнувшись, разглядывает результат.

— И чтобы потом ничего не говорил. Ты мой первый, первый... — Она быстро его целует и возвращается к простыне: — Не отстираешь.

А в соседней комнате, перед телевизором сидит бабушка Марины. Фигурное катание не увлекает ее. Взгляд ее беспокоен. Она делает телевизор тише, осторожно ступая, подходит к комнате внучки и прислушивается. Тишина...

... Маша спала у него на плече. Он поцеловал ее в губы, осторожно встал и вышел в прихожую. Оделся. Комната матери была приоткрыта, и Саша увидел Ирину Евгеньевну и Михал Михалыча. Обнявшись, они сидели на диване. Прошел на кухню. Ревекка Самойловна стояла у окна, спиной к нему. Саша не решился окликнуть ее и ушел, не протрившись.

По лестнице спустился вниз. В тускло освещенном парадном подошел к почтовым ящикам. Один из них попытался открыть пальцем — дверца не поддавалась. Саша достал авторучку и отломил от нее узкий металлический язычок. Согнул его и вставил в щель для ключа. Вскоре ему удалось открыть ящик. С почтой в руках он подошел к лестнице, где горела лампочка.

«Известия», «Вечерняя Москва», счет за междугородный телефонный разговор, — ничего себе! — тридцать четыре рубля сорок копеек. Город не указан.

Саша встряхнул газетами, на пол упала открытка. «Дорогие! Поздравляем с празд-

ником Великого Октября! Мира, счастья...» — Саша миновал текст, посмотрел на подпись: «Софа, Коля».

Саша потряс еще, но на этот раз ничего не выпало. Он аккуратно сложил почту, сунул обратно в ящик, вышел. Падал снег.

Днем Саша бродил по улице, где жила Маша, несколько раз проходя мимо зоопарка, мимо ее двора.

Он увидел Ревекку Самойловну. Она вышла из арки и быстро зашагала прочь. Саша последовал за ней.

Вскоре Ревекка Самойловна остановилась у особняка, рядом с которым толпились люди. Группками здесь стояли старухи, молодые люди с черными бородками что-то жарко обсуждали. Чуть поодаль топтался милиционер.

На фасаде особняка было что-то написано буквами, похожими на арабские.

Саша встал у стены, осторожно приглядываясь к происходящему. Несколько раз до него доносилась чужая, не слышанная ранее речь. Говорили на странном языке старухи да и какие-то юноши тоже. У некоторых из них на голове — маленькие шапочки.

Обрывки старушечьего разговора донеслись до Саши.

— Двадцать один год, почти закончил институт, такой мальчик, такой мальчик!..

— Ну, мы не богатеи, но свою девочку не обидим, слава богу, ничего для нее не жалели...

— Э-э, вы хотите красавицу, эта красавица еще вам даст жизни! У нас есть женщина, кандидат наук, умница...

— Вдовец, двое детей, прекрасный человек...

Старухи доставали фотографии, записывали адреса, уходили, на их место приходили новые. Это была стихийная служба знакомств.

Саша услышал голос Ревекки Самойловны:

— Девочка, она так поет, у нее ангельский голос... Вы посмотрите: это ей десять лет. Вот в школе. Красавица! Вы говорите, сорок восемь? Если мужчине сорок восемь лет, ему нужна спокойная женщина лет под сорок, а не юный цветок. Имейте совесть. У меня есть, между прочим — ее мать. Я бы вам пожелала такую невестку, я бы всем пожелала...

У Ревекки Самойловны посыпались на асфальт фотографии.

Саша успел заметить: Ирина Евгеньевна и Маша, обнявшись на диване. В руках у Маши — гитара.

Рядом с Сашей остановился мужчина, жестом попросил прикурить.

— Устроили синагогу, бля!.. — сказал



Вадим — Дмитрий Марьянов

он. — А ты чего здесь нашел? Пархатую невесту?

Мужчина засмеялся.

Саша повернулся и пошел прочь.

Ночью, напившись воды из-под крана, отец заглянул в гостиную. В темноте, как маячок, вспыхивал огонек сигареты. Отец включил свет.

Саша, одетый, сидел в кресле. Курил.

— Отец. Я женюсь. И пожалуйста, не отговаривай меня. Это бесполезно.

Отец молчал. Потом повернулся и зашлепал босыми ногами по паркету.

— Поставь чайник.

Саша сбросил куртку, прошел на кухню и поставил чайник.

Отец вышел из ванной в женском халате.

— Есть хочешь?

— Ага.

— Что ж она тебя не кормит?

Отец доставал из холодильника колбасу, сыр, большую луковицу. Ловко, в четыре руки, они все нарезали, разложили на досточке.

— Селедочку? — предложил Саша.

— Жажда потом замучит.

Достали из банки селедку.

— Что ж, женись, — сказал отец.

На кухню заглянула сонная мать в ночной рубашке.

— Что вы тут?..

— Присоединяйся, — предложил отец. — Хочешь селедочки?

— Нет уж, и так весь рот обложен...

Она налила воды из-под крана и, пока пила, с удивлением заметила, что муж и сын смот-

рят на нее и улыбаются. Она ополоснула стакан, поставила его на место и уже с беспокойством посмотрела на них.

— Что случилось?

— Мать, ты можешь взять себя в руки? — спросил Саша. — Спокойно на все реагировать?

— Боже!.. — она приложила руки к груди и в испуге села.

За окном, на автобусной остановке уже толпились люди, у киоска с газетами стояла очередь.

— А жить где будете? У них или у нас? — спрашивала мать. — Боже, она хоть порядочная? У них квартира сколько комнат?

— Лучше отдельно. Снимать будем, — отвечал Саша.

Отец, сонный, клевал носом.

— Восемнадцать лет еще нету, сыночек, подумай...

— Скоро будет.

— Оставь парня в покое! — поднимал голову отец. — Решил, значит решил.

— А ты обрадовался! — напала мать на него. — Иди спать, на работу скоро.

— Уже нет смысла, — говорил отец, поглядывая на часы.

— Устроюсь куда-нибудь, плюс стипендия... — рассуждал Саша. — Например, сторожем через два дня на третий. Проживем.

— А мы что ли не поможем? — бормотал отец. — Всегда подкинем, если что.

— Девочка-то хорошая? Хоть бы глянуть на нее... — мать со страхом глядела на сына,

Бабушка — Инна Слободская



гладила по голове и вдруг всплакнула.

— Хватит, мам, радоваться надо...

Отец спал, положив голову на стол.

— Отведи его, пусть поспит, через сорок минут вставать... Сыночек!..

— Ладно, все, придумала трагедию! — Саша взял под руку отца и отвел в постель...

— Я завтрак приготовлю, — сказала мать Саши. — Тебя будить?

— Не надо. — Он пошел в свою комнату.

Быстро разделся, распахнул постель и наслаждением скользнул под одеяло. Вздрыгнул от остывших простыней, свернулся и через мгновение уснул. Он спал крепко и безмятежно, без сновидений, и ничто не могло его разбудить.

Весна, и улицы почти сухие, светит солнце, отражается в черной лаковой «Чайке», украшенной лентами и всем остальным, что положено при свадьбе.

Они выходят из автомобиля. Саша в великоватом костюме, при параде — Вадим, Маша, Марина в белом кружевном платье и фате с флёрдоранжем.

Поглядывая на часы, они стоят перед входом. Саша и Вадим курят, Марина рассеянно переговаривается с Машей, оглядывая платья невест, когда вдруг — нелепо — с солнечного неба начинает падать снег огромными редкими хлопьями. Толпа со смехом топчется под козырьком ЗАГСа, а свидетели, рискуя костюмами, снимают и снимают на пленку столь забавный момент, отходят подальше и, присев на корточки, снова снимают: эй, улыбнитесь!

— И не надо здесь болтаться, — говорила очень маленькая, густо крашенная женщина в малиновом до полу платье. — Когда надо будет, вас позовут. Вы жених?

— Пока да, — сказал Вадим.

— Пройдите в комнату жениха. Вон туда, по коридору налево. Невеста, — она обратилась к Марине, — вы должны быть в комнате невесты, это рядом с комнатой жениха. Свидетели сопровождают.

— А нельзя побыть вместе с женихом? — спросила Марина.

— Еще побудете, — сказала женщина и ушла.

— Прощай, родная! — Вадим театрально вздохнул, сгреб в охапку Марину и громко поцеловал ее в лоб.

В «комнате жениха» стояли несколько кресел и полированный стол, на котором разбросаны были брошюры о браке и семье. Стены были убраны полированными деревянными панелями. Над столом висела табличка «Не курить».

После суеты, натужного веселья возникла

неловкость.

Вадим закурил.

— Вроде здесь нельзя,— Саша указал на табличку.

— Не выгонят же отсюда?

— С них станется. Видел тетку?

Уселась в кресла. Саша оторвал от брошюры листок и ловко сделал бумажный кораблик. Поставил на стол. Кораблик поплыл по гладкой, полированной поверхности.

— Страхивай сюда.

Где-то за стенами играли марш Мендельсона.

Вадим. Знаешь, я совсем не чувствую момента. Надо же что-то чувствовать, а я не чувствую. Как будто не я женюсь.

Саша. Говорят, так всегда. Успокойся.

Вадим. Да я спокоен. Даже слишком. Вот, смотри... Подарок тества.

Вадим показал руку, на которой были новые заграничные часы.

Марина и Маша сидели в креслах в точности такой же комнате, с теми же полированными панелями на стенах и брошюрами на столе.

Марина говорила, поминутно поднимаясь и подходя к зеркалу.

Марина. Бабушка в горло вцепилась с этим букетиком. Снять его, как ты думаешь? Ты понимаешь, его родители, они... как будто не их сын женится, а кто-то другой, так все, знаешь, спокойно. У меня родители из Мавритании приехали, одна дорога туда и обратно сколько стоит, это же все за свой счет, часы Димке подарили, куртку классную, кучу барахла, а они как будто ни при чем. Ведь неудобно их спрашивать, на какие деньги будем устраивать свадьбу, правильно? Порядочные люди в таких случаях сами говорят, давайте все устроим пополам, а эти молчат, как ни при чем. Ах, Димин папа все деньги тратит на книги, он не от мира сего, хорошо быть не от мира сего, когда за тебя платят... Что ты носишь очки? Они тебе не идут,ними, я посмотрю.

Маша сняла очки.

Марина. Конечно, так лучше.

Маша. Зато плохо видно.

Марина. У меня подруга, у нее минус пять, она как слепая ходит, но очки не наденет, хоть убей. Она говорит... (Марина смеется), лучше ни фига не видеть, чем... Мужикам...

Марина расхохоталась.

Маша. Я уж лучше буду видеть.

Марина. Кстати, вы сюда еще не собрались?

Маша. Не собрались.

Марина. Слушай, вы вообще живете? Я к чему: они, если все получают, сразу становятся хозяевами положения. Надо вовремя отказать, решайся, дорогой...

В комнате жениха накурено. На столе рядом с плывущим корабликом рассыпан пепел.

Саша. Пока нет. Мы решили подождать.

Вадим. Я считаю — почему не жениться? У меня классный тесть, уже выпивали с ним, что, плохо?

Саша. Посмотрим.

Вадим. А-а, скрытный стал, ничего не говорит! Мой совет, не тяни. Один черт, раньше, позже. Слушай, они что, не хотят, чтобы я вступил в законный брак? Товарищи, нет мочи терпеть!

Марина. Я уже соскучилась по нему. Он там в другой комнате, а я уже соскучилась. Маш, я его так люблю, у него столько баб, я так ревную, глаза бы выцарапала этим сукам!

Маша. Я пойду, посмотрю, что-то тянут они там...

Марина. Подожди, черт с ними. (Тихо.) Мне кажется, я... Уже.

Маша. Что?

Марина. Беременна.

Маша. Уже?!

Марина. Мне кажется.

Маша. К врачу ходила?

Марина. Нет. Я боюсь.

Маша. Дура. Сходи сейчас, потом будет поздно.

Марина. А я... не собираюсь отказываться. Пусть будет маленькая девочка. Или мальчик. Пусть будет, если уже есть.

Вадим. Я думаю, детей пока не надо. Все-таки свое время. Надо же и нам пожить, правильно?

Саша. Да? Не знаю. Я пойду посмотрю, почему не зовут, забыли, что ли?..

Саша вышел в коридор. В это время открылась соседняя дверь и появилась Маша.

— Ты не знаешь, что они там? — спросил он.

— Не знаю. Тянут.

Они молча постояли. Маша оглянулась: никого в коридоре не было. Она шагнула к нему, обняла за шею и поцеловала в губы...

Грянул Мендельсон!

Широкие двери открылись. Вадим с Мариной вошли в зал, встали на красную дорожку. Свидетели с цветами в руках были чуть сзади.

Они ехали в полупустом вагоне электрички. Маша взобралась на скамейку с ногами, положила голову ему на плечо...

Вадим. Секс... Энгельс был прав — секс это главное. Я не во всем с ним согласен, кое в чем, между нами, старик напорол, но в этом вопросе я двумя руками — за...

В сумерках шли по узкому перрону станции, перебирались через пути по дырявой лестнице...

Вадим. Ты можешь представить себе настоящую любовь без секса? Невозможно. Абсурд. А секс без любви? Да в любую минуту, три раза в день без обеденного перерыва...

В темноте шагали по шоссе.

Вадим. Они не любят нерешительных. Их надо брать. Им даже хочется, чтобы почувствовать силу. Часто поэтому и ломаются, чтобы их взяли...

Они свернули с шоссе и вошли в лес. Через несколько шагов остановились у новенького деревянного забора. В темноте виднелся дом, выстроенный лишь наполовину. Было крыльцо, стены, в стенах — окна, не было лишь крыши.

— Мы с отцом строим,— сказал Саша.— Уже три года, каждое лето.

Они поднялись на крыльцо.

— Здесь большая комната. Кухня, видишь? Лестница на второй этаж.— Лестница уходила в небо.— Там будут еще две комнаты, маленькие. Одна станет нашей, когда мы будем приезжать. Самый нормальный дом.

Все вокруг было усыпано стружками, битым стеклом, столярным инструментом.

Маша посмотрела на звездное небо над головой.

— А если... дождь?

— Тут еще не все готово,— он ревниво следил за ее реакцией.— Я хотел тебе просто показать.

Саша подошел к ней, обнял ее, но она отстранилась.

— Я хочу есть,— сказала Маша.

Ужинали при свете керосиновой лампы, под открытым небом, завернувшись в ватные одеяла. Маша пододвинула ему бутерброд покрасивее и быстро спрятала руку под одеяло, в тепло.

Он поднес ко рту пучок зеленого лука, но в последний момент остановился и, что-то сообразив, отложил лук в сторону. Маша засмеялась, и он, догадавшись, что она поняла, тоже засмеялся.

Спать легли на полу, накрывшись ватными одеялами.

Целовались. Долго, начиная задыхаться.

— Нет,— говорила Маша.

Саша откатывался в сторону и, остывая, смотрел на звездное небо.

И снова целовались, и снова он смотрел на звезды.

— Не надо больше,— сказала Маша.— Этого не будет.

Он молчал.

— Только не обижайся.

— Я не обижаюсь.

— Но я же вижу.

— Можно мне спросить? — он приподнялся на локте.— Ты... У тебя... был кто-нибудь?

— Был.

— Кто?

— Какая разница?

— Просто хочется знать.

— Это был очень хороший человек. Такой ответ тебя устраивает?

Саша молчал.

— Что же ты не живешь со своим очень хорошим человеком?

Она сбросила одеяло и, подрагивая от холода, стала одеваться.

— Мне надо ехать.

Саша не шелохнулся.

— Ты меня не проводишь?

— А уже нет электрички,— он усмехнулся, встал с постели и подошел к ней.— Оставайся.

Он взял ее за руку и потянул к постели.

— Да ты что? Ты с ума сошел!

Она пыталась вырваться, но Саша силой уложил ее на пол, навалился всем телом, прижимая к доскам руки. Ему удалось сорвать лифчик, целовать грудь, но она отбивалась, оттаскивала его за волосы.

Саша уступил.

— Подонок!

Саша сидел среди одеял, бессмысленно ухмыляясь.

— Мразь...

Она быстро оделась и выбежала за дверь.

Он сидел долго, глядя на звезды, расставленные в небе четко и ясно. Потом вскочил и бросился вон из дома.

Они шли рядом по темному шоссе. Саша забегал вперед и в бешенстве говорил:

— Ты, амёба, бесчувственная тварь, ты решила надо мной издеваться? Тебя раздражает, что я тебя люблю, это тебя раздражает?! Тогда скажи: иди к черту, а не держи при себе, как... Не хочешь? А что ж ты хочешь? Чтобы я у вас дома звезды прибавил? А я все думаю, что ж это мадам спать со мной не хочет? Брезгуешь? Уж, конечно, не девушка, пробы негде ставить. А с другими, как, получается? Сколько, смею спросить, мадам, уже сделано абортвов?

Маша остановилась и дала ему пощечину. Саша расхохотался.

— Все у мадам тайна! Какие-то письма каждый вечер ожидаются прямо-таки с трепетом. Пока мужики не пишут, можно с мальчиком побаловаться! А я, идиот: замуж за меня выходи... Я у вас черная кость, сантехник домашний, так?! Мы, видите ли, сами дом строим, мадам презирает! Не смей

нас презирать, понятно, это я еще могу вас презирать!

Маша молчала...

Ехали в электричке. Саша говорил:

— Мадам подыщет тебе мужичка по-престижнее. Интересно, с этими, престижными, сразу в постель ложишься или денек все же крутишь мозги, строишь из себя целку? Ну, говори! Строишь? Чуть не забыл! Бабка-то жениха уже подыскивает, фотографии старушкам показывает. Что, никак пристроить повыгоднее не получается? Или мы вам по национальной принадлежности не подходим? Женитесь только на своих? Да что ты молчишь?!

Он заглянул ей в глаза. Маша плакала...

В метро он нависал над ней, держась за поручень.

— Ну хорошо, прости... Я хотел поговорить, так вышло. Посмотри на меня. Ты же видишь... Разве непонятно? Я очень тебя люблю... и... А ты будто не видишь. Ты должна себя по-другому вести, так нельзя. Да скажи что-нибудь!..

Остановились у ее подъезда. Люди уже шли на работу.

— Иди домой,— сказала Маша и шагнула в дверь.— Приходи завтра, хорошо?

Он шел за ней.

— Почему же завтра? Почему не сейчас?

Пришел лифт. Маша открыла дверь. Вдруг обернулась.

— Это... Очень сложно объяснить, я не могу,— сказала она.

— Что ты не можешь?!

— Объяснить.

— Тогда... Иди ты...

Саша повернулся, чтобы уйти, но взгляд его упал на почтовый ящик.

— Посмотрим, что там у вас? — Он рванул дверь, и на пол скользнуло что-то белое. Он быстро поднял конверт.

— Отдай! — она протянула руку.

— Что нам пишут очень хорошие люди...— Саша надрывал бумагу.

— Это не твое. Отдай. Отдай! — она сорвалась на крик.

— Прочту и отдам.

Он развернул бумагу и встал под лампочку.

— Мадам в волнении. Не это ли письмо мы так ждали? Итак. Приготовились...

— Прошу тебя, отдай письмо...— проговорила Маша.

— Начинаем... Так...— Он приблизил бумагу к глазам: — «ОВИР города Москвы. Прийти к инспектору Савостикову... С одиннадцати ноль-ноль...» Что это? — он поднял на нее глаза.

Молчание.

— Что это значит?

— Это значит, что я уезжаю.— Она мед-

ленно подошла к нему.

— Куда?

— В Израиль.

Они стояли лицом к лицу.

— Почему ты не сказала об этом раньше?

— Я боялась.

Он протянул ей бумагу. Она взяла. Она хотела погладить его по лицу, но Саша вздрогнул, как от прикосновения чего-то отвратительного.

— Ты... Тварь! Жидовка,— голос его сорвался.— Ты жидовка!

Он вышел из подъезда, услышав за спиной ее крик.

Ночью, впервые за много лет, Саша расплакался, лежа на своей постели.

В Москве пасмурно, моросит дождь. Вадим и Саша под зонтиком блуждают среди новостроек где-то на окраине города.

Вадим. Сто восьмой, сто двенадцатый... Здесь же четные? Должен быть сто десятый. Черт, понастроили. Почему хорошие ляли вечно живут в таких трущобах? Ты можешь сказать, что случилось? Не хочешь — не надо. Где же этот дом... Сашка, Сашка...

Саша. Дим, эти, куда мы идем... Хорошие девочки?

Вадим. Сегодня расклад верный, старая моя ватрушка с подругой. Ватрушка уже, кажется, ни на что не претендует, а подруга готова на все.

Саша. А сам-то ты хочешь?

Вадим. Все ради тебя.

Саша. Но они точно дадут? Если это какой-то сомнительный вариант, я не хочу. Да — да, нет — нет!

Вадим. Ну, брат, такого, чтоб сразу, не бывает. Всегда надо приложить усилие.

Саша. Смотря какое усилие. А нет — и черт с ними!

Вадим. Я, конечно, молчал, но чувствовал, твоя евреечка себе на уме. Не хочешь говорить, не надо. Ну вот — сто десять. Спрятали, гады!..

В полутемной комнате кружились две пары. Интимная музыка располагала к сближению. Вадим танцевал, обнявшись с партнершей, в то же время в движениях его была некая небрежность.

Саша держался напряженно, и его партнерша, изящная и маленькая брюнетка, должна была поминутно привлекать его внимание. Она клала голову ему на плечо или долгим взглядом смотрела в глаза.

Пары вращались вокруг собственной оси. Когда Саша и Вадим оказывались между ними, происходил немой диалог: ну, что же ты? — показывал Вадим. Что за пешка? —



Маша — Наталья Петрова

мимикой отвечал Саша. Впрочем, когда лицом к лицу оказывались девушки они тоже не упускали случая перемигнуться и молча обменяться впечатлениями.

— Пойдем туда? — предложила партнерша Саше.

— Пойдем.

Она взяла его за руку и повела в другую комнату.

Вадим с облегчением вздохнул и уселся на диван. Девушка села рядом с ним.

— Он ей понравился... — сказала она. — А ты, говорят, ушел в семейную жизнь?

— Ушел. С головой.

— И никто не нужен? — она пальцами перебирала его волосы.

— Никто.

— Боже, где такие мужья? Ты не хочешь меня выдать замуж? Это было бы благородно. Вот хотя бы за этого Сашу. Хороший мальчик. Надо было мне оставить Сашу, а себе взять Лариску. Хотя тебе же никто не нужен!

— У Саши большая любовь, ему надо отвлечься, — сказал Вадим.



Саша — Евгений Миронов

— А может, у него и ко мне будет большая любовь?..— говорила девушка с застывшей улыбкой на губах.

В темной комнате, на огромной двухспальной кровати сидели Саша и Лариса.

Девушка начала раздеваться.

— Помоги мне. Заколка зацепилась.

Саша нащупал заколку в волосах, осторожно отстегнул ее.

— Спасибо.

— Слушай,— Саша повернулся к ней.—

Скажи мне: зачем ты это делаешь? Просто так?

Она удивленно уставилась на него.

— Ведь я тебе не нравлюсь? Тогда зачем это делать?

— Нрависься,— сказала девушка.— Очень нрависься.

— Да?

— А иначе я бы не стала.

Она сбросила платье и упала на кровать. Саша раздевался.

— Супружеское ложе,— сказала девушка.— Я в жизни не лежала на такой кроватке.

ти. Здорово, черт!

Вадим целовался.

— Я тоже хочу большой любви — капризно сказала его девушка, отодвигаясь. — Немедленно говори мне о любви!

— Ладно, хватит, — помрачнел Вадим.

— Я хочу за тебя замуж! Я тебя люблю.

— Помолчи! — Вадим встал с дивана.

Девушка рассмеялась. Она протянула к нему руки.

— Я пошутила, больше не буду... Вот куда, пошутить нельзя.

Саша и Лариса лежали в разных концах кровати. Смотрели в потолок.

— Никогда не думала, что со мной такое случится, — сказала она.

— Извини, — сказал Саша.

— Не стоит.

Он встал, начал одеваться.

— Ты мне так понравился... — девушка сбросила одеяло, голая вытянулась на кровати. И сочувственно добавила: — Ты сходи к врачу, не запускай.

— Понятно, — Саша одевался быстро, как только мог.

— Подожди. — Она села на кровати.

Саша остановился.

— Ты не расстраивайся, ладно? Не расстраивайся.

— Да.

Саша вышел.

Он прошел через комнату, где увидел голого Вадима и девушку, и вышел за дверь.

Напротив Машиного подъезда была телефонная будка. Стоя в будке, Саша смотрел на ее окна и набирал номер. Трубку сняла Ревекка Самойловна. Саша молчал.

— Опять эти звонки, — сказала старуха. — Теперь молчат.

— Мама, выдерни шнур, — послышался голос Ирины Евгеньевны. — Я говорю, выдерни.

— Я сама знаю, — сказала Ревекка Самойловна и отключила телефон.

Он укрылся на даче. Жил в доме под открытым небом. Ночью становилось холодно, и тогда Саша в металлическом корыте раскладывал костер. Засыпал он рано, не дождавшись темноты. Спал на полу, завернувшись в старые ватные одеяла. Просыпался еще в темноте и уже не мог заснуть. На рассвете завтракал, раскладывая на газете хлеб и сваренную с вечера картошку. На крыльце пил заваренный до черноты чай.

Позавтракав, он взбирался вверх по стене дома, веревкой поднимал с земли доски и делал крышу. Иногда доски падали, и приходилось повторять все заново. Так проходило время почти до вечера...

Саша. Это все равно, что умерла. Села в самолет и умерла. И нет ее.

Вадим. Да почему умерла? Будет себе жить, там тоже жить можно.

Саша. Нет, ты не понимаешь.

Вадим. Что я не понимаю, что я не понимаю?!

Саша. Она навсегда уезжает!

Вадим. Ну и что теперь делать? Между нами, я иногда думаю, в какой Израиль мне свою отправить?..

Вечером он шел купаться. Майская вода была холодная, темная, застывшая. Потом спал...

Однажды во время работы он увидел Машу. С сумкой в руках она шла по шоссе, оглядывая садовые участки. У дома с недостроенной крышей она остановилась. Сверху Саша следил за ней.

Она прошла через калитку, заглянула в дом. Никого. Прошла вонючий. Саша наблюдал за ней.

Маша поставила на пол сумку и принялась разгружать ее, вынимая пакеты, бутылки кефира и еще что-то.

Посмотрела вверх. Он отпрянул, и сразу стали слышны шаги по крыше, застучал молоток. Саша работал.

Она вымела из дома грязь. Постелила разбросанные одеяла. В угол сложила гору инструментов.

До вечера они не сказали друг другу ни слова. Саша спустился в дом, когда крыша была готова.

Молча, сидя напротив друг друга, ужинали.

В сумерках шли к пруду. Раздевшись до трусов, Саша бросился в воду и поплыл. Краем глаза он видел, что Маша раздевается в стороне. Вскоре она догнала его и поплыла рядом. У противоположного берега остановились. Они стояли по грудь в воде, и только сейчас Саша заметил, что она без купальника. Она обняла его за шею и поцеловала...

...Голые, они лежали на прибрежной траве. Она положила голову ему на плечо, и он, прижимая ее к себе, смотрел в небо, обалдевший от счастья. И вдруг рассмеялся на весь лес смехом, понятным только ему.

На полу стояла керосиновая лампа, мотылек кружился вокруг нее.

Завернутые в одеяла, они сидели рядом, соприкасаясь плечами. Маша рассказывала:

— ...Отец пахал на него, тянул проект, а начальник этот, который ничего в проекте не смыслил, вначале ездил по заграницам, а потом получил госпремию. То есть не он

один, там целая группа, отец еще долго был в списке представленных, а потом его выкинули. Он был так потрясен, убит... Вот тогда он решил, что уедет. Раньше у нас и разговоров об этом не было. Он нас с матерью долго уговаривал, мы всё сомневались. И вдруг однажды проснулись и решили ехать. Мне было тогда пятнадцать лет. Я помню, была зима, я вышла на улицу. Был серый угрюмый день, и вдруг я увидела: идет серая угрюмая толпа в сером угрюмом городе... В школе был какой-то очередной смотр строя для чего-то там, и надо было маршировать с песней, и я поняла, что меня тошнит от всего этого... И эта училка, такая, знаешь, с узенькими глазками, которая вечно ко мне придиралась. Понимаешь, именно ко мне... — Она замолчала, глядя на огонь. — У бабушки сестра в Израиле, она прислала вызов. Я тогда пошла в школу и все им сказала. Мне казалось, что все, я уже не здесь. Ты бы слышал, что они говорили на этом собрании! Некоторые перестали со мной здороваться... В общем, я ушла из девятого класса. Видишь, я даже школу не закончила! — Маша рассмеялась. — Потом начался развал. Маму попросили с работы — за пятнадцать минут выгнали. Но не в этом дело. Главное, что мы получили отказ, ты понимаешь? «Ваш выезд считается нецелесообразным...» Мама ходила в ОВИР, они ей ничего не хотели объяснять, а потом выяснилось, что папочка когда-то в институте, двадцать лет назад, имел какой-то допуск...

— Тогда все ясно, — сказал Саша. — У него секретность.

— Какая секретность? Там срок пять лет. Это повод, обычный повод. А дальше началось самое интересное. Папу на работе вызвал тот самый начальник и объяснил, что если он заберет заявление и покается, его простят и оставят на прежнем месте. Всего-то: побить себя в грудь, попросить прощения у коллектива, и так и быть — ему разрешат и дальше пахать на этого дебила только потому, что он русский и партийный... — Она замолчала.

— Чушь. Этого не может быть, — сказал Саша.

— Но это было!

— Хорошо, допустим. И что твой отец?

— И он... Забрал заявление.

— А вы?

— А мы подали заново. Моей бабушке не в чем здесь каяться. И маме не в чем каяться. Пусть они сами каются. Ну ладно. И так ясно. Когда папаша бил себя в грудь, мы уже два года были в отказе. И тогда у мамы начался этот психоз с почтовым ящиком. Она проверяла его восемь раз в день. И я тоже — будто сходила с ума...

— А отец?

— Мы его выгнали.

— Как?

— Выгнали из дому. Да он и сам хотел уйти, стыдно было. Он хороший, добрый человек, но понимаешь... У него всю жизнь полные штаны. Знаешь, когда человек ощущает себя таким маленьким-маленьким, которому положено только работать и не высываться... Машенька, потише, не лезь с высказываниями... Он у своей матери живет, и ему хорошо. Ему хорошо. А я — ненавижу! Все это — ненавижу!..

— А кто это звонит вам по телефону? — спросил Саша. — Что за звонки?

Она обняла его, целовала лицо, руки:

— Сашенька, я раньше должна была... Все сказать. Я просто не думала, что так будет, я не думала, что я тебя так сильно люблю. Слышишь? Я тебя очень, очень люблю.

Он молчал.

— Сашенька, милый мой, ну что мне делать, что, что, что?!

— Не уезжай, — сказал он.

— Но я не могу! — Она плакала. — Ведь столько лет...

— Потому что серая толпа? В таком случае — я из этой серой толпы, и мои родители из нее, и мой друг Вадим — тоже серая толпа.

Маша молчала.

— Ведь есть же порядочные люди, не все же такие! — закричал он.

— Однажды такой порядочный человек говорит: жидовка, — медленно проговорила Маша. — Ведь ты тогда мог сказать: сволочь, дрянь. Как угодно, но не это. Не это.

Саша повернул ее к себе:

— Я клянусь тебе, что никогда больше не произнесу этого слова. Слышишь?

— Да.

— Не уезжай.

Начинался рассвет. Маша накинула одеяло, вышла на крыльцо.

— Когда мы были в отказе, — негромко заговорила она, — все было так просто. Нас не пускают, мы ждем. Мы привыкли ждать, и постепенно это стало нормальным состоянием жизни. Живем и ждем. Смотрим в почтовый ящик. А теперь надо сесть в самолет и — всё. Мы молчим об этом, но я вижу, что мама и бабушка... Бабушка ходит в синагогу нас с мамой сватать... — Маша улыбнулась.

— Вот это я не понимаю, зачем?!

— Ее не переделаешь. Там — ее жизнь, все эти старухи с фотографиями... Смешно. Мне кажется, если бы Михал Михалыч на маме женился, она бы не поехала. Но он не женится.

— Почему?

— У него жена и маленькие дети. Да теперь и не надо. Послушай... — она вернулась в дом, склонилась над ним, — если подумать, что во мне еврейского? Кожа? Лицо? Я ро-



Папа — Лев Дуров, мама — Раиса Рязанова

дилась здесь, говорю на этом языке, читаю эти книги... Но мне напомнили, кто я, и теперь я знаю и хочу жить среди своих. Среди своих.

— Кто? Кто тебе напомнил? Я хочу знать конкретно: кто?

— И ты в том числе.

Саша схватил раскаленную керосиновую лампу и кинул ее об стену. Лампа разлетелась вдребезги.

Он подошел к двери и замер, глядя на лес. Было утро.

На сцене играл джаз-оркестр. Тридцать пожилых мужчин в белых пиджаках и бабочках.

Звучал блюз. Музыканты по очереди поднимались, солируя.

Михал Михалыч играл на саксофоне. Закрыв глаза, он выводил печальные трели. Под аплодисменты сел на свое место и вытер платочком со лба пот.

Со второго ряда на него смотрел Саша. Рядом с ним сидели Ирина Евгеньевна, Маша

и Ревекка Самойловна.

Вновь солировал Михал Михалыч. Лицо его налилось кровью. Глаза вылезли из орбит. Звучала очень высокая нота. Казалось, ее нельзя больше держать, сейчас музыка оборвется...

Саша встал со своего места и пошел прочь из зала.

Маша нашла его в холле, у гардероба.

— Кто вам звонит? — спросил он.

— Сашенька, о чем ты?

— Я спрашиваю, кто вам звонит по телефону, когда твоя мама начинает биться в истерику?

— Моя мама по любому поводу готова биться в истерику.— Маша улыбнулась, попыталась его обнять...

— Кто вам звонит?! — Он отстранился.— Ты ответишь или нет? Кто вам звонит?! — закричал он.

Зазвонил телефон. Саша вздрогнул и обернулся.

Ревекка Самойловна сняла трубку.

— Сенечка, мы собираемся, позвони завтра! Хорошо...— Она продолжила:— Так вот, я говорю Рае, что привезти? Она говорит: пемзу и много тройчатки. Как вам нравится, у них что, пемзы нет?

Кухня была неузнаваема. Кроме стола остались только газовая плита и раковина. Вокруг были ящики, коробки, узлы. Саша укладывал посуду в картонные коробки, тщательно завязывал шпагатом.

Из комнаты Ирины Евгеньевны слышалось странное жужжание. Время от времени там будто кто-то стонал, и жужжание продолжалось.

— Мы Достоевского берем с собой? — кричала из комнаты Маша.

— Конечно! — слышался голос Ирины Евгеньевны.

— Все семнадцать томов?

— Да!

— Рая говорит, мне будут платить пенсию,— сказала Ревекка Самойловна,— за что? Я всю жизнь отдала советской власти.

— Эй, помогите мне!..— Маша втаскивала на кухню огромную кипу папок.

Верхняя соскользнула, и папки рухнули с грохотом на пол. Это были Машины детские рисунки. Цветы в вазах... Принцессы... Балерины...

— Я и забыла, что они есть...— Маша опустилась на пол, разбирая листы.

На кухню вошли Ирина Евгеньевна и Михал Михалыч. Михал Михалыч двигал челюстью и кривился.

— Мамочка, давай возьмем? — сказала Маша, роясь в рисунках.

— Дорогая, имей совесть. Вначале мама

со своей посудой, теперь ты...— Ирина Евгеньевна недовольно поморщилась.

— Но они мне очень нужны! — взмолилась Маша.

— Ты что, не видишь, я отказываюсь от таких дорогих вещей...— в голосе Ирины Евгеньевны появились плаксивые нотки.— Я даже не беру свою вязальную машину, это нужная вещь, неизвестно, может, мы еще пожалеем об этом.

— А кто платить за багаж будет? Ты? Сдурели совсем, за все хватаются...

— Я возьму это с собой,— твердо сказала Маша, прижимая к груди рисунки.

— А я возьму набор кастрюль! — неожиданно взвизгнула Ревекка Самойловна, почувствовав слабость дочери.— И не смей мне приказывать. Рая сказала, что кастрюли там очень дорогие.

Ирина Евгеньевна удивленно посмотрела на мать и дочь. Махнула рукой.

— Берите, что хотите. А говорили: с тремя чемоданами...

Маша поспешила поцеловать Ирину Евгеньевну.

— Теперь такой вопрос, я, собственно, за этим и пришла...— Ирина Евгеньевна пыталась взять деловой тон.— У кого что с зубами? Дырочки есть?

Молчание. Кривая улыбка Михал Михалыча.

— Неужели все в порядке? Я разбираю инструменты. Саша? Я же вас, кажется, не смотрела?

— Нет, я боюсь,— сказал Саша.

— Саша, не надо! — сказал Михал Михалыч.

— Ты не знаешь, какая у меня рука, пошли, пошли...— Ирина Евгеньевна подтолкнула его к комнате.

— Я бы не рисковала,— сказала Маша.

— Все занимаются своими делами! — скомандовала Ирина Евгеньевна и повела Сашу в свой кабинет.

Посередине полупустой комнаты стояли зубоврачебное кресло и столик с инструментами.

— Вообще-то у меня с зубами все в порядке,— сказал Саша, усаживаясь на холодное дерматиновое сидение.

— Это мы посмотрим. Откроем ротик... Что у нас там? — сказала Ирина Евгеньевна профессиональным тоном, трогая Сашины зубы металлическим крючком. Со всем близко он видел ее красивое, рано постаревшее лицо.

— Дырочка есть,— сказала она.— Сейчас мы ее закроем.

— Может, не стоит? — сказал Саша.

— Знаете, возможно, это последняя пломба в моей жизни,— сказала Ирина Евгеньевна.— Сделайте мне это удовольствие.

— Я готов,— сказал Саша.

— Спасибо.

Ирина Евгеньевна засмеялась и взялась за бур.

— Ты еще жив? — в дверь заглянула Маша.

— Жив, жив, закрой дверь... — отмахнулась мать.

Маша подмигнула и исчезла.

— Саша, я хотела сказать вам одну вещь, это, конечно, слабое утешение... — работая буром, говорила Ирина Евгеньевна. — Вы все время такой подавленный... — Она выключила машину. — Поверьте моему опыту, не все в жизни состоит из любви.

Саша с открытым ртом смотрел на нее. Она продолжила сверлить зуб.

— Будут другие женщины. Вы будете вспоминать Машу как первую романтическую любовь, которой не суждено было превратиться в реальность... Вы никогда не узнаете с Машей пеленок, быта, скандалов. Все это будет с другой женщиной. И было бы с Машей, если бы... — Саша вскрикнул от боли. — Не надо так переживать. У вас будет целая жизнь, и у нее будет целая жизнь потом... Подумайте, вы же не будете ее любить вечно?

Ирина Евгеньевна улынулась и погладила его по голове.

— Я буду ее любить вечно, — сказал Саша.

Улыбка застыла на лице Ирины Евгеньевны. Несколько мгновений тянулось молчание.

— Но это не значит, что нам не надо закончить зуб? — сказала она...

— Я не хочу.

Вадим слез с ручки кресла и принялся бродить по комнате.

— Ты можешь понять, что бывают моменты, когда не хочется? — зло сказала Марина. — Ты прямо какой-то маньяк. Ты можешь один раз просто со мной поговорить?

— Пожалуйста. — Вадим уселся в антикварное кресло напротив нее. — О чем поговорим?

— А сам ты не можешь придумать, о чем говорить со своей женой?

Вадим задумался.

— Что-то ничего в голову не идет.

— Мне уже неудобно перед бабушкой. Она боится зайти в нашу комнату.

— Ну и что? В конце концов мы муж и жена. Я не имею ничего против, чтобы она не заходила в нашу комнату. У нее есть своя.

— Ты пока что живешь в ее доме, — сказала Марина.

— Ну, я так и знал. — Вадим встал. —

Я пойду.

— Нет. Давай уж поговорим.

— Очень интересно. — Вадим уселся обратно, уставившись на нее с преувеличенным вниманием. — Я слушаю.

— Что ты думаешь о своем будущем?

— У меня прекрасное будущее.

— Не уверена. Твой станкостроительный — это, конечно, очень хорошо, но чем ты собираешься кормить семью? Мы, конечно, не бедные, и пока мы в институте, нам помогут, но потом?..

— Что потом? — засмеялся Вадим.

— Ты что думаешь, твои сто двадцать...?

— Я ничего не думаю, что ты взелась?!

— Очень плохо, что ты думаешь, — Марина повысила тон. — Иногда надо думать, не только трахаться.

— Я пойду. — Вадим встал.

Марина вскочила, преградив ему дорогу.

— Ты что, совсем идиот, так и сгниешь в каком-нибудь КБ. Ты как хочешь, но меня это не устраивает! Вадик, пойми, ну надо же иметь хоть каплю честолюбия!..

— Иди ты!.. — огрызнулся Вадим.

Она вцепилась в его рубашку и перешла на визг.

— Как тебе не стыдно, взрослый мужик на содержании тестя! Твои папа и мама ни копейки, никогда, будто их не существует!..

— Не трогай мою мать! — Вадимом овладело бешенство. Он швырнул ее на диван, склонился над ней и с искаженным злобой лицом повторял: — Не трогай, не трогай мою мать! Сука, не трогай мою мать!..

— Ты сволочь, и родители твои сволочи! — закричала ему в лицо Марина.

Он несколько раз ударил ее по лицу. Марина закрывалась руками, кричала:

— Подонки, мразь, подонки! Семья подонков!

Зазвонил телефон. Вадим дрожащей рукой схватил трубку.

— Да, я... — задыхаясь, проговорил он. — Саша, да, я тебе перезвоню... Я перезвоню... Да, ты позвони!.. Потом...

Он бросил трубку и повернулся к Марине. Она плакала, съжившись на диване.

В дверях стояла бабушка.

— Молодой человек, выйдите вон, — сказала старуха и указала на дверь.

Был теплый майский вечер. Они бродили по городу.

— Что сказал Вадим?

— Потом позвонит. Что-то у него там...

Сидели на лавочке в темном сквере. Молча смотрели на проходивших мимо людей. Загорались фонари. Красными пятнами мелькали автомобили.



Саша сказал:

— Пойдем?

— Куда?

— Не знаю. Пойдем ко мне. Чаю попьем. Ты же не была, у меня хорошие родители.

— Я не сомневаюсь,— сказала Маша.

— Только ты им не говори ничего. Не поймут.

Пили наливку. Через трубочку наливку откачивали из тридцатилитровой бутылки, установленной на полу, и уже из кувшина разливали по чашкам. Отец Саши сидел в одной майке, положив руки на кухонный стол, покрытый клеенкой. Мать, в ситцевом халатике, смеялась, и вино чуть-чуть выплеснулось из ее чашки.

Отец говорил тост:

— ...И я думаю, жить вы будете хорошо. Все женятся, ругаются, а зачем?..

— Зачем женятся? — удивилась мать.

— Тыфу, черт, зачем ругаются, я говорю!.. Да что вы смеетесь, уж и оговориться нельзя...— Но отец и сам смеялся, и вино в его чашке ходило ходуном.— Я же вижу, какая хорошая девочка. Губа не дура, Сашка... Я красивых женщин за кило-

метр вижу...

— Ах ты!..— мать, улыбаясь, показала ему кулак.— Нет, мы не выпьем! Маша, девочка, имейте в виду, он если уж заговорит, то потом...

— Что заговорит? У меня, собственно, все.— Отец оглядел стол.— Будьте счастливы...— Он задумался.

— Вы ведь такие хорошие, молодые...— встала мать.

— Рожайте детей...— продолжил отец, не слыша ее.— Насчет детей не бойтесь, двоих как минимум. Я, например, до сих пор не могу простить, что у меня только один...

— Отец,— Саша поднял чашку,— мы все поняли. Спасибо. Давайте выпьем наконец...

— Да, давайте!..— подхватила Маша.

В тишине пили вино. На экране маленького телевизора появился портрет немолодого человека в траурной рамке.

— Кто умер? — поинтересовалась мать.— Сделайте звук.

Включили звук. Говорил диктор:

«...На ответственных постах, которые доверяла ему партия и правительство, Иван Николаевич Сидоров проявил себя как...»

— Кто такой Сидоров? — сощурился отец.

— А кто его знает...— сказал Саша.

— Ну и выключи... Давайте выпьем... И вновь откачивали вино из бутылки.

Говорил Саша:

— ...Летом можно будет пожить на даче, а осенью переберемся к нам. На время... — Почему же на время?.. — удивился отец.

— На время, отец! — с упорством говорил Саша. — Будем жить отдельно, так лучше. Вначале снимем, а потом как-нибудь с квартирой... или комната... вначале.

— Нет, я не согласен! — Хмельной отец уставился на сына. — Я не хочу с вами расставаться!

— Но нельзя же вечно... — говорил Саша.

— Не согласен!.. — не слушая его, повторял отец.

— Но если дети, вы представляете этот сумасшедший дом? — рассудила Маша. — В двух-то комнатах? Есть еще квартира у моей мамы, я уже думала, если удачно разменять, а она очень приличная, может достаться однокомнатная нам... — Маша загибала пальцы: — Маме с бабушкой двухкомнатная в приличном месте. Только ни в коем случае нельзя самим этим заниматься, тут нужен маклер...

— Я и без маклера обменяю! — слишком громко заявил Саша. — Они только деньги берут и ничего не делают...

— Не согласен! — выпив рюмку наливки, заявил отец.

— А ну посмотри на меня! — повернула его к себе мать. — Боже мой, да он совсем пьяный! Нет, ты не прячь глаза, посмотри-ка...

И все вдруг увидели, что, действительно, отец пьян. Да и сами они сидели раскрасневшиеся, с блестящими глазами, говорили слишком громко и возбужденно.

— Ну и что? — сказал отец. — Не каждый день сын женится. Сашка, есть там еще?...

...Отец спал, откинувшись на стуле.

Говорила Маша. Язык ее заплетался. Слезы наворачивались на глаза.

— ...Вы — такие люди, понимаете?.. Вот я сижу, как будто всю жизнь с вами знакома... Нет, я знаю, так принято обычно говорить, а я — искренне, честное слово, я это чувствую... Давайте за вас выпьем, так мало хороших людей, вы даже не знаете, какие вы!.. Я вас так люблю... Нелли Павловна, можно я вас поцелую?..

— Девочка моя!.. — сказала мама. — Давай я тебя обниму!

Маша неожиданно разрыдалась на груди у Сашиной мамы. Мать тоже заплакала.

— Что это вы? Что вдруг такое? — говорил Саша, пьяно уставившись на них. И вдруг икнул.

— Боже мой, и этот напился! — сквозь

слезы сказала мать.

— Ну и что, ну и напился! — сказал Саша. Он поднялся, пошел из кухни. Остановился. Приложил палец к губам: — Маша, слушай, скажу по секрету... Мама, ты тоже слушай... — улыбаясь, выдержал паузу. — Мама, я Машу очень люблю!

Зазвонил телефон.

— Это меня, — Саша взял трубку.

Молчание.

— Это ты, старуха? — спросили на другом конце провода. Говорил мужчина, по голосу молодой. Саша молчал. Он растерянно посмотрел на Машу, которая вязала, сидя в кресле.

— Что, старуха, соскучилась? — сказал мужчина.

— Это кто? — сказал Саша.

На другом конце провода замолчали и, решив, что попали не туда, положили трубку.

— Кто-то хамит, — сказал Саша.

Маша бросила вязание, быстро подошла к нему.

— Выдерни из розетки, — сказала она.

— Зачем?

— Не надо, с ним бесполезно разговаривать.

— С кем с ним?

Звонок. Саша сорвал трубку. Услышал шепот:

— Сдохнете, сдохнете все, все сдохнете...

— Кто это? — сказал Саша. — Что за бред? Я сейчас пойду и засеку ваш телефон.

— Испоганили страну... — зловеще шептал человек в трубке. — От вас воняет, жидовская вонь...

Саша поднял глаза. Все, кто был в доме, окружили его. Ревекка Самойловна, Маша, Михал Михалыч и Ирина Евгеньевна.

Ирина Евгеньевна нажала на рычаг:

— Саша, это звонит какой-то больной человек. Это уже давно, мы привыкли. Выключите телефон.

Саша долго смотрел на них и вдруг закричал:

— Выйдите отсюда! Все выйдите, ну что вы смотрите на меня? Идите!

Неожиданно они подчинились. Он задержал только Машу.

— Стой здесь.

Он уселся в кресло, на колени поставил телефон и впился в него глазами.

Звонок.

— Ты думал, я тебя оставлю в покое? — сказал мужчина. — Сегодня мы придем. Пусть девочка раздвинет ножки.

— Ты подонок, подонок, понял?! — закричал в ярости Саша. — Сука, я тебя найду, сука!!!

Он прикрыл ладонью трубку и показал Маше на дверь:

— Иди к соседям, позвони на станцию, я буду с ним говорить...

— Я не знаю номер...

— Узнай!

Маша выбежала за дверь.

— Ну, что же ты не приезжаешь? — говорил Саша в трубку. — Ты ведь трус, трус, жалкое ничтожество, которое только по телефону может пугать... Ну, давай, приходи, я тебя жду, мы все тебя ждем. Что, пересрал, подонок? Где же ты?! — Саша истерически захохотал.

В трубке замолчали.

— Ну что же ты не идешь?

— Ты кто? — спросил мужчина.

— Я — жид. Самый пархатый жид, и я орал на тебя, понял? — закричал Саша.

— Я хочу разговаривать со старухой, — сказал мужчина.

— Со мной не нравится? Ты хочешь, чтобы тебя боялись, а я тебя не боюсь, тварь ты такая!

В комнату вбежала Маша, кивнула утвердительно.

— И знаешь, что я тебе еще скажу? — Саша смеялся. — Мы поймали тебя, мы засекли твой номер, подонок, теперь все, ты обтрусился, теперь я тебя повешу за яйца! Ты обтрусился, гад!

— Я звоню из автомата, — сказал голос. — Ты засек автомат, дурак.

И засмеялся.

Михал Михалыч уходил. Он неловко поцеловал Ирине Евгеньевне руку.

— Ничего не могу, ждут... — бормотал он.

— Иди. — Она закрыла за ним дверь. Обернулась к растерянно стоящей в коридоре Ревекке Самойловне: — Мама, спать. Я говорю, иди спать.

— Боже, как молодой человек ругается... — сказала старуха и пошла в свою комнату...

— ...Ты можешь объяснить, что ты хочешь? — уже другим тоном спрашивал Саша своего собеседника.

— Чтобы вы все сошли.

— Понятно. Очень хорошо. Ты позволил, а теперь все лягут и начнут дохнуть. Тебе не кажется это забавным? — Саша деланно засмеялся.

— Вы будете бояться, — сказал голос. — Вам будет страшно выходить из дома. Вы перестанете спать. А потом мы придем и перережем вам глотки. Или вы уберетесь из нашей страны.

— Они-то уберутся. А я останусь, — сказал Саша.

В трубке замолчали.

— Хочешь, встретимся? — неожиданно предложил мужчина.

— Когда?

— Сейчас.

— Где ты?

— Здесь, — в трубке хмыкнули.

— Где здесь?! — крикнул Саша.

— Подойди к окну.

Распутывая телефонный шнур, Саша пошел к окну. Маша шла за ним по пятам. Во дворе была ночь, ветер.

— Где ты? — Саша вглядывался в темноту, пытаясь что-либо разглядеть.

— Телефонный автомат, — сказал мужчина, — я там.

Автомат был совсем близко, в десятке метров от подъезда. В темноте белела его крыша, но разглядеть человека внутри было невозможно.

— Я сейчас приду, — сказал Саша.

— Я хочу, чтобы ты был один, — сказал мужчина.

— Хорошо.

Мужчина повесил трубку.

— Ты никуда не пойдешь, — сказала Маша.

— Пойду, — сказал он. — И не мешай мне. Я говорю, не трогай меня.

Он вышел в коридор. Здесь была Ирина Евгеньевна. Из комнаты выглядывала старуха.

— Дайте мне ключ, — сказал Саша. — Дверь закройте. Не открывайте никому.

Он прошел на кухню. Взял нож для хлеба с деревянной ручкой. Лезвие было тонким, с пятнами стертой ржавчины. Саша положил нож на место. Взял точильный камень и сунул его за пазуху.

В коридоре старуха дала ему связку ключей. Маша плакала.

Он вышел на лестничную площадку. Вызвал лифт. Загорелась красная лампочка.

Из двери квартиры на него смотрели три женщины.

— Никому не открывайте, — сказал он. — И закройте дверь!

Пришел лифт. Саша взялся за ручку, но раздумал и пошел по лестнице. Громко раздавались его шаги. Он спускался все ниже и ниже, пока не оказался рядом с почтовыми ящиками на стенах. Лампочка не горела. Саша на ощупь добрался до двери, мгновение постоял, с силой распахнул ее и вышел на улицу.

Впереди, в нескольких шагах, видна была телефонная будка...

Три женщины смотрели на него из окна...

Медленными шагами он приближался к телефонной будке. Он достал из-за пазухи точильный камень и сжал его в руке. В трех метрах он остановился. В будке было темно.

— Я здесь, — сказал Саша.



Тишина.

Света не было. Саша сделал еще шаг. Еще. Взялся за ручку и распахнул дверь будки. Здесь никого не было.

— Где ты?! — закричал он в темноту.

Тишина. Саша бросил камень и побежал к подъезду. Он хотел вызвать лифт, но кнопочка горела, и Саша, перепрыгивая через две ступеньки, побежал наверх. Он звонил в дверь, пока не сообразил, что есть ключи. Их было несколько, и Саша дрожащими руками пробовал один за другим.

Дверь открылась. Три женщины, бледные, как полотно, смотрели на него. В руках у Ревекки Самойловны была табуретка.

— Там... никого нет... — задыхаясь, сказал Саша. — Он обманул.

Ревекка Самойловна поставила табурет на пол. Села на него. Опустила руки на колени.

— Слава богу, — сказала она, — веиз мир...

Маша бросилась ему на шею и замерла.

— Я всегда говорила, эти люди хотят нас напугать! — Ирина Евгеньевна резко развернулась и пошла на кухню. — Я поставлю чайник. И не смейте больше брать телефонную трубку!

Зазвонил телефон.

Маша выдернула шнур из розетки.

— Дети, мне надоело, — сказала Ревекка Самойловна. — Пусть звонят, приходят... я старая женщина и хочу спать. — Старуха поднялась со стула. — Всем спокойной ночи. Поздно не сидите...

Ревекка Самойловна кокетливо помахала всем рукой и ушла в свою комнату.

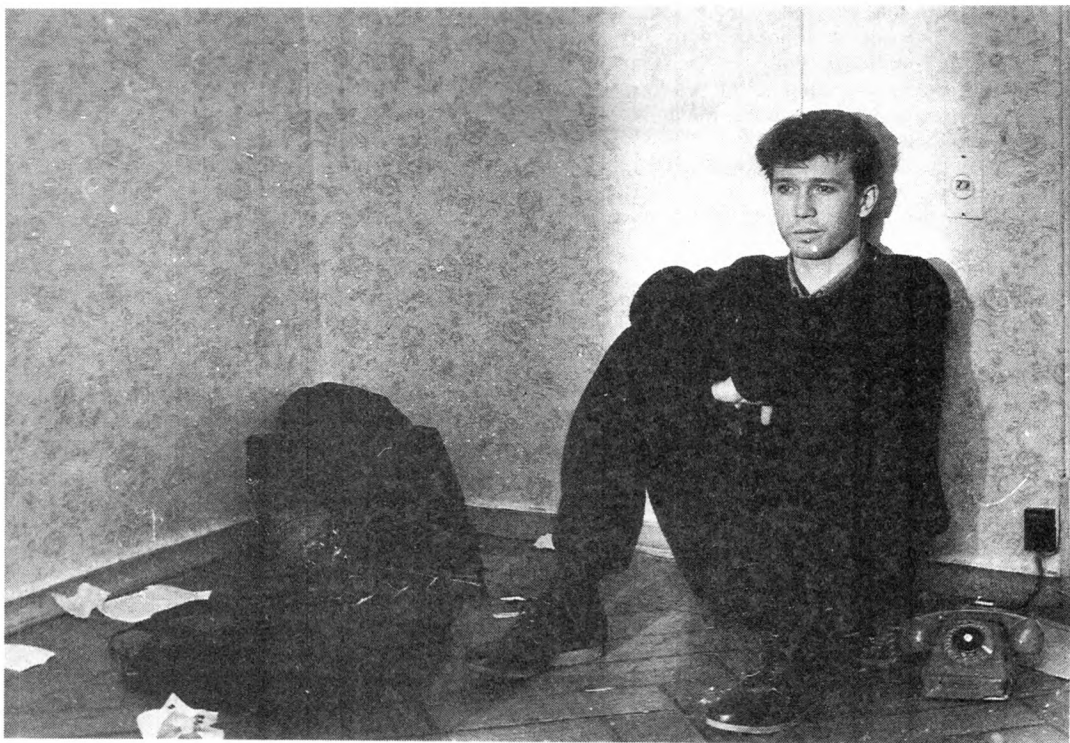
Ночью втроем пили чай на кухне.

— Эй, лав стори, очнитесь! — сказала Ирина Евгеньевна. — Как пломба? Пока я жива, она будет стоять. А если выпадет, знайте, Саша, со мной что-то случилось. — Она заметила, что ее не слышат. — Эй, я тоже здесь, хоть и мешаю вечной любви.

Саша и Маша находились где-то далеко. Они смотрели на Ирину Евгеньевну и улыбались.

— Маш... — Ирина Евгеньевна засмеялась. — Может быть, тебе не стоит с нами уезжать? Подожди, не перебивай. Ну будут у тебя заграничная мама и бабка и... Будет, кому шмотки присылать. Буду слать вам посылки. Маша, что ты молчишь? Почему ты молчишь, Маша?

Голос у Ирины Евгеньевны сорвался.



— Вы... это серьезно? — сказал Саша.
— Мне бы не хотелось быть разрушителем вечной любви. А вдруг она на самом деле вечная? Маша мне этого не простит. Маша, я тебя не слышу! Что ты молчишь? В дверь позвонили.

Они все, как по команде, посмотрели на часы. Было три часа ночи. В дверь позвонили еще раз.

— Я открою, — сказал Саша.

— Не надо, — Ирина Евгеньевна взяла его за руку.

Он встал и вышел в коридор. Подошел к двери, прислушался. Кто-то топтался на лестнице. Саша открыл замок и распахнул дверь.

Перед ним стоял Вадим.

— У вас то занято, то трубку никто не берет, — сказал Вадим. — Я тебя искал. Я не вовремя, наверное... Меня из дома выгнали...

Вадим неловко поглядывал по сторонам.

— Вадик... — Саша вдруг обнял его, встряхнул. — Ты молодец...

Растерянный Вадим улыбался, не понимая столь бурной радости.

— Ну раздевайся же... Что ты стоишь?

Вадим снимал плащ, когда в глубине квартиры раздался крик:

— Бабушка! Бабушка! Бабушка!

На столе, покрытом белой крахмальной скатертью, стояла керамическая урна. На урне было написано: **ВОЛЬКЕН-ШТЕЙН Р. С. 1915—1988 гг.**

Молча вокруг стола стояли люди. Окна были распахнуты настежь, и душная московская жара волнами наплывала с улицы.

— Я возьму ее в ручную кладь, — сказала Ирина Евгеньевна. — Говорят, они бьются, только надо запаковать хорошенько. Рая так плакала, когда узнала.

Все сразу разбрелись по квартире, негромко переговариваясь:

— Боже, какой дом, жалко оставлять...

— Я вас уверяю, уже кто-нибудь нацелился!

— Да, такое добро долго не стоит...

Люди подходили к Ирине Евгеньевне, целовали ее в щеку, шептали что-то и протягивали свертки и пакеты. Ирина Евгеньевна в который раз раздраженно говорила:

— Я же просила, никаких передач, мы задыхаемся от этих вещей!.. — Но пакеты брала.

Маша попросила его:

— Запакуй, пожалуйста. Не так же везти...

Она стояла у окна, заполненного солнцем, откуда был виден зоопарк и лебеди на темных застывших прудах.

Саша вынул из кучи картонную короб-

ку, поставил на стол и осторожно, двумя руками, положил в коробку урну. Пучком соломы он обложил урну со всех сторон. Коробку тщательно завязал шпагатом.

Из комнаты послышалось рыдание Ирины Евгеньевны.

— Только бы они не захотели на таможне вскрыть... это.

— Ну что ты? — Саша поморщился. — Зачем?

— Они все могут.

— Маща!

— Могут.

Он опустил на табурет. Она села напротив. Они молчали. Между ними стояла коробка.

— Тебе не стоит ехать в аэропорт, — сказала Маша. — Это очень рано.

— Я приеду.

— Не надо, я не люблю, все равно бесполезно.

— Я приеду.

Они замолчали.

В комнату заглянул кто-то и вышел.

— Видишь, что тут... Иди. Мне кажется, они никогда не уйдут. Неужели так трудно понять, что людей надо оставить одних? Я их раньше не видела, а тут вдруг столько родственников... А вот этот сейчас заглядывал, обратил внимание?.. Нет? Это мой отец. Неважно... Иди, пожалуйста, иди.

Саша поднялся.

Положил руку на ее волосы...

— Все. Ну, иди. Нет, подожди... Сейчас...

Маша ушла в комнату. Вскресте оттуда послышался крик Ирины Евгеньевны:

— Ах, ты, дрянь, дрянь!.. Еще на столе урна стоит, а ты... дрянь!.. — и плач...

И опять — слезы — идите, уже пора!

Они поднимаются по трапу. Они смотрят назад. Они подолгу не решаются войти в салон. Машут кому-то. Помогают старикам. Поднимают на руки детей.

Трап отъезжает.

С ревом разворачивается на бетонной полосе самолет. Плывут над землей крылья. Стелется прибитая трава.

Летит над землей самолет. Последний взгляд вниз: в несколько мгновений земля становится будто игрушечной. Пока не исчезнет за облаками.

Саша остановился у квартиры, достал связку ключей и открыл дверь. Вошел в прихожую. В руках у него — хозяйственная сумка.

Квартира была пуста. На кухне, на полу лежала забытая гитара. Саша провел пальцами по струнам. В тишине гитара звучала резко и неприятно. Саша взял ее в комнату.

В комнате он распахнул окно.

Из хозяйственной сумки достал телефонный аппарат. Отыскал розетку и включил его. Поставил телефон на пол, а сам сел рядом, облокотившись о стену. Взял в руки гитару. Но струны не трогал.

Из окна доносились далекая музыка, гудки автомобилей, детский смех.

Саша ждал, сидя на полу, привалившись к голой стене с отпечатками некогда стоявшей здесь мебели на поблекших обоях...

1989 г.

АНОНС

В следующем номере журнала мы начинаем публикацию киноромана НИКИТЫ МИХАЛКОВА и РУСТАМА ИБРАГИМБЕКОВА «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».

Вдвоем они были на даче. Они любили друг друга жадно, иступленно, задыхаясь в духоте летней ночи. Они кричали от страсти и боли, не думая ни о чем и не сдерживаясь. Считая минуты, они не разжимали объятий, и любовь их росла и росла, заслоняя весь остальной мир.

Самолет стоял, готовый принять пассажиров.

Прощания, слезы! Взгляд назад, за стеклянную перегородку. Молодые и старые, их родственники, дети. Кто-то не решается пройти. Молодой человек возбужденно говорит что-то старикам — своим родителям, они все не отпускают, цепляются за рукава.

Мальчик в школьной форме и провожающие его школьники, молчаливые и сосредоточенные.

Этот номер журнала и фильм «Любовь» вышли к зрителю-читателю одновременно. Они получились довольно различными, хотя создал их один человек — Валерий Тодоровский. Фильм, на наш взгляд, обещает стать кинематографическим событием года. Мы попросили нашего корреспондента Марину Сергиенко побеседовать со сценаристом и режиссером Валерием Тодоровским.



— Валерий, не могли бы Вы рассказать о том, как создавался фильм, ведь сценарий, насколько я знаю, был написан давно?

— История такая. Сценарий я написал два года назад и решил сам снимать. Ходил во многие объединения, студии. Сценарий всем нравился, но мне говорили: «Сними какую-нибудь короткометражку, и тогда мы посмотрим». Вот так сценарий и залег на время. Я пошел в объединение «Дебют» и запустился с короткометражкой «Катафалк», которая выросла в полный метр. И вот она явилась как бы таким полигоном. После него я тут же начал снимать эту картину. Прошел еще один год — и картина готова.

— Вы довольны фильмом?

— Я думаю, что невозможно быть довольным. Конечно, все получилось не так, как я вначале придумал. Буквально все. Но то, что я сделал, достаточно отражает то, что я из себя представляю сейчас. То есть то, что было в моих силах, я сделал. И так как я с большими страданиями все это делал, я его люблю какой он есть. Я знаю все проколы, все слабости картины лучше, чем кто-либо другой.

— Раздвоения личности не происходит? Ведь если бы снимал кто-то другой по вашему сценарию, Вам было бы обидно, что не все совпадает...

— Я считаю, что надо снимать по чужим сценариям. Сценарист нужен. Хотя бы для того, чтобы в истерике звонить ему в два часа ночи и кричать, что вот эту сцену мне завтра снимать, а сцена ужасная, отвратительная — сядь и перепиши. Чтобы был человек, на которого ты мог бы свои собственные слабости сваливать в виде претензий. Этого человека у меня не было, и я страдал. В будущем я надеюсь работать с соавторами или брать чужие сценарии. Первый свой фильм —

«Катафалк» — я снимал по сценарию Маши Шептуновой.

— Вернемся все-таки к сценарию. У Вас не было никаких цензурных препятствий?

— Я его в хорошее время написал. Если бы чуть раньше, он по цензурным соображениям мог бы не пройти. В основном было неприятие еврейской темы в этой истории. Она очень многих раздражала да и сейчас раздражает в том виде, в котором существует в сценарии и в фильме. Потому что хотя, чтобы евреев показывали по принципу: ах, они несчастные! То есть еврейская публика — читатель, зритель — ждет сострадания. Какие, мол, несчастные евреи! Я не считаю нужным кого-то жалеть, в том числе и евреев. Они вполне полноценные люди. Бывают разные. Русские почему-то видели в этой истории определенную натяжку. Как бы сегодня, рядом с нами такого не бывает. Может быть, им просто хочется так думать. Вот этот национальный момент многих шокировал, он и сейчас шокирует. Это не цензура, это скорее феномен восприятия.

— А Вы не боитесь неприятностей с этой темой? Национальные конфликты обостряются...

— Неприятностей личных?

— Да.

— Боюсь.

— А для картины?

— У картины не может быть неприятностей. Потому что самая большая неприятность для картины, если она не идет. А я надеюсь, картина пойдет, все как-то складывается прилично с этим. У меня лично — да, боюсь. Искренне, честно говорю: не хотел бы, потому что мне казалось, что она не должна обидеть никого. И я старался сделать ее таковой, и задумал ее таковой. Но сейчас я столкнулся с людьми, которые слово «еврей», прозвучавшее с экрана, воспринимают как болез-

ненный укол. Неважно, в каком контексте, просто сказанное вслух. Что касается национальной розни, то я думаю, что своим фильмом ее не разжигаю, а, скорее, стараюсь притушить.

— Как вы вообще на эту тему вышли? Связано это с кем-то из близких, друзей?

— Есть такое понятие, как телефонный террор. Я знал старуху, которую звонками довели до инфаркта, и она умерла. Видите, не столько тема, сколько толчок был. Но для меня соединились в этой картине две вещи. С одной стороны, я делал картину про национальное несоответствие людей и про то, как это понятие рушит человеческие отношения, рушит любовь, дружбу, все. Как только возникает мысль: а какая кровь у кого течет — это уже конец. А с другой стороны, я хотел снять фильм про свои молодые годы, про девушек, мальчиков, про их отношения. Такую легкую, иногда веселую, иногда грустную историю. Мне хотелось сделать картину ностальгическую, про то ощущение своей собственной юности, юности своих друзей, своих подруг, которое у меня еще пока сохранилось. Оно, наверное, скоро кончится. Я его забуду. Но пока еще я об этом помню, мне хотелось рассказать историю, которая начнется с ничего, с разговоров о женщинах, о сексе, о каких-то таких вещах и медленно-медленно перерастет в драму.

— Вам не кажется, что у вас это фамильное — снять картину о своей юности, о воспоминаниях юности? «По главной улице с оркестром» — там ведь тоже об этом...

— Когда-то Кончаловский очень хорошо сказал, что он всю жизнь снимал фильмы о других, не о себе. О других! «Ася Клячкина» — это о других, это он не о себе снимал. Все делается на тех, кто снимает о других и кто снимает о себе. Вот я снимал о себе. Желание снять о себе — очень опасное желание, потому что это некая саморазоблачительная вещь. Все посмотрят и скажут: оказывается, ты не очень-то интересный человек. Но соблазн большой, потому что ты купаешься в чем-то очень близком, своем.

— Может быть, здесь и есть разница между режиссерским видением и видением драматурга?

— Не думаю. Скорее это нечто внутреннее. За жизнь режиссер может снять очень разное, и в разные периоды его жизни возникают разные соблазны, разные желания. Они могут исходить даже из каких-то посторонних, вроде бы случайных вещей. Из цвета и света, например. Вдруг возникает желание снять очень цветной фильм, чтобы все было красное, зеленое, желтое — такое яркое. Потому что надоела серость за окном.

— Это признак душевного здоровья...

— Или возрождения, выздоровления. Мы живем в черно-белом времени. А человек вдруг начинает искать цветное время. И сразу — в какой-нибудь шестнадцатый век, где красные бархатные платья. Пресса спрашивает: а почему же все-таки режиссер такой-то снял фильм из шестнадцатого века? Да потому, что ему цветного хотелось. Вот и все. Сейчас Вася Пичул будет снимать «Золотого теленка». Да, Ильфа и Петрова. Но я понимаю его, он говорит: «Надоели маленькие интерьеры, кухни — все, похоже на жизнь». А что такое двадцатые годы? Старинные автомобили, другие костюмы, прически — ретро. Совсем другое, радует глаз! Конечно, это какой-то очень поверхностный

посыл. Потом уже все начинает закручиваться, но все шло отсюда: хотелось ретро.

— А что теперь?

— Теперь я бы хотел снять комедию. Страшную, черную, безжалостную комедию. Настал момент, когда остается только смеяться. Нельзя больше плакать, причитать, нельзя проклинать и грозить. Единственный способ сейчас высказаться — это ирония, юмор, смех. Но не тот юмор, к которому мы привыкли. Нет, это должна быть комедия, где дозволено все, где и умирать могут люди по-настоящему. Но это все должно быть безумно смешно, потому что над всем можно смеяться в конце концов. Вообще на съемках картины я получал самое большое удовольствие на каких-то комедийных кусках. Когда было что-то смешное, я чувствовал, как я оживаю, группа оживает, актеры оживают, все начинают играть с таким удовольствием, что я решил посвятить этому ближайший год своей жизни.

— А время действия пока еще не обозначено?

— Наши дни.

— Но давайте все-таки вернемся к этому сценарию...

— Для публикации я хотел переписать сценарий, подогнать под фильм, но вдруг мне это стало неинтересно! Потому что проехали уже. Все, что сделано, уже неинтересно. Если сценарий когда-то представлял какую-то ценность, то он ее и сейчас представляет. Но прошло время, уже снят фильм, и сценарий переписан. Я проделал колоссальную, мучительную работу, потому что снимал картину, по ночам переписыва сцену за сценой. Я садился ночью, писал, в пять утра заканчивал писать, а в восемь утра я ее уже снимал. Никому не рекомендую такой способ работы, потому что дошел до полного нервного истощения. Но самое смешное, что на съемках я сценарием не пользовался. У меня его не было. У меня его и сейчас, кстати, нет. Свой экземпляр в твердой обложке, режиссерский, я потерял. А хотел его на память оставить. Я понял, что мне, например, трудно делать какие-то вещи по сценарию. Мне хочется тут же все изменить. Поэтому я позволил и артистам нести отсебятину. И более того, у меня есть в картине вторая линия, не главная — вторая, которую мы переделывали непрерывно, так что артисты уже не знали, чем закончатся их отношения и что будет. Но им это нравилось. И мне тоже. Мы позволили себе достаточно много импровизаций. Это я просто говорю о своем методе. О методологии. Так что сценария у меня нет. И если выйдет журнал, мне будет вдвойне приятно.

— Как Вы представляете себе финансирование своего следующего фильма?

— Практически не представляю. Все, что сейчас в нашем кино происходит, — это катастрофа. И мне кажется, что эта кинозифория — по четыреста фильмов в год — кончается. В кино деньги вкладывать не будут. Оно становится дорогим и не окупается. Сегодня найти деньги на фильм еще можно. Я, например, могу найти определенную сумму, но уже через три месяца окажется, что нужно в два-три раза больше, или в пять раз больше, или в десять. Поэтому, конечно, запускаться страшно. Я думаю, что мы в конце концов придем к «малокартинью», которое существует сейчас в Польше, в Чехословакии. Двадцать пять фильмов в год, снятых на западные деньги. Кто нашел деньги — тот и снимает. Кто не нашел —

тот не снимает. Так что у меня ощущение пессимистическое. Но пока еще эта возможность есть, я буду снимать.

— А у Вас есть какие-то «экономические люди», которые Вам помогают?

— У меня есть друг и соратник Игорь Товстун, очень хороший экономист, с которым мы вместе очень много сделали, и надеюсь, что на следующую картину нас хватит. А дальше я не хочу знать. Мне просто страшно, и нет никакого желания заглядывать в будущее.

— Вы собираетесь делать комедию. Как вы представляете ее автора?

— Пока что собираюсь писать сам.

— Вы чудовищно последовательны...

— Я понимаю, что противоречу сам себе. Но я предлагал уже Алене Кринициной написать. Когда еще снимал картину, пришел к ней, рассказал очень приблизительный сюжет, попросил написать. У нее не получилось, не знаю почему. Кто еще может это написать, не знаю...

— А кто продюсер вашего фильма?

— Мы все продюсеры. Я продюсер у себя, у Сергея Ливнева, сейчас я продюсер у Васи Пичула.

— А в чем заключается наше отечественное продюсерство?

— В том же, в чем и на Западе. А именно: находят сценарий, режиссера, под это находят деньги, базу — студию. После этого получается фильм... Но с Васей проще. Деньги у него есть.

— Как? И деньги есть?

— То есть он пришел, имея какую-то сумму. Запустился. Сейчас оказалось, что денег мало, мы находим еще. Этим и занимаемся. Вот я сейчас еду на дачу, он сидит там, ждет меня. Ему очень приятно, что у него есть продюсер и он может кричать: «Мне нужен «Кодак»! Доставайте мне «Кодак»!» Это состояние замечательное — мы все друг у друга продюсеры. И мы все делаем фильмы.

— Ну, а если эта картина окажется провальной, у Пичула?

— Дело в том, что конкретно у Пичула этого не будет. Мы делаем первый в Советском Союзе абсолютно западный вид производства. То есть деньги на его картину дает российский кинопрокат. Так это делается в Штатах. Субсидируют картину те люди, которые потом будут ее прокатывать. То есть фильм продан заранее. Режиссер делает картину. Прокатчики ее финансируют. Допустим, вложили они пятьдесят миллионов, прокатали, получили двести миллионов. Потом «излишки» делят.

— Я не думала, что на Западе продюсер и прокатчик — это одно и то же.

— Не всегда, но часто. Это очень умная система.

— А вообще, как у нас работает режиссеру?

— Таких сверхусилий, которые надо вкладывать режиссеру у нас, не существует ни в одной стране.

— Но у Вас нет такого впечатления, что сегодня снимают все? Кто имеет деньги, тот и снимает?

— Это нормально. Начался дикий рынок. Если у человека есть десять миллионов — пусть делает. Другое дело, что снимать могут все, а профессионалов — единицы. И там, и здесь. Всегда так было.

— Не оставила ли Вас мечта поехать в Америку, испытать свое счастье?

— Конечно, пока это мечта. Сейчас, по-моему,

нужно жить и работать здесь, но искать деньги — там. Хотя бы небольшую часть денег. Сегодня здесь, имея валюту, можно чувствовать себя очень хорошо.

— Значит, вы попытаетесь продать картину, вынести ее на тот рынок? И таким образом заработать деньги?

— Да. Вы понимаете, если картина стоила десять миллионов рублей, то здесь ее продать за десять миллионов практически нереально. А если ее удастся продать всего за двести тысяч долларов — все. Она окупилась.

— А на прибыль — снимать другую картину?

— Да-а... снимать... То, что сейчас у нас происходит, — это развал. И в кинематографе тоже. Кино — это техника, технологическая цепочка. Если три года назад нам нужно было построить павильон, мы шли, составляли проект, платили деньги — и нам строили павильон. Медленно, нудно, но строили. Два года назад нам говорили: да мы вам построим, но нет гвоздей. Платили за гвозди на тысячу больше — и гвозди были. Год назад нам говорили: нет гвоздей, нет краски, нет фанеры, нет досок, нет рабочих — нет ничего. Платили на пятьдесят тысяч больше — и находилось все. Вот сейчас наступил момент, когда плати миллион, два миллиона, десять миллионов — действительно нет гвоздей. Их перестали производить. Нет гвоздей, значит нет павильона. И нет пленки. Нет химикатов, чтобы ее обрабатывать. Потому что химикаты поставляли из ГДР, а ГДР больше нет. Химикаты есть во всем мире, но за них надо платить доллары. И когда выясняется, что нет химикатов, чтобы обработать пленку, кино останавливается. Вот писать можно, бумага пока есть.

— Вам не приходило в голову попробовать себя в видео?

— Это абсолютно другой вид искусства. Мне, в принципе, приходит в голову попробовать себя и в театре. Правда, там тоже гвозди нужны, но можно, как вы знаете, стиль придумать: сцена, одна табуретка и два артиста в простых костюмах, в чем они на улице ходят. Такой театр. Но я хочу кино снимать. Пока. Можно рисовать, петь, можно танцевать на сцене...

— Хотите снимать кино, несмотря на все сложности?

— Это наркотик. Раз укололся — и ты не можешь без этого. Доза только увеличивается, хочется «чего-нибудь покрепше». Вот смотрите, тот же Вася Пичул. Когда он снимал «Маленькую Веру», я с ним общался. Он прокинул все — жизнь, кино, зачем он за это взялся и так далее. И говорил все время так: два героя, в одной комнате — и ничего чтоб больше не было, упростить! Что он снимает теперь? Пять экспедиций, автопробеги на старинных автомобилях... Зачем ему это? Тот самый наркотик, который «покрепше». Если покурил марихуаны, в следующий раз на ЛСД тянет.

— А у вашего папы, Петра Тодоровского, как, не прошло это?

— У папы? Через три недели он начинает снимать. Ему в его шестьдесят пять лет надо обязательно сделать фильм с экспедицией в военную часть, зимой. Большинство режиссеров любят снимать летом в Крыму. Он снимает зимой в какой-то деревне. Это военный городок под Москвой. Костюмная картина, ретро. При полной катастрофе во всем! Сколько нужно денег на это! А артисты... Это же катастрофа советского кино!..

Они научились за последнее время требовать деньги...

— А сами Вы не пробовали сниматься?

— Как?! Я снимался. У Юлия Райзмана. Школьником. И еще у меня было потрясающее приглашение — параллельно со съемками «Любови», — которое, к сожалению, мне пришлось отключить. Меня приглашали на «Ленфильм» сняться в главной роли в фильме режиссера Татарского про вампиров. В паре с Мариной Влади! Фильм называется «Пьющий кровь». На роль главного вампира. Я три ночи думал, как бы мне все-таки сняться!.. Но — не прошло, не смог бы снимать свой фильм. Потом с Татарским встретились, оба грустно вздохнули... Такого уровня предложение я, конечно, вряд ли когда-нибудь получу. Но надеюсь, что у меня еще все впереди. Я бы очень хотел сняться. Просто расслабиться. Это — весело! Как рассказывал когда-то мой отец, когда снимался у своего многолетнего друга Марлена Хуциева в фильме «Был месяц май». Он играл одну из главных ролей — впервые попал в положение артиста, человека, который сидит в гостинице, и ему говорят: «За Вами приедут. Мы пришлем машину как раз к съемкам». И вот они с актерами сидят, пьют чай, за ними приходит машина, их везут на площадку, отец приходит и говорит: «Как, еще не готово?» И видит, ходит

Хуциев — злой, кричит... Смотрит он: «И что он так нервничает?! Все же так хорошо!..» Это приятно.

— А сценарии писать Вы продолжаете?

— Я параллельно написал сценарий для Димы Месхиева, который называется «Циники». «Циники» очень всем нравятся, известная картина, она гремит. У меня сейчас очень удачный момент. Сам картину снял, ему написал — мы с ним день в день начали снимать и день в день закончили. Мы договорились с Димой, что я напишу еще один сценарий, с которым он запустится. Так что у меня уже есть свой режиссер. Примерно раз в неделю мне звонят какие-то люди и говорят: «Это звонит... Пупкин. Вы знаете, у меня очень много денег. Давайте, вы напишете нам сценарий!» Причем сулят большие деньги. Действительно большие суммы называют.

— А сколько сегодня может стоить хороший сценарий?

— От пяти тысяч до трехсот.

— Ого!

— А почему, если актер на главную роль стоит сто пятьдесят тысяч, сценарий не может стоить триста? Ведь сценарий — основа картины.

— А с темами проблем нет?

— Темы? Тем — миллион. Только успевай записывать.

ЯРМАРКА СЦЕНАРИЕВ

Начиная с этого номера, редакция предлагает к продаже наиболее интересные сценарии отечественных и зарубежных кинодраматургов.

Из номера в номер мы будем печатать краткие аннотации сценариев, которые выставляются на ЯРМАРКУ.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС, КИНОКОММЕРСАНТЫ!

АННОТАЦИЯ СЦЕНАРИЯ А-1

ВОТ ПРИДЕТ ЛЕШИЙ...

Рыжий, шумный и веселый Агафон ушел с тоски из обезлюдившей деревни и появился в гости к человеку, который был когда-то в той деревне на уборке картофеля и приглашал Агафона к себе в город, совсем не ведая, что тот... домовый. Вы бы тоже этого ни за что не узнали, ибо у Агафона все совсем, как у человека: и внешность, и речь, и желания, и потребности. И никакой шерсти и хвоста.

И согласно этим желаниям и потребностям Агафон не просто заходит в гости, но остается жить в этом доме; потом из кухни, где поначалу мирно спал на топчане, переселяется в лучшую комнату и очень скоро становится фактическим хозяином квартиры.

К тому же он, оказывается, вовсе не один такой в городе. Существует огромный, своего рода подпольный мир леших, русалок, вурдалаков...

Заинтересовавшиеся этой аннотацией могут обращаться по поводу приобретения сценария в редакцию.

Марина ШЕПТУНОВА

В редакции мне сказали, что надо написать о себе. Вроде как автобиографию что ли. Значит так. Я родилась первого апреля. По этой причине — закончила юридический факультет С.-Петербургского университета, член партии с 1967 года, кандидат искусствоведения, автор романов «Война и пир», «Хижина тети Тома», «Волшебная нора». Сценарий «Прекрасная дама» — последнее из написанного мною при жизни, так как в позапрошлый четверг я скоростижно скончалась.

С Новым годом, дорогие товарищи!



*Марина
Шептунова*

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

Холодной снежной зимой одна тысяча девятьсот шестнадцатого года в полупустой, неровно освещенной зале ресторана, знававшего лучшие дни, девятнадцатилетний поручик драгунского полка Павел Алексеевич Обозов прощался с друзьями.

Офицеры — их было семь человек — пребывали в разных стадиях опьянения.

Один, светлоокий, лирически настроенный, бережно трогал гитарные струны:

*Я помню вальса звук прелестный,
Весенней ночью в поздний час
Его пел голос неизвестный,
И песня чудная лилась...*

Они окружали порядком уже разоренный стол. Посреди, на блюде, торчало лукавое рыльце жареного поросенка, высились горки блинов, серебряные жбанчики с икрой, розовая семга, разумеется, шампанское, мадера, английская горькая и, конечно, смирновка во льду, как же без нее?

Офицер с круглой, почти налысо бритой головой и седоватыми усами уговаривал Обозова, наваливаясь ему на плечо:

— А ты женись, Паша, женись. Не трать

времени понапрасну. Уходит жизнь. Ты пойми. Уходит.

Обозов улыбнулся ему рассеянно, виновато.

— Ничего, ничего, — бормотал он, утешая себя. — И я за вами... дайте срок — и я следом, вот только...

— Куда?! — воскликнул юный корнет, совсем мальчик, но с глазами больными, мрачно-веселыми от тяжелого опыта войны. — Куда вы за нами? Вшей кормить? Живите долго, Павел Алексеевич. И радуйтесь, — пьяная слеза прошибла мальчика — целоваться полез.

Да, то был вальс,
прелестный, томный.

Да, то был дивный вальс.

Господин в полувоенном френче, с аккуратной бородкой под младенчески-розовыми щеками поднялся из-за стола, за которыми сидели мужчины в цивильном, нарядном, и дамы в мехах на пудренных голых плечах. Одна дама вскрикнула запоздало, умоляюще:

— Иннокентий, я прошу тебя!

Но он уже шел, он уже подходил к их офицерскому столу — бокал в нетвердой ру-

По мотивам одноименного рассказа А. Толстого.

ке, взор увлажнен в приступе патриотических чувств.

— Господа! — обратился он к офицерам.

На него посмотрели. Гитарист вежливо прижал ладонью струны.

— Господа, вы — наша надежда...

Застонал, как от зубной боли, пышноусый красавец-драгун. Потянулся за бутылкой Обозов. Засмеялся бритоголовый. Гитарист завел:

— Теперь зима и те же ели...

— Свобода и война до последней победы! — крикнул господин.

—...Покрыты сумраком стоят...

— Победы? Какой победы?! — вскинулся пышноусый красавец.

— Господа, я умоляю вас: не надо политики! — воззвал юный корнет.

— ...А под окном шумят метели...

— Ваша кровь не будет пролита даром! — выкрикнул господин.

— Да замолчите же вы! — попросил Обозов. — Пейте и молчите.

— ...И звуки вальса не звучат...

— Я пью за вас, за ваше мужество...

Его не стали слушать. С ним чокались и пили на брудершафт. Усаживали за стол. Кто-то ласково совал ему в лицо ломоть нежной семги, подцепленный на вилку. Иннокентий хихикал и уворачивался. Звенела, разбивалась посуда.

— На столбах вешать! — сказал в пространство пышноусый красавец.

— Кого?

— Александр! Вам не место в приличном обществе! — крикнул Обозов, смеясь.

— А вам?

— И мне не место в приличном обществе! Поедьте в неприличное.

Шумная ватага поднялась и двинулась к выходу, уводя за собой и растерянного веселого Иннокентия. Обнаружились костыли — пышноусый красавец был одноног.

Дама в мехах терзала тонкие пальцы и порывалась бежать следом. Ее удерживали.

Они вывалились из ресторана на морозный ночной проспект.

Разбойничьим повсистоном Обозов подозвал лихачей, уныло поджидавших поодаль.

Взяли двоих и тесно насели. При этом одному лихачу досталось пять седоков, другому — трое: Обозов, Иннокентий и хромой Александр.

И — понеслись, понеслись галопом между высоких сугробов, рискуя опрокинуться в снег.

Александр размахивал костылем, стоя в санях, крича навстречу ветру:

Волга, Волга, мать родная,
Волга, русская река,

Не видала ты подарка
От донского казака.

Мчались по набережной Невы. Даже сквозь жалобный перезвон бубенцов и дикие вопли Александра Обозову было слышно, как воют за рекой волки.

Добрались до заведения. Это был подвал с низкими сводами, расписанными в стиле а ля рюс, расстроенным, как тотчас выяснил гитарист, фортепиано на узкой эстрадной площадке и десятком столиков.

Яркие лохмотья цыганских юбок. Атласный жилет черноусого скрипача с прорехой на боку.

— Братцы! — просветленно плача, кричал Иннокентий. — Вот оно — единение славянских душ!

Френч его был расстегнут, белоснежная рубашка — в свежих пятнах соуса и вина.

— Ду-урень! — улыбался Александр, через стол толкая Иннокентия в плечо костылем.

— Славянские души — это из парижских газет, — сказал бритоголовый, одиноко пивший из бутылки без помощи стакана или другой какой подобающей посуды.

Юный корнет, напрягая голос, говорил Обозову, клонясь к нему мимо девицы в лиловом парике, уютно устроившейся на подлокотнике кресла.

— Павел Алексеевич, я позапрошлой осенью семью в деревню отправил. И теперь не успел ничего разузнать про них. Вы уж будьте добры... я вот тут вам адрес, — бесполезно зашарил по карманам. — Если со мной что случится...

— Мишенька, голубчик, — фальшиво возмутился Обозов, — что это у вас за фантазии...

— Нет, нет, я не вернусь уже, — торопясь перебил его корнет, — я чувствую, а у меня там мама, бабушка, сестры. Мне будет спокойнее, если вы...

Девица в парике, сбросив туфельку, поставила на живот Обозова миниатюрную ножку, затянутую в черный чулок.

Корнет ревниво шлепнул ее по ляжке:

— Не шали.

Когда Обозов очнулся, было утро, а может быть, уже и день. Он лежал, полураздетый, на постели в крохотной комнатке. Вся обстановка — кровать, кресло, в углу на табуретке — таз и кувшин для умывания.

Обозов сел. Мерзкий привкус металла во рту, боль в висках и затылке.

На полу валялся лиловый парик девицы, а сама она котенком свернулась под-

ле Обозова: костлявое плечико, курносое личико, тифозный ежик волос.

Они встретились в пустом чужом кабинете. Тяжелые шторы на окнах, массивный чернильный прибор на зеленом сукне стола, лампа под веселеньким апельсиновым абажуром. За стеной едва слышно стрекотал «ундервуд».

Ни имени, ни звания этого человека Обозов не знал и не должен был знать, но он, естественно, догадывался обо всем и стоял теперь, прямя спину, не отводя взгляда от собеседника.

Собеседник тоже стоял и даже не снял пальто. Начальник разведки, шеф, патрон, хозяин... как бы нам его окрестить-то для удобства дальнейшего повествования? Впрочем, этот человек был так бесподобно элегантен в белом своем кашне под черным поднятым воротником, что мы, пожалуй, будем называть его поэтически — Маэстро.

Он сказал:

— Мне рекомендовали вас как надежно-го, отважного офицера... А ваше здоровье теперь?.. — полувопросительно добавил он. — Вы ведь...

— Контузия, — подсказал Обозов. — Но, уверяю вас, я совершенно, совершенно здоров.

— Вот это как раз необязательно, — возразил Маэстро. — Официальная цель вашей поездки — лечение. Так что, разумеется, никаких мундиров, никаких погон. Вы поедете в штатском.

Он присел на край стола, поигрывая крышечкой бронзовой чернильницы. Он говорил небыстро, буднично, даже вяло, но когда поднимал на Обозова глаза, становилось очевидным, что вялость эта обманчива. Умный, пристальный, печальный взгляд.

— Должен предупредить вас, — сказал Маэстро, — ваше путешествие будет опасным. Будьте предельно осторожны и осмотрительны.

— Я не хочу показаться нескромным, — сказал Обозов, — но опасности меня не слишком пугают.

Маэстро покивал равнодушно, кажется, не услышав его, и продолжил:

— Помните этого человека...

На зеленое сукно легла серая фотографическая карточка, наклеенная для пущей прочности на серый же и очень толстый картон: широкоплечий мужчина с длинным бритым лицом и насмешливо-жесткими глазами стоял полубоком, приспособив локоть на гнутую жардиньерку темного дерева.

— ...Он будет сопровождать вас, — продолжал маэстро. — Но вступить с ним в контакт вы можете только в случае крайней — запомните, крайней! — необходимости.

— Понял, — с мальчишеской радостью закивал Обозов.

Так в детстве — блаженное предчувствие ужаса, скажем, от встречи с привидением, живущим под лестницей у входа в дворничью.

Маэстро внимательно посмотрел на Обозова и добавил:

— Документы, которые вы повезете, имеют чрезвычайную важность. Вы — фронтовой офицер, и потому я буду говорить с вами прямо. Пропаж документ не только будет стоить вам жизни, — холодный острый взгляд в глаза Обозова, — хуже того — пропаж документов бедственно отразится на военных операциях.

Обозов готов был оскорбиться.

— Я не мальчик, — сказал он. — Я понимаю.

Маэстро улыбнулся в усы. Для него Обозов был именно мальчик.

— Будьте предельно осторожны, — повторил он.

На заснеженном вокзальном перроне, возле вагона первого класса, стояла высокая стройная женщина, зябко пряча подбородок в черный мех шубки.

Едва увидев эту женщину, Обозов невольно выделил ее среди прочих отъезжающих-провожающих: изящество, женственность, некое особое беззащитное одиночество. Он задержал на женщине взгляд и прошел в вагон.

В купе Обозов внимательно осмотрелся. Малиновый бархат дивана, зеркала на стенах, — взглянув, машинально тронул пальцами подбородок, — тюльпанообразный матовый абажурчик бра, на двери — крепкая цепочка, на окне — плотная штора.

Обозов запер дверь. Подумал, не опустить ли на всякий случай и штору, но счел эту предосторожность излишней.

Он снял пиджак, затем откинул крышку чемодана и бережно достал парусиновый мешочек. В нем, в этом мешочке, был зашит пакет с военными документами. Обозов аккуратно устроил мешочек во внутреннем кармане пиджака и долго, тщательно закреплял его английскими булавками.

Он уронил взгляд за окно и вновь увидел ту женщину.

Она стояла боком к нему, у самого окна. Изящный овал лица, чистый, высокий лоб, красивая, хотя и жестковатая линия рта, а глаза... вот глаза Обозов не видел. Как жаль.

И тут она повернула к нему дивную голову и посмотрела. Темный, пристальный, немигающий взгляд.

Нежное смятение души. Обозов покраснел и уколол палец булавкой. Кровь.

А женщина спокойно перевела взгляд. Кажется, Обозов был для нее не более чем деталь вокзального пейзажа. Увы.

Закончив свои конспиративные действия, Обозов вышел в коридор, желая увидеть своих соседей по вагону.

В вагон как раз входил человек в расстегнутом пальто с меховым воротником, с папиросой в руке, обтянутой желтой перчаткой — это был широкоплечий мужчина с длинным бритым лицом и насмешливо-жесткими глазами.

Взгляды их встретились — полуулыбки авгурских жрецов скользнули по их губам. Мужчины тут же отвернулись друг от друга.

Обозов даже невольно оглянулся — не стал ли кто невольным или вольным свидетелем их встречи?

Дама в трауре стояла поодаль у окна — белое лицо, безгубый, как щель, рот, сумрачные глаза за клетчатой вуалью шляпки. Впрочем, дама смотрела на Обозова лишь мгновение. Она спешно отвела взгляд и нырнула в свое купе.

Обозов пожал плечами и ушел в купе тоже.

Вагон вздрогнул, перрон поплыл за окном, унося и здание вокзала, и однорукого офицера, и краснорожего носильщика, и молодую женщину, прижимавшую платочек к мокрому лицу.

Обозов лежа просматривал дорожные газеты и журналы и собирался уже было задремать, когда мимо двери быстро, сильно простучали каблучки и зазвучал женский голос, неразборчивый, оживленный. Обозов уронил журнал на грудь, прислушался.

Обозов сел, подался к двери и осторожно приотворил.

В коридоре стояли двое — франтоватый мужчина и хорошенькая барышня, понятная с первого взгляда и потому неинтересная: отменный аппетит, любовь к дурным стихам «о возвышенном» и неопрятность в быту.

Обозов захлопнул дверь. Как можно так ошибиться: этот резкий голос не мог принадлежать той женщине.

Обозов попытался читать — безуспешно: он не мог сосредоточиться. Тогда он поднялся, вышел в коридор — тех двоих уже не было — и встал у окна.

У долгой дальней дороги свои законы

времени и пространства. Минуты, часы, дни разрастаются, разбухают неимоверно. Пространство же сужается, сворачивается до размеров тряского вагона, превращая мир за окном в театральную декорацию с картонной луной и картонной же елкой в вате вместо снега.

Опрятная, коренастая проводница шла по коридору с тяжеловатой грацией бегемота.

Обозов отступил, освобождая ей проход.

Поровнявшись с Обозовым, проводница неприятно-внимательно посмотрела ему в лицо и, вернув взгляд себе под ноги, быстро прошла дальше.

Обозов проводил ее взглядом и увидел узкую руку в черной перчатке, лежавшую на лакированной раме окна. Он не заметил, когда прекрасная незнакомка вышла из своего купе и как она остановилась у соседнего окна.

Обозов в забывчивости рассматривал ее до неприличия пристально, всю — от высоких зашнурованных ботиночек до аккуратной головки.

Женщина же как будто вовсе не чувствовала его взгляда, так глубоко она была погружена в свои, очевидно, не слишком веселые мысли.

«А вот интересно бы знать, куда она едет — совершенно одна?.. Искательница приключений?.. Нет, не то. Непохоже. Может быть, к мужу? Отчего же она так печальна?.. Милая моя, отчего же вы так...»

Сильно хлопнула дверь вагона.

Обозов оглянулся.

По коридору шел юноша в свитере и вязаном колпачке — нечто энергичное, охотничье-спортивное. Таких юношей Обозов с удивлением обнаружил, вернувшись с фронта, — на арену жизни выходило новое поколение, преклоняющееся перед силой, презирающее слабость и недоступное сомнениям. Обозов испытывал перед ними брезгливость, но и мелкий, предательский страхок предчувствия, что именно они — будущая судьба России, судьба Европы.

Когда Обозов оглянулся, он увидел, что коридор удручающе пуст, что прекрасная незнакомка исчезла так же неуловимо, как и возникла.

Обозов заметно расстроился и вернулся в свое купе.

Несколько времени спустя, когда он читал, расположившись на диване, в дверь стукнул лакей с длинным лицом в довоенных бакенбардах:

— Пожалуйста ужинать.

Прежде чем выйти из купе, Обозов оставил нехитрые, но малозаметные чужому глазу меточки — на случай обыска: он за-

щемил в притворе двери туалетной комнаты узкую полоску газетной бумаги, вынул уголок носового платка из-под крышки чемодана, извилисто отогнул покрывало на постели и, наконец, особым образом вложил закладку в толстый томик Библии, лежащий в изголовье постели.

Проделав все это, Обозов, вполне довольный собой, вместе с другими пассажирами побрел в вагон-ресторан, придерживаясь руками за стены.

Место себе он выбрал в углу и ел, пристрасно оглядывая людей за соседними столиками.

Здесь был знакомый Обозову длиннолицый незнакомец, с рассеяннo-благодушным видом уминавший свой ужин.

Был энергичный юноша с холодными глазами, обращенными либо в тарелку, либо за окно, редко — к людям.

Здесь была и давешняя веселая пара, кокетничавшая в коридоре.

Благопристойная английская чета с тремя тихими детьми и гувернанткой-японкой.

Здесь была и бледная дама в трауре с толстой девушкой лет четырнадцать.

Прекрасная незнакомка отсутствовала. Обозов выпрямился на стуле, вытянул шею, оглядывая жующих пассажиров, но напоролся на любопытный взгляд веселой барышни.

Дама в трауре и ее дочурка пристально наблюдали за Обозовым. Дочь даже пыталась украдкой проследить направление обозовского взгляда, а мать, едва встретившись с Обозовым глазами, приветственно-значительно склонила голову.

Обозов кивнул неловко и отвернул лицо к окну.

Мирный вид, монотонный, как перестук колес: деревья, домики, столбы, столбы, деревья, домики, деревья, домики, столбы, столбы, деревья... лошади! Приятное разнообразие.

Паровоз длинно засвистел.

«Кто? Кто? — думал Обозов. — Кто из них? А, может быть, никакой опасности нет вовсе. Так, пикантная прогулка».

Обозов уставился на своего благодушно-сотоварища.

— Вы позволите?

Обозов вздрогнул и быстро поднял глаза.

У столика стояла прекрасная незнакомка и смотрела на Обозова с улыбкой. Очевидно, она не в первый раз обращалась к нему в вопросе.

Обозов вскочил с излишней поспешностью, подвинул ей стул, сел опять.

Дама положила на стол у окна перчатки (Обозов машинально отметил отсутствие об-

ручального кольца на пальце), раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце — без любопытства, но внимательно, — мизинцем провела по губам, щелкнула замком сумочки и посмотрела в глаза Обозову своими — сумрачными, почти мрачными, отчего у него что-то сладко жалось и заныло внутри...

— Вы ели рыбу, не опасно? — спросила незнакомка.

Голос у нее был низкий, сильный.

— Рыба превосходная, треска, — с готовностью ответил Обозов и придвинул ей блюдо.

— Благодарю вас.

Ели молча.

«Рыба, — подумал Обозов, мучительно подыскивая тему для продолжения разговора. — Рыба... рыба — это, знаете ли, чрезвычайно полезно для здоровья. Говорят, печень трески особенно богата жиром. Бред! А о чем еще?.. Рыба. Треска...»

Обозов соображал, посматривая на женщину. Первый раз он видел ее так близко. Ему нравилось наблюдать неторопливые, точные движения ее рук. Она не была суетлива.

«Треска предпочитает нереститься у берегов. Какая глупость».

Официант в синем фраке и гуттаперчевом воротничке принес поднос для прекрасной незнакомки.

«Вот ведь оно как, — расстроено думал Обозов, — ни легкости Бог не дал, ни остроумия. Солдафон. Треска. Треска, тоска, доска. Так я даже имени ее не узнаю».

— Меня зовут Мария Сергеевна, — внезапно сказала женщина.

Обозов застыл, не донеся вилку до рта.

— Павжинская, — сказала она. — Мария Сергеевна.

— Обозов. Павел Алексеевич, — назвался он привстав.

Положил вилку и уставился на женщину, теперь уже не тайно, украдкой, но открыто, на правах нового знакомого.

Энергичный юноша и неувлбчивая дама с дочкой наблюдали за ними.

— Путешествуете? — спросил он.

Она усмехнулась.

— Бегу... Не удивляйтесь, — сказала она, взглянув на его лицо. — Я бегу от России, как от чумы. Правда, правда, — она засмеялась.

Смех ее был умный, невеселый.

— Ненавижу, — сказала она. — Жалкая, варварская страна. Всюду ложь, хамство, мелочный расчет. Я не могу не думать, что где-то на земле в эту минуту ходят великолепные люди. Сильные, свободные, — она говорила, не глядя на Обозова, точно вовсе забыла о нем. — А я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее,

вялое, со слабительными лепешками в жилетном кармане, с визгливым голосом, несвежим бельем, с ежеминутной склонностью к истерике. Я устала. Наконец это просто невыносимо. Жить в такой стране. Нет уж, простите.

Обозов смотрел на Марию Сергеевну со снисходительным умилением. Ее наивное страстное воодушевление он находил трогательным, ребячески-забавным.

Он спросил:

— И куда же вы... бежите?

— В Америку, — значительно сказала женщина.

«В индейцев играть», — подумал Обозов, а вслух сказал изумленно:

— Ого! Путь неблизкий... Вы рассчитываете найти там сильных, свободных людей?

— Уж во всяком случае не таких, как в России, — презрительно усмехнулась Мария Сергеевна.

— У нас, знаете ли, тоже попадаются неплохие экземпляры. Бывают очень даже ничего себе.

Обозов надеялся смягчить категорическую мрачную патетику ее настроения, придать разговору легкость, но тон, взятый Обозовым, оказал на Марию Сергеевну обратное действие.

— Ах, перестаньте! — вскрикнула она с высокомерной брезгливой гримаской. — У нас все ничтожно, как в лакейской, все, как на барине, только похуже. Будем искренни: наша с вами страна — нелепый курьез, случайность.

Ни чувство юмора, ни прелестная внешность женщины не помогли: ее слова все-таки оскорбили, все-таки задели Обозова за живое. Он произнес медленно, с заметным напряжением, стараясь удержаться от грубости:

— Разговор этот, простите, мне неприятен. Я не люблю, когда при мне ругают Россию.

— Ах так? — женщина посмотрела с насмешливым любопытством. — Вы, вероятно, патриот своей родины?

Ему стало неловко за нее.

— Да, — просто согласился он. — Я — патриот своей родины.

Она вдруг смутилась, бессмысленно защелкала замком сумочки, повертела в пальцах нож.

— Я был на фронте, — сказал Обозов, — и видел всяких людей. Сильных, свободных, о которых вы так тоскуете, — в том числе.

Обозов с удовольствием смотрел на Марию Сергеевну. Смущение сделало ее еще более хорошенькой и беззащитной.

— А если в вашей жизни что-то не сло-

жилось, то, пожалуйста спросить, Россия-то чем виновата? Милая Мария Сергеевна, ваша ненависть совершенно не по адресу.

Между тем вагон-ресторан уже опустел. Только энергичный юноша все сидел за своим столом и посматривал на них.

Обозов вошел в свое купе, плотно затворил за собой дверь и осмотрелся: все четыре оставленные им метки были на месте.

Зимние дни коротки. Оглянуться не успеешь — уже и сумерки за окном.

Толстая девочка-подросток стояла в коридоре у окна, скосив глаза на Марию Сергеевну и Обозова. Ей нравилось наблюдать за ними: это походило на ночное чтение романа, запрещенного мамой.

— Вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию, — говорила Мария Сергеевна. — И знаете, от вашей резкости вдруг так тепло стало. Искренность теперь не в моде. А вы...

— А я был груб, как солдатский сапог. Простите.

Опрятная проводница разносила по купе бутылочки с содовой.

Девочку окликнула ее мать, тщетно пытаясь загнать дочку в купе.

— Вы в самом деле едете в Америку? — спросил Обозов.

— Я подписала контракт на тридцать концертов.

— Ах так, вы актриса. Это другое дело. Я думал...

— Что вы думали? — поспешно спросила Мария Сергеевна.

— Нет, нет, ничего обидного, я думал вы так... для забавы... искательница приключений.

Неулыбчивая дама выплыла из своего купе. На носу — очки, в руках — газета. Она неодобрительно посмотрела на Марию Сергеевну.

— Марш в купе! — приказала дочери.

Обе они ушли.

— Искательница приключений! — Мария Сергеевна усмехнулась. — Я — одинокий человек. Женщине в тридцать лет без семьи и привязанностей очень трудно. Я приучила себя не жаловаться, — она в самом деле смотрела весело. — В конце концов, это моя жизнь, мои сложности. Зачем портить людям настроение, верно?.. А вы меня расстроивали, уж не знаю, чем. Теперь буду думать всю ночь.

Она смотрела благодарно. Теплый, ласковый взгляд.

В конце коридора приоткрылась дверь, впустив вместе с морозным облаком энер-

гичного юношу.

Мария Сергеевна посмотрела на часики.

— Сделайте доброе дело. Не оставляйте меня сейчас одну. Подарите мне немного времени.

И глаза у нее были такие ясные, такие доверчивые.

«А я-то пошла! — стыдись, подумал Обозов. — Разлетелся, как кот на сметану».

— Пойдемте. Пойдемте посидим у меня, — сказала Мария Сергеевна.

Ее купе отчего-то показалось Обозову менее обжитым, чем его собственное. Маленький чемоданчик в сетке, шубка, висевшая в углу, и домашние туфельки на полу — вот и все приметы человеческого присутствия.

Обозов устроился на бархатном диване.

Мария Сергеевна села на столик у окна и обхватила поднятое худое колено.

— Можете курить, — сказала она.

Ее ножка, тонкая в шиколотке, затянута в черный чулок, покачивалась совсем близко.

— Согласитесь, как все-таки грустно, — сказал Обозов. — Вот мы встретились, и, кажется, нам есть, что сказать друг другу, а через день или два — фюйт, — он легонько присвистнул, — и мы исчезнем друг для друга навсегда. Грустная, однако, штукавина — встреча в пути, правда?

— Бывают минуты, которых не забудешь всю жизнь, — медленно, значительно проговорила Мария Сергеевна.

Он поднял озадаченный взгляд с ее ножки на лицо.

Мария Сергеевна на него не смотрела, и Обозов решил, что ему примерещилась особенная значительность ее тона.

— Да, — согласился он. — У меня бывали минуты, когда смерть подходила так близко, так буднично, что...

— Ах нет же! — досадливо перебила женщина. — Я вовсе не о смерти. Я говорю о минутах безумия, о минутах страсти, налетевшей, как вихрь.

«Пресвятая дева, — опешил Обозов. — Что это она... так сразу». — И оробел.

Мария Сергеевна соскользнула со столика.

Обозов не видел, что она делала, услышал легкий вздох, какой-то шорох. Он взглянул искоса: она расшнуровывала ботиночки и подняла на него глаза.

Обозов быстро отвел свои и покраснел.

Женщина усмехнулась.

— Вы очень пугливы, — сказала она.

— Да, — уронил Обозов. Голос его был какой-то чужой, сиплый.

Мария Сергеевна отбросила ботиночки, надела туфли.

— У меня ноги в башмаках устали. Толь-

ко и всего. А вы вон как! От шороха юбки. Бедняжка.

Это было сказано с насмешливым пренебрежением, и Обозову вновь, как недавно в ресторане, сделалось неловко за Марию Сергеевну.

— Все было бы проще, — признался он, глядя ей снизу в глаза, — если бы вы мне не нравились.

— Я вам нравлюсь? — Она растерялась. — А мне показалось, вы считаете меня просто настоящей бабой, — и она недовольно хмурила брови. — Уверю вас, что вы ошибаетесь.

«Дай-то Бог», — подумал Обозов.

— Не сердитесь, — сказал он улыбаясь. — Прошу вас меня простить.

— За что, интересно? Вы, кажется, вели себя на редкость скромно. Просто паймальчик.

Он с нежностью смотрел на ее сердитое смущенное лицо. Потом встал и крепко взял ее за локти.

— Сядьте сюда, — сказал он. — Рядом со мной.

— Вы с ума сошли!

Мария Сергеевна пыталась вырваться. Он не отпускал.

— Я закричу! — сказала она.

— Валайте, — сказал Обозов.

Она засмеялась.

— Сядьте, я сказал! Не бойтесь — не укушу.

Мария Сергеевна сдалась и покорно села. Обозов опустился рядом.

— Вы правы, — сказал он. — Я всегда боялся женщин. Пережил предательство в юные годы. Это ведь как ожог: давно зажило, а след на всю жизнь.

Они уютно сидели рядом. Мария Сергеевна сбросила туфли и забралась с ногами на диван.

Обозов рассказывал:

— Знаете, у меня был приятель, до смерти влюбленный в какую-то девочку... «Меня, — говорил он, — убить нельзя: попробуй выстрели в звездное небо! Так и в меня...»

— Это пошло, — заметила Мария Сергеевна.

— ...Потом-то его, конечно, убили, — продолжал Обозов. — Но вот так размахнуться — до звезд — это ведь хорошо. Хотя не без пошлости, согласен... И вот когда я вас на перроне увидел, как вы там стояли — ветер в лицо и нос красный...

— О, Господи! — сказала она.

— ...и совершенно одна, а потом еще — в коридоре, помните? У окна. Я уже тогда почувствовал: наша встреча — она ведь не случайна.

— Что? — вдруг резко, настороженно спросила Мария Сергеевна.

Но Обозов был слишком занят своими

чувствами, чтобы заметить странность ее реакции.

— Случайность, — вслух размышлял он, — это ведь только так кажется. А ничего случайного и нет. Все предопределено.

— Да вы — фаталист, — пробормотала она, глядя на него с интересом. — Вы, чего доброго, и в Господа нашего Иисуса Христа веруете?

— Верую, — кивнул он. — Разум наш слишком слаб и самонадеян. Нам не дано постичь промысел Божий. А наши усилия к пониманию так убоги, так бедны...

Он продолжал говорить, говорить.

Поезд летел и летел через ночь.

Мария Сергеевна, казалось, задремала, прислонившись головкой к его плечу.

— Я утомил вас. Простите, — прошептал Обозов.

Он поднялся, осторожно, как ребенка, уложил ее на диван и, погладив по волосам, вышел.

Едва переступив порожек своего купе, Обозов увидел, что здесь побывал посторонний.

Все метки, предусмотрительно и, как теперь выяснилось, ненапрасно оставленные Обозовым, демонстрировали следы обыска.

Обозов мирно спал под перестук колес, когда дверь его купе, тихо шелкнув, начала медленно открываться. Цепочка натянулась и не позволила непрошеному гостю отворить дверь до конца.

Обозов проснулся. Его разбудил щелчок закрывшейся двери, но он этого не понял. Он сразу сел и протянул руку к пиджаку — убедиться, что все в порядке.

Ему вспомнился минувший вечер, и он улыбнулся. Он лег, все улыбаясь, припоминая глаза этой дивной женщины, ее жесты, волосы, ее усмешку, как она хмурит брови, как внимательно слушает: склонив голову к плечу. Так Обозов и заснул, улыбаясь с нежностью и теплом.

Его разбудил белый свет, проникший в купе через щель между лакированной рамой и плотной шторой у окна. Тотчас вспомнился давешний вечер, запах ее волос, ее улыбка... Нежность...

«Девочка моя. Машенька. Радость моя».

Обозов бездумно, машинально потянулся, скользнул рукой во внутренний карман пиджака, удостоверившись, что пакет на месте, и начал вставать.

Стоя посреди купе в одном белье, Обозов пытался проделывать гимнастические упражнения. В качающемся вагоне взмахи рук, ног, наклоны и повороты тела были затруднены. Обозов больше походил на циркового клоуна, нежели на атлета.

Он долго с удовольствием умывался, брил-

ся в туалетной комнате и пел. Вернее, напевал, путаясь в ариях из «Паяцев» и «Травиаты». Всякое действие, всякое движение, прикосновение — все вызывало в нем наслаждение от ощущения полноты жизни. Один из многих оттенков счастья, вероятно.

Одеваясь, Обозов заметил, что к рукаву его пиджака пристал длинный русый волос. И Обозов улыбнулся, снимая его.

«Во всяком случае, она — не шпионка, — подумал Обозов. — Слава Богу, шпионка — не она. Любопытно бы знать, кто», — и он опустил кольт в карман брюк.

С весенним подростковым замиранием сердца Обозов отправился на завтрак.

Опрятная проводница проводила его взглядом из другого конца вагона.

Мария Сергеевна завтракать не пришла. Напрасно Обозов ждал, вытягивая шею, безнадежно гипнотизируя дверь под пристальным взором траурной мамочки и любознательным — доченьки, жаждавшей продолжения вчерашних отношений.

Веселая пара распалась: только барышня вышла к завтраку и скучно, недовольно жевала.

Энергичный юноша в это утро также отсутствовал.

Английское семейство аккуратно кушало. Их японская гувернантка внезапно улыбнулась Обозову.

Обозов вздрогнул.

Сотоварищ Обозова прошествовал и сел на свое место. Он и Обозов переглянулись. Обозову показалось, что взгляд его как-то особенно значителен.

«Он тоже знает?.. А если — нет?.. Может быть, стоит поговорить с ним? Предупредить?»

Но сотоварищ смотрел строго, холодно, а потом и вовсе отвел взгляд.

«Нет. Рано», — решил Обозов.

Он впал в уныние, созерцая пустой стул напротив и нетронутый прибор на столе. Подумал со слабой надеждой:

«Может быть, проспала?.. Пойти, что ли? Разбудить ее... Нет, как-то неловко».

Вернувшись к себе в купе, Обозов устроился на диване с журналом в руках и попытался читать, но уронил случайный взгляд поверх журнальной страницы на серебристый замок туалетной комнаты.

«ОТКРЫТО» — призывная надпись на поворотном диске.

Обозова точно горячей волной обдало. Он сел, подавшись вперед.

«Открыто... открыто...»

Хулиганская мысль украдкой посетила его, но Обозов, устыдившись, отверг ее почти тотчас.

Отчетливые шаги послышались из коридора и стихли под самой дверью его купе.

Обозов приблизился к двери. Он, кажется, слышал чье-то хрипловатое дыхание и какой-то шелест. Обозов опустил руку в карман брюк и резко распахнул дверь.

Веселая барышня вздрогнула и шархнула от двери.

— Боже мой! Как вы меня напугали! Боже мой!

Кудельки крашенных волос плясали на ее низком, кукольно-округлом лобике.

Кто-то тенью мелькнул в коридоре и скрылся в своем купе.

Обозов запоздало выглянул в уже пустой коридор.

— Простите, я не собирался пугать вас, — сухо сказал он.

— А у меня к вам маленькое дельце, — барышня произнесла это и замолчала, ожидая приглашения.

Обозову пришлось отступить, пропуская гостью в купе. Дверь он оставил приоткрытой.

Барышня вошла и тотчас принялась с любопытством шнырять вокруг нарисованными глазками. Журнальчики полистала, коснулась ноготками Библии. Она устроилась на диване, положив ножку на ножку.

— Мой спутник... ну, Серж, вы видели его... Он несколько... Он не совсем хорошо себя чувствует...

— Вы ошиблись, я не врач. — Обозов остался стоять.

— Нет, вы не поняли, — капризный взмах ножи, — я не в том смысле, что он... а в том смысле, что... ну...

— Ну, — не слишком вежливо поторопил Обозов.

— Он вчера перебрал! — вздохнула барышня. — Попросту говоря, налился, как свинья. Так не найдется ли у вас соды? — она улыбалась с игривостью почти профессиональной. — Я понимаю, глупость, конечно, и бесстыдство, но не могу же я бросить этого парня в таком состоянии. Правда?

— Сожалеею, — сказал Обозов, стараясь скрыть улыбку. — У меня нет соды. Спросите у проводницы.

— Вы думаете? — барышня кокетливо расширила глаза.

— Думаю, у нее найдется.

— Они смотрели друг на друга и улыбались. Они хорошо понимали друг друга.

— Весь номер заблевал, сволочь, — ласково сказала барышня.

И тут поезд резко, с визгом, с лязгом затормозил и встал. Стало неожиданно тихо. В тишине этой были особенно слыш-

ны возгласы растревоженных пассажиров. Кто-то быстро, сильно топая, прошел по коридору.

— Черт поberi! — сказала барышня.

Обозов услышал и под окном взбудораженные голоса. Он увидел людей, выбиравшихся из вагонов на снег. Когда Обозов оглянулся, барышни в купе уже не было.

Обозов соскочил с металлической лесенки вагона, вдохнул морозный воздух и прошелся не совсем твердо, отвычно от неподвижной прочности земли под ногами. Он натолкнулся на проводницу или, точнее будет сказать, проводница натолкнулась на Обозова, придерживая рукой мужскую шапку, сползавшую с головы на сторону.

— Нет! Вы только подумайте, сударь! — тотчас закричала проводница басом в лицо Обозову. — Они и сами не знают, когда сумеют отправить нас дальше! И это — в двух шагах от границы! Это же надо иметь стальные канаты вместо нервов!

Обозов вежливо улыбнулся, но не успел ничего ответить: проводница умчалась в вагон.

А на площадке вагона показалась Мария Сергеевна. Лицо скрыто вуалью. Впрочем, даже через вуаль Обозов увидел, как женщина поблдевала, призадержалась на лесенке, заметив его, точно их встреча была чем-то тягостна для нее, чтобы не сказать — неприятна.

Он не решился подойти к ней — подать руку. И без него нашлись охотники помочь прекрасной даме. Он отвернулся. Подумал, тоскуя:

«Зачем, зачем только я признался ей, что боюсь женщин. Вот ведь балбес! — Он вспомнил кое-какие подробности вчерашнего разговора и расстроился окончательно. — Я был слишком робок вчера. Слишком робок, слишком откровенен. А женщины уважают силу, напористость».

И тут совсем рядом с Обозовым женский голос, очень ровный от напряжения, произнес негромко:

— Слушайте меня внимательно и не обочайвайтесь...

Обозов осторожно скосил глаза и увидел даму в трауре.

Она стояла сбоку от него и за спиной, говорила, глядя в сторону, терзая в руках объемистый ридикюль.

— Я обращаюсь к вам потому, что вы — офицер. Ваша одежда не обманывает меня. — Она усмехнулась. — Вы — офицер, я знаю... Обозов промолчал.

— Посмотрите налево, — попросила дама. — Только не сразу. Видите этого чело-

века? В желтых перчатках. Этот человек — немецкий шпион.

Обозов посмотрел не сразу, как было велено, и увидел своего сотоварища, с удовольствием созерцавшего визгливые детские игры на снегу.

Обозов невольно засмеялся.

«Этого еще не хватало», — подумал он, а вслух сказал:

— А почему вы, собственно, решили, что он...

— Не спрашивайте, — дама улыбнулась кривовато, снисходительно. — Слишком долго объяснять. Я давно наблюдаю за этим человеком. Мы с вами должны действовать. Этот человек не должен пересечь границу.

Обозов внимательно посмотрел на ее белое лицо, на ее фанатично горящие глаза, на решительно стиснутые кулачки маленьких рук.

— Хорошо, — кивнул Обозов. — Я займусь этим человеком, но вас я прошу никому...

— Не торопитесь, — морщась, остановила его женщина. — Я еще не сказала главного.

— Что еще? — спросил Обозов, похолодев.

— Он едет не один, — сказала она. — У него есть сообщник.

«Вот это номер!» — подумал Обозов даже с восхищением и, помолчав, вслух заметил:

— Вам бы в контрразведке работать. Это очень хорошо, что вы предупредили именно меня о вашем открытии.

Дама улыбнулась Обозову с благодарностью и пожала его руку своею костлявой лапкой.

Обозов огляделся, но Марию Сергеевну не увидел среди пассажиров, бездельно слонявшихся вдоль вагонов, и уныло побрел в свое купе.

Там, взобравшись на диван, он удобно устроился, сложив по-восточному ноги, и уставился на окно с той радостной детской болью обиды, которая нам так необходима для равновесия жизненных сил и означает, что мы вполне и вполне живы и можем обижаться, страдать и скулить в свое удовольствие, со всею полнотою чувств.

Между тем Мария Сергеевна, раскрасневшаяся с мороза, отворила дверь в свое купе и вошла, но тотчас отпрянула испуганно назад, увидев непрошеного, малоприятного гостя. (Но нам его увидеть не дано, разве что кончик его ботинка или руку с папиросой, или его руки, когда они, сплетясь пальцами, легли на его колено.)

— Боже мой! Почему вы здесь? Зачем? —

вскрикнула женщина.

— Не орите! — негромко приказал мужской голос. — Лучше закройте дверь и сядьте.

Мария Сергеевна закрыла дверь.

— ...А вы, моя дорогая, не очень-то стараетесь, — сказал мужчина, когда Мария Сергеевна покорно села. — Советую вам поторопиться.

— Ваши советы, Филин, оставьте при себе, — сказала она раздраженно, устало. — Эта роль не для меня! Я предупредила!

— Ну, тихо, тихо! — прикрикнул на нее Филин. — А вы, пожалуй, будете рады, — заметил он, усмехаясь, — если меня подстрелят.

— Да уж не разрыдаюсь, — Мария Сергеевна смирла собеседника презрительным взглядом.

— Только не пытайтесь хитрить! — предупредил он. — На той стороне вас все равно встретят наши люди.

Она рассмеялась, несколько, впрочем, нервно.

— Боже, как страшно! Я падаю в обморок! — А может быть, вы ему не нравитесь? — мстительно предположил Филин.

— Идите вы к черту! — вскрикнула женщина. — И перестаньте дымить. Терпеть этого не могу...

— Где он хранит документы, вы узнали?

— Что?.. А, да. Судя по всему, носит с собой, в кармане пиджака. — Она прочно замолчала, договорив фразу до конца. Стояла молча, неподвижно.

В сумерки Обозов вышел из вагона пройтись.

После двух дней созерцания стремительно убегающего пейзажа — этот был изумителен своей величественной неподвижностью. Взгляду Обозова предстало зрелище, пригодное для рождественской открытки: тяжелый синий снег на ветках мохнатых исполинских елей, мелкие яркие звезды на темном, разумеется, бархатном небе, непременный огонек далекой кирпичи, затерявшейся в снежных холмах.

Невдалеке закрипел снег. Обозов взгляделся.

Из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и вязаном колпаке, пролетел мимо и скрылся. Лицо его показалось Обозову до странности знакомым.

Он услышал, как за спиной отворилась и хлопнула, закрывшись, дверь вагона.

По металлической лесенке спускалась Мария Сергеевна, озабоченно всматриваясь в темноту. Она даже подняла с лица густую вуальку, чтобы не мешала смотреть.

Обозов, незамечаемый, полюбовался на

Марию Сергеевну.

«Изолда. Лаурал.. Нет, не то. Мимо... Лорелея! Во! Попал».

Он замахал рукой, привлекая ее внимание, крикнул издали:

— Лорелея, детка моя, дуйте сюда!

— Мария Сергеевна увидела, пошла к нему торопливо.

— Там сугроб! — крикнул Обозов. — Обойдите слева.

Она и не подумала обходить. Лезла прямо через сугроб, точно вовсе сугроба не замечала, проваливалась глубоко, почти по колено, и высоко, забавно поднимала ноги.

Обозов бросился к ней, помог выбраться из снега.

— Что вы тут? — спросила Мария Сергеевна, то тревожно глядя ему в лицо, то шныряя по сторонам тем же тревожным, ищущим взглядом.

— Гуляю. — Он тоже невольно начал оглядываться. — Вышел вот — подышать. А вы...

— Нет. Так. Ничего. Испугалась за вас, — быстро проговорила она.

— За меня? — удивился Обозов.

— Да. Впрочем, нет. Глупости все. Просто дурь всякая в голову лезет.

— Кажется, я догадываюсь, — сказал Обозов.

— Что? О чем? — Она вскинула голову.

— Бойтесь, как бы мною медведь не поужинал? Думаете, он вас увидит, испугается и даст деру в лес. Заботливая моя. Как это мило с вашей стороны.

— Боже мой, — сказала она. — Болтун вы несносный. Боже мой.

Она постаралась улыбнуться, но лицо ее против воли искривилось, губы непослушно дрогнули, кажется, готовясь к плачу.

Тогда Обозов наклонился к ней и легко поцеловал.

— Ах, как обидно, — прошептала она. — Столько времени потеряно зря.

— Отчего же зря? — сказал он. — Я так не думаю.

Они снова замерли в поцелуе. На этот раз надолго.

Бледный лик луны взирал на них с темнеющего небосклона. Их тени, слившиеся в объятии, лежали на сверкающем снегу. Призрачное мерцание звезд... ну, и так далее, все в том же духе.

О нет! Все понял ты, жестокий!

Что ж, если хочешь ты,

чтоб скорбь свою и боль

Я излила перед тобой, — изволь.

Распустив по плечам мягкие волосы, Мария Сергеевна стояла у двери в узком проходе. Ее уродливая черная тень металась

по стене купе, отделанной тисненой кожей.

Да, я тебя люблю. Но ты считать не вправе,

Что я сама влеклась к пленительной отраве,

Что безрассудную оправдываю страсть.

Нет, над собой, увы, утратила я власть.

Я, жертва жалкая небесного отмщенья,

Тебя — гневлю, себе — внушаю отвращенье.

То боги!.. Послана богами мне любовью!..

Мой одурманен мозг, воспламенилась кровь!..

Но тщетно к небесам я простираю руки,

Взирают холодно они на эти муки.

Обозов чистил апельсин, уютно устроившись на диване у окна. Мария Сергеевна представляла собой такое своеобразное зрелище, что приходилось сдерживать себя, чтобы не рассмеяться.

Чтоб не встречать тебя, был способ лишь один,

И я тебя тогда изгнала из Афин. Ждала я, что в тебе

укоренится злоба К твоей обиднице —

и мы спасемся оба. Да, ненависть твоя росла,

но вместе с ней Росла моя любовь. К тебе

еще сильней Влекли меня твои

безвинные мученья; Меня сушила страсть,

томили сновиденья. Взгляни — и ты поймешь,

что мой правдив рассказ. Но нет, ты на меня

поднять не хочешь глаз. Кто б из живых существ

мой жребий счел завидным? Не думай, что с моим

признанием постыдным Я шла сюда к тебе. О нет!..

— Голубчик, душенька! Павел Алексеевич, что ж вы смеетесь?! — Мария Сергеевна огорченно всплеснула руками и замерла.

— Простите, — сказал Обозов. — Бога ради, простите. Но, по-моему, вы здорово надули вашего американца.

— Хотите сказать, я плохая актриса?

— Да вы не плохая актриса. Вы просто никакая не актриса. Кому вы нужны в этой

вашей Америке?!

— Да ну вас в болото. Вы меня расстроили,— сказала Мария Сергеевна.

Впрочем, она совершенно не была расстроена. Кажется, она и сама понимала, знала, что никакая она не актриса.

— Ловите! — сказал Обозов и бросил Марии Сергеевне четверть апельсина.

Она поймала.

— Эх вы,— сказала она, усаживаясь на столик.— Могли бы хоть вид сделать, что я вам нравлюсь.

— Вы мне нравитесь,— серьезно подтвердил Обозов.— Вы мне очень нравитесь. Без дураков.

Она посмотрела на него.

Он посмотрел на нее.

И они засмеялись.

— Да,— кивнула женщина.— Я вполне бездарна. Но ведь надо же как-то жить, что-то делать. А я ничего не умею.

«Выходите-ка за меня замуж»,— подумал Обозов и сказал:

— А вы на машинистку выучитесь. Говорят, это не так сложно.

— Бездарная, бестолковая жизнь,— с сожалением пробормотала Мария Сергеевна, жуя апельсин.— Вы правы.

Обозов спросил, внимательно ее рассматривая:

— Послушайте, а ваша семья, где она? Ведь есть же у вас папа, мама, тетя какая-нибудь или сестра...

— Сестра? — Она вдруг расхохоталась.— О, да! Сестра есть. Сука,— добавила она с таким удовольствием, что Обозов вздрогнул.

— Представьте себе, мне — семнадцать лет. Я понимаю, это нелегко представить...

— Нет, отчего же,— нетвердо пробормотал Обозов.

— ...но вы попробуйте. Семнадцать лет — прелестная барышня, дура набитая и, конечно,— любовь! Кошмарная любовь. Восхитительная. Бешеная. Море нежности. Ну и, конечно, катанье в лодке на рассвете, по вечерам, Шопен в гостиной, ромашки в волосах... что ж там еще? Словом, весь этот дивный кошачий бред.— Она рассказывала с тем лихорадочным, презрительным весельем, с каким говорят о давней, но забытой боли, но вдруг притихла, вспомнив.— Знаете это ощущение, когда просыпаешься — от счастья, то есть просыпаешься потому, что задыхаешься от счастья, и уже не можешь заснуть. Знаете?.. Мы собирались обвенчаться. Но у меня была сестра! Старшая. Такая тихая-тихая. Такая кроткая-кроткая. Дрянь. Старая дева.— Лицо Марии Сергеевны стало некрасиво, почти безобразно от приступа ненависти.— А родители их приняли. Папочка с мамочкой считали, что я должна все понять, понять его, понять

сестру. Понять их и простить. И вот тогда я ушла из дому. С тех пор прошло двенадцать лет.— Мария Сергеевна закончила с недобрый торжеством: — И я с тех пор. Ничего. О них не знаю. И не хочу знать... А вы меня осуждаете,— она засмеялась.— Я вижу, вижу, осуждаете. Обозов пожал плечами.

— Я вам не судья,— сказал он.— Но зачем вы так злоблены? Ведь столько лет прошло, а вы и теперь еще полны ненависти,— он говорил, коротко посматривая на женщину и отводя взгляд, ему было неловко смотреть в ее насмешливые глаза.— Пожалейте себя. Нельзя же так. Надо учиться прощать. Уж если не о душе, то хоть о морщинах подумайте. Злая женщина и стареет прежде доброй.

Она усмехнулась.

— Уговорили. О морщинах я позабочусь. Обозов смотрел на нее без улыбки.

— Что? — спросила она кокетливо.

Он не ответил. Он как будто и не услышал ее. Он в самом деле ее не слышал.

— Ну что? Что? — нервно спросила она, не понимая его взгляда.

Обозов провел ладонью по лицу, избавляясь от воспоминания, отталкивая его, и встал. Он взял ее шубку.

— Одевайтесь,— приказал он женщине.

— Зачем?

— Одевайтесь, одевайтесь. Идемте,— он встряхивал нетерпеливо ее шубку.

— Куда еще? — спросила она, послушно влезая в рукава.

Он не ответил.

— А вы sentimentalны,— с печальной усмешкой заметила Мария Сергеевна, когда, после недолгого путешествия по тропинке, Обозов привел ее к маленькой островерхой кирхе с длинными узкими окнами, со стрельчатым дверным проемом.

Через сумрак притвора они прошли в среднюю часть храма. Внутри кирха не была такой маленькой, как казалось снаружи.

Мария Сергеевна смотрела на темные лики святых с настороженным любопытством.

— Холодно,— сказала она.

Обозов взял ее за плечо, повел вперед. Остановился. Он стоял сбоку и чуть позади нее, почти за спиной. Так что, когда он говорил, слова его раздавались возле самого ее уха.

— Молиться вы, конечно, не умеете,— сказал он.— Повторяйте за мной... Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Она повторила.

— Крест.

Она перекрестилась.

— Не так. Руку ниже опускайте.— Он

взял ее руку в свою и перекрестил ее, показал, как надо.

— Что вы со мной, как с ребенком,— тихо возмутилась она.

— Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе,— сказал он улыбаясь.

— Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе,— повторила она.

Он говорил дальше. И она повторяла за ним. Его голос, интонации были будничны, неторопливы. Он говорил просто, точно все эти слова были его собственные, а не произнесенные другим человеком тысячу лет назад.

— Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому, согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре твоём и чист в суде Твоём. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня...

Мария Сергеевна не повторила последних слов.

— Я больше не могу,— сказала она.— Мне страшно.

— Хорошо,— сказал он.

— Я сейчас заплачу,— пообещала она, оглядываясь на него.

— Валяйте,— сказал он.

И он говорил дальше. И она повторяла за ним.

— ...Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь,— я дал бы ее; к всеожожению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже...

Так они говорили, и голоса их поднимались вверх, к высоким, легким сводам храма.

Когда они вышли за дверь, Мария Сергеевна опустила на каменные ступеньки

храма, прижала подбородок к коленям.

Отсюда, сверху, была видна людская суэта возле вагонов. Паровоз уже дышал, шумно, жарко.

— Пора,— сказал Обозов.— Пойдемте. А то опоздаем.

Он медленно пошел к поезду.

Мария Сергеевна подняла лицо, посмотрела, как он идет по тропинке, оглядела темную стену леса и голубые звезды над ними.

— Господи,— сказала она,— я не могу так больше. Господи, сделай же что-нибудь.

Длинно загудел паровоз.

Поезд еще не покачивался, еще стоял.

Обозов вышел в коридор. Он хотел постучать в дверь Марии Сергеевны, уже и руку поднес, чтобы стукнуть, но дама в трауре прошла из одного купе в другое с головою, обвязанной полотенцем, бормоча на ходу:

— Невозможно. Это невозможно. Это просто невыносимо, наконец.

И Обозов невольно отвлекся. Он увидел через окно, как из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке и вязаном колпаке и вспрыгнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника и вообще страшно знакомое лицо.

Теперь Обозов узнал его — тот энергичный молодой человек с холодными серыми глазами, что был так несимпатичен Обозову.

Поезд дрогнул, медленно двинулся, постепенно ускоряя и ускоряя ход.

Мария Сергеевна, мрачная, тоскливая, сидела на диване, по-бабьи прочно, крепко опершись локтями о бедра, свесив меж широко расставленных колен сцепленные кисти рук.

Потом она тяжело поднялась и скучно, обреченно принялась одеваться.

Вот уже все было подготовлено, разложено на покрывале дивана, легчайшее, переливчатое, ажурнейшее — от трусиков, корсета и чулок до платья с вышитым лифом, до длинной костяной шпильки для волос и бархотки для шеи.

Мария Сергеевна отвлеклась, увлеклась, забылась, пока тщательно застегивала крючки корсета, бережно натягивала чулки. Покончив с женским обмундированием, она проверяла прически, сменила то одну, то другую, ища единственно возможную и необходимую теперь. Одевание — процесс довольно долгий, но еще более долго и придирчиво Мария Сергеевна «одевала» лицо:

тон для лба, носа, подбородка — один, для щек — другой, краски для век, бровей, ресниц, губ. Напоследок прошла пудрой и обратилась к духам. Мария Сергеевна примерила перед зеркалом разнообразные улыбки, выражения всезнающей печали, тихой задумчивости, угрюмой страсти, нежной преданности. И, конечно, туфли, туфли — наиважнейшее в женщине! — узкий ремешок обнял тонкую щиколотку.

Из милой, несколько усталой женщины Мария Сергеевна постепенно превратила самое себя в львицу полусвета.

— Неотразима, — сказала самой себе, любясь в зеркало. — Вот ведь идиотка! — и вышла из купе.

Веселая влюбленная пара стояла у окна в коридоре. Мужчина обнимал свою барышню за талию, а она, через плечо своего кавалера заметив Обозова, весело Обозову улыбнулась и махнула ручкой. И мужчина, оглянувшись, улыбнулся Обозову тоже.

Тогда и Обозов покивал им, поулыбался, как старым добрым знакомым, в глубине души даже несколько завидуя однозначной легкости их отношений.

«Елки-палки, — подумал он удивленно и недоверчиво. — Да ведь я, кажется, влюбился, как гимназист, как мальчишка. Вот это номер!.. Надо как-то с этим... Надо это как-то...»

Но ни справляться с этим, ни избавляться от этого ему вовсе не хотелось. И тут Обозов услышал, как дверь за его спиной щелкнула замком, отворяясь.

Мария Сергеевна стояла перед ним.

И, увидев ее, Обозов понял, как же он соскучился по ней за эти четверть часа, что ли? Или сто лет?

Они в сотый раз стояли в коридоре или сидели в купе, молча или произнося слова, не имеющие, казалось, особого смысла, боялись своих движений, случайных прикосновений рук. Когда встречались их глаза — пропадал шум поезда и останавливалось время.

Они ужинали в вагоне-ресторане.

Загадочный, несимпатичный Обозову пассажир, этот молодой человек, прошел и сел на свое место.

Обозов сказал:

— Забавный юноша, однако. Не люблю поспешных суждений о людях, но — верите ли, милая Мария Сергеевна, — этот спортсмен мне чем-то глубоко неприятен.

Мария Сергеевна посмотрела, встретилась на мгновение взглядом с юношей и поспешно

отвернулась к окну.

Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном проплывали красные домики из ибсеновских пьес, обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты.

Мария Сергеевна проговорила:

— Вон на горе — видите? — краснеет крыша. Прожить бы в том домике до весны. Может быть, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты.

— И вы бы не соскучились одна? — спросил Обозов, ковыряя вилкой в тарелке.

Женщина не ответила.

Он поднял на нее глаза и оторопел, увидев на ее лице такую тоскливую муку, такое смятение, какое возможно разве что у людей, всерьез подумывающих о самоубийстве.

— Выскочить тайно от всех, без багажа, остаться на зиму, — прошептала она быстро, лихорадочно, но увидела, как Обозов смотрит на нее, и улыбнулась по возможности легкомысленно, как если бы все сказанное ею было шуткой. — Безумство, конечно, — сказала она.

А потом они сидели в ее купе и долго молчали.

— Послушайте, — сказал наконец Обозов, — ну зачем, зачем вам Америка? Вы же пропадете одна.

Она посмотрела на него, хотела ответить, хотела сказать, видимо, что-то очень важное, что-то мучительное для нее.

Но у открытой двери ее купе появился толстяк в помятом мышьином жилете. Он проходил мимо и, взглянув на красивую даму, неожиданно споткнулся, выронил сигару.

— Виноват, — сказал он, наклоняясь, и снизу, внимательно посмотрел в лицо Марии Сергеевны.

У нее вдруг задрожал подбородок от смеха.

Толстяк прошел.

Обозов затворил дверь.

Мария Сергеевна продолжала смеяться. Тогда Обозов притянул ее к себе, обнял и стал целовать.

— Только не это. Ради Бога. Не надо! — вскрикнула она с таким отчаянием, что он сразу отпустил ее, не вполне понимая.

— Простите, — и быстро вышел.

В коридоре Обозов столкнулся с кем-то, живо отскочившим в сторону.

Обозов резко обернулся: перед ним стояла толстая девушка, юная дочка прозорливой дамы в трауре.

— Чем могу быть полезен? — строго спросил Обозов.

По лбу девушки, по скулам ее пошли красные пятна. Она облизала губы и начала

выговаривать медленно, трудно:

— Мне мама говорила, что вы согласились...

— Погодите,— остановил ее Обозов.— Зайдите-ка сюда.

Он быстро оглядел коридор из конца в конец: коридор был пуст.

— Так что же ваша мама? — спросил Обозов, когда девушка зашла в купе и остановилась.

Они стояли близко друг к другу. От робости, недоступной пониманию Обозова, девица едва решалась поднять на него глаза. Она проговорила небыстро и отчетливо:

— Мама сказала, что она вам сказала о шпионах, которые будто бы в поезде. Вы, пожалуйста, не обращайтесь внимания. Она у меня всюду шпионов находит. Она не сумасшедшая, нет, нет, вы не подумайте.

Обозов мелко закивал, соглашаясь:

— Я вовсе так не думаю, конечно, не думаю.

— Это у мамы с тех пор, как Володку убили, а потом еще и папу — тоже. Мама все равно все забудет,— пообещала девица, осмелев, вскидывая на Обозова телячьи глазки.— Даже про то, что вам о шпионах лягнула,— тоже забудет. Она лекарство перед сном примет, а когда выспится, то все и пройдет. Вы уж не предпринимайте, пожалуйста, ничего. В полицию, то есть, не обращайтесь.

Обозов слушал ее, глядя в склоненный пробор волос, в большие глаза. Нечаянный жест сострадания — он погладил ее по плечу и поцеловал в голову — заставил девицу сжаться и окаменеть.

Глубокой ночью Обозова разбудил какой-то шум. Обозов сел, не сразу осознав, чутко вслушиваясь, машинально проверив сохранность пакета в кармане и приготавливая кольт, спрятанный под подушку.

Недолгий пронзительный вскрик нарушил тишину. Кричала женщина.

Обозов, полуодетый, выскочил в коридор.

Он сразу увидел в другом конце его насмешливо улыбающееся лицо своего сотоварища, совершенно одетого и бессонного, с папиросой и книгой в руке. За его спиной стояла проводница, простоволосая, страшная со сна, в пальто поверх чудовищной приютской ночной рубахи.

Между тем стало явным, что в одном из купе происходит драка, через отворенную дверь выплескиваясь иногда в коридор: дралась веселая пара. Барышня визжала, прерывисто ругалась и пыталась выбраться из купе, а ее спутник не пускал свою дорожную подружку, рассчитывая выяснить сложные отношения при помощи кулаков и без привлечения посторонних лиц.

— Я тебе не кто-нибудь там, сволочь ты подзаборная! — орала барышня.— Я и до суда могу дойти!

Защелкали, отворяясь, двери других купе.

Обозов увидел, как крепкая мужская рука ухватила барышню за волосы, и поспешил на помощь.

— Оставьте женщину! Прекратите... это...

Слова не возымели должного действия, и тогда Обозов несильным, но точным ударом отправил драчливого любовника в нокаут.

— А тебе чего надо? — удивилась барышня, развернувшись к Обозову.

Лишь теперь Обозов увидел, что барышня совершенно пьяна.

— Ты-то чего суешься?! — заорала она.— Тебя-то кто звал, кобель хренов?! Пошел отсюда! — орала барышня, отпихивая Обозова ладонью в лицо.

Бедный благородный рыцарь, не ожидавший такого поворота, отступил в растерянности, но зацепился ногой за ковер в коридоре и пренелепейшим образом упал.

Проводница вполне проснулась и захохотала.

— Но позвольте...— умолял Обозов с полу, пытаясь закрыться руками от болезненных ударов барышни — туфлей по голове.

И тут он увидел Марию Сергеевну, увидел ее испуганное и оттого еще более прекрасное лицо, без косметики, окруженное растрепанными волосами, такое очаровательно домашнее, уютное, что Обозов отвлекся от глупейшего положения, в котором он оказался, и только все закрывался и закрывался от ударов туфлей.

Энергичный молодой человек с холодными глазами без особых церемоний скрутил барышню нежные ручки за спиной и, втолкнув ее в купе, затворил за нею дверь.

— Однако,— сказал он, наклоняясь к Обозову.— Как она вас!

Обозов не отозвался, любуясь прекрасной дамой.

Тогда и молодой человек перевел взгляд на Марию Сергеевну.

— Спокойной ночи,— сказала Мария Сергеевна обоим мужчинам, запахивая на груди кружевной пеньюар, и ушла к себе.

Покачивались спящие вагоны. Редкий свист паровоза как приветствие встречному поезду. Перестук колес.

В призрачном свете ночных лампочек по коридору прошел сотоварищ Обозова и, остановившись возле купе Марии Сергеевны, негромко постучал в дверь.

Синий полумрак был и здесь, в купе, но и при таком скудном освещении было отчетливо видно замешательство на всегда непро-

нищаемом лице Филина. Он вертел в руках папиросу, сидя на краю дивана.

— Чего вы ждете? — грубовато спросила Мария Сергеевна. — Что вам еще нужно? Я все сказала. Убирайтесь отсюда.

Женщина была устала, но спокойна и решительна. Филин терял власть над ней. Не только и не столько потому, что от нее зависел исход дела, — в крайнем случае Филин мог бы обойтись без этой полинялой красотки, хотя и с риском для собственной жизни, — но потому, что он всегда любил и стремился подчинять своей воле окружающих, именно поэтому он испытывал теперь острый приступ раздражения. Принудить строптивницу к послушанию — из принципа, а не из интересов дела — вот что ему более всего хотелось теперь.

— А на что вы, собственно, рассчитываете? — спросил Филин. — Сбежать надеетесь?

Она улыбнулась.

— Признаться, я об этом не думала, но мысль неплохая. Почему бы нет?

— С ним что ли?! — Филин оскорбительно ухмыльнулся, кивнув на стену, за которой теперь мирно почивал ничего не подозревающий Обозов.

— О, Боже! — Мария Сергеевна даже рассмеелась, впрочем, смех ее был невесел. — Он и я, — сказала она и повторила: — Он! — тоном нежности и преклонения. — И я, — с брезгливой усмешкой. — Какая нелепость. Он чист, благороден. Он наивен и доверчив как ребенок. Я могла бы обмануть его в два счета, — она говорила, деловито щурясь, почти мечтательно. — Я запросто выкрала бы эти ваши документы, а потом, пожалуй, женила бы его на себе, убедила бы не возвращаться в Россию, мы уехали бы куда-нибудь... хоть в ту же Америку. И все это я бы так хитро повернула, что он бы еще благодарил меня за всю эту подлость, — Мария Сергеевна вдруг переменилась в лице и закончила совершенно другим тоном, — эту мерзость... Но вы ошиблись, Филин. Я не стану этого делать.

— Станете, милая моя, станете, — сказал Филин. — Женить его на себе или нет — это ваше дело, а вот насчет документов... Куда вы денетесь? Вы же уголовная преступница. Вы же сами понимаете, что вас там встретят, — он кивнул головой в ту сторону, куда мчался поезд. — Встретят, арестуют. И вы сделаете то, что от вас требуется, а потом катитесь на все четыре стороны. Билет на паромод у вас есть. Так ведь?

Он говорил, а Мария Сергеевна слушала его, скучно отвернув лицо. Когда Филин кончил свой неубедительный, бесполезный монолог, она посмотрела на него и сказала:

— Поймите, мне безразлично, что со мной будет. Я устала от вас, Филин. Идите спать.

Она смотрела с высокомерным презрением и грустью, словно сожалела, что Филину не могут быть понятны ее чувства. Наивная дура. Филин вдруг все понял. Он понял, что надо с нею делать, что сказать ей.

— Ну что ж, ладно, — он встал. — Но мне казалось, что этот человек дорог вам, что его жизнь...

— Что?! — она тревожно вскинула голову. — Что же вы хотите...

— Как же вы не понимаете, — удивился Филин, — если за дело возьмусь я, мне, быть может, придется... уничтожить его. А зачем лишние бессмысленные жертвы? Я вовсе не хочу его крови, а вы меня вынуждаете.

— Я — вас?!

— Рыбонька моя, — сказал он ласково, — а что же вы думаете, что от перемен вашего настроения должен зависеть исход нашего дела?

Он с удовольствием смотрел на ее согорбленную спину, на ладони, стиснутые в кулачки, — она прижимала их ко рту.

— Я вовсе не собираюсь принуждать вас, — сказал он. — Вы сами все решили. Воля ваша. В конце концов, вы — свободный человек, — он шагнул к двери.

И тут она сказала, глухо, обреченно:

— Стойте.

Обозов спал.

Дверь туалетной комнаты осталась незапертой. «ОТКРЫТО» — было написано на поворотном диске замка. Замок тихо щелкнул. Дверь туалетной комнаты начала медленно приотворяться.

Мария Сергеевна вошла в купе Обозова и остановилась над спящим. Некоторое время она рассматривала его спокойное лицо, а потом скользнула к двери, где на крючке аккуратно висел обозовский пиджак.

Обозова разбудил шорох. Еще не вполне проснувшись, он тотчас понял, что это — она. Он улыбнулся и не сразу открыл глаза, а когда открыл, то улыбка гримасой застыла на его лице.

Мария Сергеевна торопливо копошилась над его пиджаком, отстегивая булавки на внутреннем кармане.

Обозов молча смотрел на нее. Он не хотел верить. Возможно, что он не двинулся бы с места и тогда, когда женщина стала бы уходить, унося пакет с документами с собой. Но она почувствовала его взгляд, почувствовала, что он не спит и смотрит на нее.

Мария Сергеевна замерла, а потом медленно обернулась к Обозову, глядя с ужасом.

— Я хотела только посмотреть... Мне не нужно... Я все на место сейчас...

Он молчал и смотрел на нее.

— Я не могла иначе... Он приказал... Он не пожалеет...

Но он смотрел на нее молча.

— Он убил бы вас... Я ничего не трогала, возьмите...

— Вы с ума сошли,— прошептал наконец Обозов.— Вы с ума сошли... Положите пиджак.

Она стояла, дрожа, прижавшись к стене, точно ждала, что ее могут ударить.

Обозов сел и торопливо, неловко натянул пиджак.

— Отвернитесь,— приказал он.

Она послушалась.

— Я был неправ,— сказал Обозов, натягивая брюки.— Я ошибался. Вы очень хорошая актриса. Так ловко вы все это...

— Нет, нет, нет! — быстро проговорила она.— Все это неправда. Я люблю вас. Вот ведь беда.

— Не смейте! — вскрикнул он каким-то не своим, чужим тонким голосом. Обида его была бессильная, сродни детской. Он боялся заплакать.

— Верьте мне, прошу вас,— сказала она глухо.

— Сядьте,— сказал он.

Она села, не отрывая от Обозова глаз. Он спросил, стараясь не смотреть на нее:

— Вы едете не одна? С вами спутник? Она кивнула.

— Вы должны были передать ему украденные документы?

Кивнула.

— Он в нашем вагоне?.. Кто? Мальчишка в вязаной шапке?.. Нет? А кто?

— Филин,— сказала она.— Это тот человек,— она показала жестом длинное лицо,— у него еще перчатки такие... желтые, а в ресторане он сидит рядом...

— Кто?! — шепотом закричал Обозов.

— А что? — не поняла Мария Сергеевна. Обозов молчал.

— Павел Алексеевич...

Он молчал.

— Верите вы мне или нет,— снова начала Мария Сергеевна,— а я люблю вас. Да, я — продажная, я — воровка, но я не виновата. Милый мой, родной...— она потянулась к нему дотронуться до его руки.

Но Обозов отстранился с такой гадливостью, что Мария Сергеевна, так и не тронув его руки, опустила свою.

Он вдруг горько засмеялся.

— Вон отсюда,— сказал он.— Вон.

Она поднялась и тихо вышла.

По сумрачному, шаткому, спящему коридору Обозов добрался до нужного ему купе и, стукнув, отворил дверь.

Филин, одетый, дремал на постели. Тотчас проснувшись, сел.

Обозов молча смотрел на него, не переступая через порог.

— Что? Что такое? — спросил Филин,

обеспокоенно всматриваясь в лицо Обозова.

— Нам надо поговорить,— не сразу сказал Обозов.— Это очень срочно. Идемте,— и первым направился по коридору на площадку вагона.

Обозов шел и слышал за спиной мягкие шаги.

Они вышли на площадку. Неожиданно открылось изумительное зрелище: поезд огибал крутой склон горной гряды, лежащей подковой, и глубоко внизу, куда отвесно падали скалы, расстиралось огромное и длинное озеро, залитое лунным светом. Круглая луна невысоко висела над щетинистым хребтом.

Филин протянул Обозову раскрытый портсигар.

— Что стряслось? Мы не должны встречаться... Разве вас не предупредили? — спросил он хмурясь.

Обозов молча смотрел на Филина и не брал папирос.

— Прошу вас,— сказал Филин, самоуверенно усмехаясь. Видимо, он был убежден, что Обозов, этот мальчишка, в его руках.

— Да не курю я,— сказал Обозов, глядя с холодной брезгливостью, и увидел, как Филин поблдевал, вдруг все поняв.

— Сукин ты сын,— сказал Обозов.— Предатель. Тварь. Еще и женщину вместо себя... Трус.

И увидел, как перекошилось от бешенства лицо Филина.

— Сопляк,— тихо, сквозь зубы, сказал Филин.— Ты. Сопляк.

Обозов опередил его, ударил первым.

Папиросы рассыпались. Портсигар упал.

Драка их была недолгой. Уточнение ее подробностей, пожалуй, разумнее предоставить актерам. Очень не хочется быть умозрительной и не точной.

В конце концов Филин исхитрился-таки извлечь револьвер, но Обозов перехватил его руку.

Короткий выстрел. Удивленные глаза бывшего сотоварища. Аккуратная дырка в его боку. Неживое мягкое тело на сыром полу у ног Обозова.

Обозов обыскал его карманы, вынул документы, какие-то бумаги, а потом, приподняв мертвеца, перебросил его через железную решетку площадки.

Тело, подхваченное землей, перевернулось, подскочило и тряпичной куклой покатило по обрыву к озеру.

Обозов, перегнувшись, глядел на него. За поворотом все скрылось.

Обозов ногой толкнул с площадки портсигар и, покачиваясь, вошел в вагон.

В купе он тяжело опустился на диван,

бросил на столик бумаги и застыл, откинувшись на бархатную спинку.

Утром, когда лакей в бакенбардах, не достучавшись, приотворил дверь купе, Обозов, одетый, невыспавшийся, всклокоченный и небритый, сидел на диване.

— Пожалуйста завтракать,— произнес лакей смущенно, чувствуя себя несколько виноватым, что застал господина в таком удручающем виде.

Дверь затворилась. Обозов машинально тронул пиджак — проверить — и опустил руку на одеяло. А потом — лег, ткнувшись головой в подушку. Не хотелось, ой как не хотелось ему проспать в это утро, снова начинать день, такой бессмысленный теперь, такой пустой.

В ресторан Обозов пришел последним. Все уже завтракали.

Веселая пара жизнерадостно хихикала и ворковала за своим столиком. Они там, как ни в чем не бывало, кормили друг друга с вилки, украдкой ласково толкаясь коленями под столом.

Английское семейство старательно не смотрело в их сторону.

Дама в трауре пристально посмотрела на Обозова, явно намереваясь сказать что-то или спросить о чем-то.

Сев на свое обычное место, Обозов отвернулся к окну.

Официант принес поднос, поставил перед ним.

Место напротив было пусто. Тарелка — отвратительно чиста. Салфетка — не смята.

Обозов ел машинально, вяло, уставившись слепыми глазами в спинку стула напротив.

Он уже пил кофе, когда дама в трауре крепко села на этот самый стул — дура — и, навалившись локтями и пышным бюстом на скатерть, наступая под столом ногами на ноги Обозова, проговорила, интимно приглушая голос:

— Дружочек, вы не полагаете, что нам следует прихватить чего-нибудь с собой для нашей болящей? А то ведь совсем захачнет.

— Что?! — Обозов не понял из сказанного ровным счетом ничего, но похолодел от предчувствия.

— Ну как же, ваша... простите, наша... Как?! — изумилась дама. — Вы не знаете?! — Она явно была рада поведать новость Обозову. — Эта милая дама, ваша соседка, она заболела, бедняжка. Мы предполагали инфлюэнцу, но нашелся доктор, очень, очень милый человек, он сказал, что это у нее нервическое, но припадок скоро пройдет. Скоро-то оно, конечно, скоро, но когда сва-

ливаешься в пути, в грязном вагоне...

Обозов встал, не дослушав.

— Простите,— сказал он, уже двинувшись из ресторана к выходу.

— Ах, что вы, что вы, я так вас понимаю,— со значительной, извиняющей улыбкой отозвалась любезная дама.

В купе был полумрак из-за опущенной на окне шторы. Мария Сергеевна, полудетая, лежала на диване. Худые голые руки на покрывале, лихорадочный румянец, конечно, волосы, красиво разметавшиеся по подушке, влажный лоб, зареванные носовые платки, валявшиеся там и здесь, ну, и все такое прочее. Словом, у Марии Сергеевны был вид, вполне достойный сострадания, но Обозов легко придавил мелкое предательское чувство, шевельнувшееся в его душе.

— Вы?! — прошептала она, не веря глазам. — Это вы...

Обозов положил на столик узкий длинный конверт.

— Это ваши бумаги,— сказал он. — Я нашел их у него...

— Какое счастье. Я хотела видеть вас...

— Вам не о чем беспокоиться. Здесь билет на пароход, деньги...

— Но я не смела, не решалась просить вас прийти...

— ...ваши документы.

Мария Сергеевна рассеянно посмотрела на конверт.

— Ах, это уже неважно,— сказала она. — Моя судьба уже решена. Эти люди, они ведь все равно меня там встретят. Сядьте, милый мой, сядьте сюда. Мне так нужно объясниться.

— Не нужно никаких объяснений. Зачем? — сказал Обозов, садясь в ноги, как можно дальше от нее, как можно ближе к двери.

— Все совсем не так, как вы думаете,— начала она.

— Да я об этом уже и вовсе не думаю. Успокойтесь.

— Врете,— сказала она, нервно смеясь, недоверчиво всматриваясь в его лицо. — Врете ведь.

— Ну и вру,— согласился он. — Вам-то что за дело?

— Мне очень даже дело! — вскрикнула она. — Поймите, у меня не было выбора. Я хотела сохранить вашу жизнь. Он убил бы вас. Поймите вы это.

— Жизнь,— усмехнулся Обозов. — Я — офицер, Мария Сергеевна. Для меня честь дороже. Нам не о чем говорить. Простите.

Она смотрела на него жадно, с ожиданием, явно не понимая то, что он говорит, пытаясь отыскать в его словах смысл, нужный ей, и не находя его.

— Пожалейте меня,— взмолилась она,

пытаюсь коснуться его руки.

— Жалею, — сказал он, отстраняясь.

— Вы же ничего не знаете обо мне, о моей жизни!

— Не знаю, — кивнул он. — Зачем мне ваша жизнь? У меня своя. Своя служба, свой долг. А у вас — своя служба, свой... свои понятия о долге.

— Какой долг? Боже мой! При чем здесь долг? О чем это вы? Боже мой! О чем вы говорите? Я люблю вас, поймите. Если бы вы знали, милый мой, как я вас люблю, как я вас ненавижу, если бы вы знали.

— Вы лгали. Вы все время лгали, — сказал он, опустив голову, не глядя на женщину, с болью, которую хотел бы скрыть и от нее, и от самого себя.

— Да нет же! Нет! — закричала она радостно. — Я очень старалась лгать, но у меня не получилось...

Обозов встал.

— Не оставляйте меня, — тихо попросила она. — Вы не можете, вы не смеете.

— Мне очень жаль, — сказал Обозов. — Я ничем не могу вам помочь.

Тогда Мария Сергеевна сунула руку под подушку, вытащила маленький револьвер и начала целиться.

Обозов, стоя в дверях, пожал плечами.

— Поднимите предохранитель, — сказал он.

Мария Сергеевна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку.

— Будьте вы все прокляты, — пробормотала она.

— Прощайте, — сказал он.

Женщина вскинула руку и изобраила прощальный жест, фривольно-дружеский, насмехаясь и над Обозовым, и над собой.

Обозов не сразу вышел из купе.

Несколько времени спустя вид за окном переменился. Явные приметы городской окраины проплывали перед глазами Обозова: высокие кирпичные трубы какой-то фабрики, каменные многоквартрные строения сумрачных рабочих кварталов. Ажурный мост прополз в стороне.

Вот уже и вокзал надвинулся крытым перроном, — отчего в купе сразу потемнело, — как обещание большого города с электрическим освещением, многочисленными магазинами и кафе, с автомобилями.

Обозов сидел в купе, даже одетый к выходу. Чемодан лежал на диване рядом.

Поезд встал заскрипев.

Обозов посидел еще, не торопя, отодвигая начало новой, иной какой-то жизни, наверное, лучшей, чем была жизнь в минувшие дни — лживая, нежная, подлая, — но он отчего-то жалел о ней.

Обозов вышел в коридор — дверь соседнего

купе была закрыта — и пошел прочь из вагона.

На перроне он ожидал у контроля вместе с другими пассажирами, но стараясь быть чуть в стороне от их суетливой многоголосой толчеи.

Веселая пара уже прошла на ту сторону металлической ограды, и там они разлучились: мужчину встретила женщина, судя по обращению с ним — привычному, хозяйски-радостному, хлопотливому — жена, она тотчас принялась то ли жаловаться на что-то, то ли выговаривать что-то мужу, а его попутчица, хорошенькая барышня, подмигивала тайком своему спутнику, прощаясь, взмахивала ручкой, — он смотрел ей в глаза с лукавой благодарностью. Так легко они расстались и разошлись в разные стороны, сразу же позабыв друг о друге.

Мария Сергеевна все не выходила из вагона.

«Ревет, наверное», — подумал Обозов, оглянувшись на темные окна вагона.

Зато он быстро определил среди встречающих тех двоих, что поджидали Марию Сергеевну — мужчину и женщину, чем-то едва уловимо напоминавших того неудачливого паренька, безжалостно убиенного Обозовым.

Мужчина курил, облокотясь о решетку ограды, поглядывая на дверь вагона.

Обозов видел, как эти двое вдруг переменили позы.

Спины их стали прямы, взгляды — напряженны. Они изобразили нечто вроде собачьей стойки, как будто обнаружили добычу.

Обозов проследил их взгляды.

По лесенке вагона спускалась Мария Сергеевна, рассеянно оглядываясь по сторонам. Она увидела встречающих, замедлила шаг и — пошла вперед, деревянно передвигая ноги.

Мужчина отбросил сигарету.

Мария Сергеевна подошла и обреченно остановилась у контроля вместе со всеми. Обозова она не замечала, или, что вернее, делала вид, что не замечает: слишком уж старательно она не смотрела в его сторону.

Обозов взглянул на бледное ненакрашенное лицо женщины, поджидавшей Марию Сергеевну, и подошел к Марии Сергеевне.

Он крепко взял ее за локоть, повел за собой.

И она пошла за ним, удивленно взглядывая на него, чувствуя, что это — спасение, но еще не позволяя себе обрадоваться.

Обозов пробрался через толпу, отдал чиновнику свой и ее билеты.

Он провел Марию Сергеевну мимо тех двоих, поджидавших. Краем глаза, злорадствуя, отметил их растерянно вытянувшиеся лица.

— Павел Алексеевич,— пролепетала Мария Сергеевна, глядя снизу в его лицо влюбленными благодарными глазами,— если бы вы...

— Молчите,— приказал он сквозь зубы.— Бога ради, молчите. Прошу вас.

Сейчас она была ему жалка и отвратительна еще более, чем прежде.

Они молча ехали в автомобиле, встречавшем Обозова.

Мария Сергеевна часто поворачивала к Обозову голову, но он упорно не смотрел на женщину, и она, поняв, что ему неприятно ее видеть, перестала искать его взгляд.

Она забилась в угол сиденья и просидела неподвижно всю дорогу до самой гостиницы.

Молча и не глядя друг на друга, стояли они перед конторкой портье в гостинице.

Когда Обозов получил ключ и повернулся, женщины рядом с ним не было. Он обеспокоенно поискал взглядом и увидел ее.

Мария Сергеевна стояла в глубине холла и, улыбаясь, по-детски восхищенно приоткрыв рот, наблюдала, как служащие тянут вверх на веревках длинную разноцветную гирлянду, украша холл гостиницы к Рождеству и Новому году.

На полу возле лестницы кривовато стояли огромные сверкающие блестками цифры — 1, 9, 1 и 7.

Обозов подошел.

— Может быть, и война наконец кончится,— сказала Мария Сергеевна задумчиво.— Может быть, следующий год будет удачнее,— она оглянулась на Обозова, как бы спрашивая его мнение на этот счет, но увидела его застывшее, каменное лицо, то ли постаревшее за ту ночь, то ли просто очень усталое.

— Пойдемте,— сказал Обозов, коротко взглянув в ее глаза и быстро отвернувшись.

Номер им дали семейный, с двумя белыми кроватями, близко стоящими друг к другу, большим зеркалом над туалетным столиком, зеленой шелковой кушеткой у окна и столом перед ней.

Мария Сергеевна прошла, растерянно посмотрела на все это и смущенно остановилась посреди комнаты.

— У меня теперь дела,— сказал Обозов, усмехаясь.

«Вот ведь дурочка»,— подумал он.

— А вы теперь отдохните. И дайте мне, пожалуйста, все ваши документы.

Она уже не пыталась заговорить с ним, не надеялась быть услышанной, его презрительная холодность, казалось, не только не расстраивала, но и вовсе не трогала ее. Мария Сергеевна отдала документы и, присев на кушетку, стала расшнуровывать ботинки.

Когда Обозов вернулся, она спала, но не на кровати, а на кушетке у окна, прикрывшись шубкой.

Он подошел к ней. Постоял над ней, глядя сверху.

Чистое светлое лицо.

Он отвернулся к окну.

За стеклом тихо, большими хлопьями опускается снег.

«Да что же это? — подумал он отчаянно.— Мне бы ее ненавидеть, мне бы пристрелить ее, стерву. Еще там, в поезде».

Он опустил на пол возле кушетки. Сидел так, поджидая, когда она проснется, слушая ее размеренное дыхание и не глядя на нее.

Ужин они заказали в номер.

Сидели друг против друга, как когда-то — кажется, сто лет назад — в поезде. Только на этот раз Мария Сергеевна не переодевалась к ужину — легкий пеньюар, домашние туфли, волосы, небрежно скототые на затылке, почти никаких косметических ухищрений на милом лице.

Она была сейчас такая невыносимо домашняя, такая прекрасно будничная. Все ее жесты, привычки казались Обозову родными, знакомыми,— как она брала салфетку и аккуратно прикладывала ко рту, точно опасаясь смазать с губ несуществующую помаду или когда она отламывала кусочки хлеба.

«Это ведь в последний раз»,— с неожиданной для самого себя болью понял Обозов, укладкой посматривая на Марию Сергеевну.

— А знаете,— весело сказала она,— это ведь в последний раз мы так сидим.

Обозов звонко уронил вилку.

— Вот и вилку вы опять роняете,— радостно сказала она.

Тот свет, та чистота, которые Обозов видел на ее лице, когда она спала в гостиничном номере, отчего-то не исчезли. Лицо не огрубело, не помрачнело. Мария Сергеевна производила сейчас впечатление человека, оправившегося после тяжелой болезни. Оживление ее глаз, улыбки, ее движения были спокойны, ровны, без лихорадочной суеты, без эйфории, близкой к слезам.

Обозов смотрел на нее и не узнавал, но такая она нравилась ему еще больше.

— Вы были правы,— медленно произнесла Мария Сергеевна,— когда сказали, что наша встреча не случайна. Это мне вас небо послало.

Обозов усмехнулся.

— Какое уж там небо,— сказал он.— Меня вам послало военное министерство. Всего лишь.

— Смейтесь, смейтесь,— сказала она, сама смеясь, и предложила: — А давайте-ка напьемся с вами напоследок.

— Пожалуй, не стоит,— сказал Обозов.

— Вы правы во всем! — объявила она. Обозов посмотрел на женщину и решил, что ей и в самом деле не стоит больше пить вина.

— Я виновата перед вами, — говорила она. — Я измучила вас. Вы не простите меня, я понимаю...

— Радость моя, — сказал Обозов, улыбаясь, — как же вы мне надоели!

— Вы знаете, — продолжала она, — у меня к вам только одна, последняя просьба. Она, быть может, покажется вам странной, даже наглой...

Обозов с готовностью достал из кармана портмоне.

— Нет, нет, вы меня не поняли, — хватая его за руки, торопливо проговорила Мария Сергеевна, — я совсем о другом. Я хочу попросить вас: молитесь обо мне. Если сможете. Я знаю, — она улынулась виновато, — это невозможно. Но вдруг... Знаете, кроме вас обо мне молиться больше никому.

— Молиться? — поразился Обозов. — Мне — о вас?!

Он опустил взгляд на ее ладонь, лежавшую на его пальцах, и Мария Сергеевна поспешно убрала руку.

— Вы находите меня наглой, да?

— Да, — подтвердил Обозов. — Нахожу.

— Но теперь-то ведь все можно, разве нет? — спросила она, явно надеясь на понимание. — Теперь, когда нас больше ничто не связывает, когда ничто нас не разделяет. Никакая ложь, никакие границы, и эти ваши дурацкие секретные документы. Когда мы вполне чужие, свободные люди...

Она вдохновенно говорила что-то еще, малопонятное, неубедительное.

Обозов смотрел на женщину, не слушая ее, не пытаясь понять, шалея от шелковой округлости ее колен под пеньюаром, от нежной сеточки морщин у глаз, от уже не юной вяловатой шеи.

Он вдруг потянулся и, взяв ее за руку, сжал сильно, до боли, рискуя вывернуть ей кисть.

Мария Сергеевна замолчала. Ненатурально

изображая удивление, она смотрела на его лицо, искаженное болью, отчаянием.

— Теперь ведь все можно, правда? — зло переспросил Обозов.

— Вы меня не поняли, — Мария Сергеевна постаралась усмехнуться по возможности высокомерно.

Он оттолкнул ее руку и, поднявшись, подхватил ее под локти, потащил из-за стола.

Слушайте, вы, — нервно смеясь и сопротивляясь, скороговоркой проговорила Мария Сергеевна, — куда это оно подевалось, ваше рыцарство-преклонение-обожание?

Что-то зазвенело, слетев на пол со стола и разбившись.

— К счастью, что ли, — сказала Мария Сергеевна, не прекращая приятную борьбу.

— Ты можешь наконец замолчать? — спросил он.

— Нет, — сказала она.

Тогда Обозов обнял женщину одной рукой, а другой, взяв за подбородок, откинул ее голову себе на плечо и поцеловал.

Женщина недолго потрепыхалась в его руках и затихла.

— Хорошенькая история, — проговорила она потом, задыхаясь. — Благородный русский офицер изнасиловал в гостинице неудачливую пьяную актрису.

Обозов засмеялся. Он легко поднял женщину на руки и отнес на казенное семейное ложе.

Был ли тогда шестнадцатый год? Был ли двадцатый век? В какой то было стране? На берегу какого океана? Не все ли равно им и вам?

Падал и падал снег. Судьбы переплетались, как руки, как дыхания. Два одиночества весело, ясно, безнадежно перетекали друг в друга. Время остановилось.

Вот такая получилась история — прямо-таки душераздирающая, прямо-таки умопомрачительная история любви.

1991 г.

Я люблю экранизировать мертвых писателей: они беззащитны и неспособны к сопротивлению. Живые, как правило, агрессивны и высокомерны. А зачем? Если бы Шекспир не употреблял чужие сюжеты по своему разумению, если бы его угораздило «донести до зрителей дух произведений» Кида или Чингио, Холиншеда или кого там еще? — едва ли мы помнили бы теперь лихого парня Вилли. Но старушка Проза презрительно посматривает через плечо на младенца Сценарий, будучи уверена, что он — это всего лишь небрежно записанная повесть, что он — ее бастард, выражаясь по-английски. Наивная моя! Сценарий тебе даже не родственник. Поэзия и музыка — вот кровная родня нашего мальчонки. Не мешай ему расти. Без него режиссеры плачут.



Ингмар БЕРГМАН

Есть уровень средних режиссеров, которые год за годом ставят хорошие, крепко сделанные зрелищные фильмы.

На следующем уровне располагаются мастера, снимающие фильмы более глубокие по содержанию, более личностные, более оригинальные, более волнующие.

И надо всеми ними есть Ингмар Бергман, возможно, самый великий художник кино со времени изобретения кинокамеры.

Вуди Аллен

СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

(Киноповесть)

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Чтобы бедняга читатель не заблудился в тексте, я, против своего обыкновения, решил все же дать некоторые пояснения к каждой из шести сцен. Тот, кто воспримет подобное руководство как оскорбление, волен пропустить нижеследующие строки.

Первая сцена. Юхан и Марианна воспитаны на твердых устоях и на идеологии материального благополучия. Их добропорядочный образ жизни никогда не воспринимался ими как нечто обременительное или неправильное. Они прекрасно вписались в общепринятую модель и собираются продолжать в том же духе. Их прежняя политическая деятельность нисколько не противоречит этому, а скорее, наоборот, подтверждает.

В первой сцене они являют собой прелестную картинку почти идеального супружества, которое к тому же сопоставляется с супружескими отношениями поистине inferнального характера. Они исполнены затаенного сознания своего превосходства, считают, что устроили все наилучшим образом. Патентованные рецепты и милые банальности так и жужжат в ушах. Петер с Катариной предстают достойными всяческого сожаления безумцами, в то время как Юхан с Марианной устроились наилучшим образом в этом лучшем из миров. Однако в конце этой сцены с ними приключается небольшая беда, они оказываются перед необходимостью выбора. Незначительная с виду ранка обнаруживается, залечивается и рубцется, но под рубцом образуется гнойничок. Так по крайней мере я себе мыслил. Если кто-то поймет

по-другому — тоже хорошо.

Вторая сцена. Все по-прежнему идеально. Мелкие неприятности, разрешаемые шутя, в духе терпимости и взаимопонимания. Читатель знакомится с работой героев, с их сослуживцами. В Марианне зарождается неясное ощущение какой-то тревоги. Она не может разобраться в этом ощущении, но инстинктивно чувствует, что у них с Юханом что-то неладно. Она предпринимает неуверенную и не особенно удачную попытку замазать смутно угадываемую трещинку. Юхан же иногда украдкой звонит кому-то по телефону.

Вечером после театра, где они смотрели «Кукольный дом» (а что же им еще смотреть!), возникает невысказанный внутренний разлад, который оба они пытаются преодолеть, и в конце концов прячут, как говорится, голову под крыло.

Третья сцена. И вот обрушивается удар. Юхан в самой жестокой форме сообщает, что он полюбил другую женщину и намерен уйти. Он полон жизненной энергии, жажды действия и пребывает в эгоистическом помрачении новой влюбленности. Для Марианны это как удар грома среди ясного неба. Она оказалась брошенной женой. Совершенно неожиданно. За какие-то минуты она на наших глазах превращается в истекающее кровью, беззащитное в своей обнаженности существо. Унижение и растерянность.

Четвертая сцена. Свидание спустя продолжительное время. У Юхана уже что-то не ладится, хотя внешне ничего не заметно. У Марианны, наоборот, намечаются какие-то признаки выздоровления, хотя все еще очень

шатко и придавлено грузом прошлого: привязанностью к Юхану, наболевшим одиночеством, тоской по их прежней жизни. Свидание их мучительно и неловко, жажда примирения соседствует с агрессивностью. На мгновение они пробиваются друг к другу через отчуждение и замкнутость. Все болезненно, заражено, кровоточит. Это очень грустная сцена.

Пятая сцена. Инфернальная.

Марианна уже начала обретать почву под ногами. Юхан же, наоборот, все больше теряет ее. Как полагается порядочным людям, они решили подать заявление о расторжении брака по обоюдному согласию и пользоваться услугами одного и того же адвоката. Чтобы подписать заявление, они встречаются однажды весенним вечером у Юхана на работе. Внезапно происходит взрыв: годами подавлявшаяся агрессивность, накопившаяся ненависть, взаимное отвращение, гнев — все вырывается наружу. Они постепенно теряют человеческий облик и под конец выглядят достаточно омерзительно и ведут себя как два безумца, одержимые одним-единственным желанием — причинить друг другу побольше физических и душевных мук. Они являют собой даже более ужасное зрелище, нежели Петер с Катариной из первой сцены: те, будучи, так сказать, профессионалами взаимного мучительства, выработали нечто вроде правил поведения в аду. Юхан же с Марианной еще не научились не переступать последнюю грань. Они жаждут уничтожить друг друга, и им это почти удается.

Шестая сцена. И вот, как мне представляется, из-под обломков всей этой разрухи выбираются постепенно два новых человека. Возможно, финал слишком оптимистичный, но так уж получилось помимо моей воли. И Юхан, и Марианна — оба постраждали по Долине плача и обогатили ее новыми родниками. Оба они, если можно так выразиться, начинают читать по складам, изучая азы новой науки — науки о самих себе. Это не только азбука терпимости и смирения. Это и азбука любви. Марианна в первый раз садится и внимательно выслушивает свою несносную маму. Юхан не ропщет на свое новое положение и по-новому, по-взрослому ласков и добр к Марианне. Еще по-прежнему царит хаос, и ничто не изменилось к лучшему. Все отношения запутаны, и жизнь обоих основана на целой куче жалких компромиссов. И все же они теперь занимают другое место среди живых душ на земле. Так мне по крайней мере кажется. Впрочем, все остается нерешенным, так что никакого happy end, в настоящем смысле слова, конечно, нет. Но даже к такому концу подойти было приятно. Хотя бы потому, что приятно поддразнить утонченных знатоков, у которых из отвращения к столь удобопонятному произ-

ведению начнутся приступы эстетической рвоты с первой же сцены первой сцены.

Ну, что еще можно добавить? Для написания этого опуса мне потребовалось три месяца и опыт почти всей моей жизни. Я не уверен, что получилось бы лучше, если бы было наоборот, хотя так оно, конечно, показалось бы утонченной. Занимаясь этими людьми, я по-своему привязался к ним. Они получились достаточно противоречивыми: то пугающе ребячливыми, то очень взрослыми. Они болтают немало вздора, но бывает, скажут что-нибудь и мудрое. Они одолеваемы страхами, жизнерадостны, эгоистичны, глупы, добры, мудры, самоотверженны, привязчивы, злы, нежны, сентиментальны, невнятомы и достойны любви. Всё вместе. А сейчас давайте посмотрим, как это происходит.

Форе, 28 мая 1972 г.

1 НЕВЕДИНИЕ И СМЯТЕНИЕ

К Марианне и Юхану пришли брать интервью. Они сидят в несколько напряженных, неестественно чинных позах рядышком на диване, диван же — не простой. Округлых форм, изогнутый, девятнадцатого века, зеленая обивка, гостеприимные подлокотники, мягкие подушки и резные ножки — чудische домашнего уюта. Фон — массивный стеллаж для книг. На столике в стороне виднеется изящная старинная керосиновая лампа. На другом столике сервирован чай, к чаю гренки, повидло и херес. Корреспондент фру Пальм сидит спиной к зрителю. Среди тарелок и чашек она пристроила маленький магнитофон. В комнате еще бородастый фотограф, он то показывается, то снова исчезает.

Фру Пальм (бодро-весело). Для начала мы всегда задаем один и тот же шаблонный вопрос, чтобы легче было освоиться и преодолеть волнение.

Юхан. Да я не особенно и волнуюсь.

Марианна. Я тоже.

Фру Пальм (еще веселее). Тем лучше. Итак, пожалуйста, несколько слов о самих себе. Краткая, так сказать, характеристика.

Юхан. Это не так-то легко.

Фру Пальм. Да, но не так уж и трудно.

Юхан. Я в том смысле, что можно быть превратно понятым.

Фру Пальм. Вот как!

Юхан. Ну да, похоже ведь на обыкновенное бахвальство, если я говорю сам про себя, что я сугубо интеллигентный, преуспевающий, молодежавый, уравновешенный, сексуально полноценный. В курсе всего, образован, начитан, душа общества. Ну что еще можно добавить. Хороший товарищ. Умею быть на равных и с теми, кто ниже меня по положе-

нию. Я спортивный. Хороший отец. Хороший сын. Долгов не имею и исправно плачу налоги. Уважаю наше правительство, как бы оно ни поступало, и люблю нашу королевскую фамилию. От официальной церкви я отошел. Ну как, достаточно или, может, тебе интересны какие-то подробности? Я, например, великолепный любовник. Верно ведь, Марианна?

Фру Пальм (*улыбается*). К этому вопросу мы, возможно, еще вернемся. Теперь ты, Марианна. Что ты можешь сказать?

Марианна. Ну что я могу сказать. Я замужем за Юханом, и у меня две дочки.

Фру Пальм. Ну, дальше.

Марианна. Нет, я не могу так вот сразу.

Фру Пальм. А ты подумай.

Марианна. Юхан, по-моему, хороший муж.

Юхан. Благодарю, ты очень добра.

Марианна. Мы женаты десять лет.

Юхан. Я как раз только что продлил брачный контракт.

Марианна. Я, правда, не уверена, как Юхан, что я такая уж образцово-показательная, но, честно говоря, я вполне довольна тем, как я живу. Ну вот, что же еще. Ой, нет, не могу, трудно очень.

Юхан. У нее отличная фигура.

Марианна. Тебе бы все шуточки. А я стараюсь подойти к вопросу серьезно. У меня две дочери, Карин и Эва.

Юхан. Ты уже говорила.

Фру Пальм (*отступает*). Ну ладно, пока оставим. Кстати! Не сфотографировать ли нам дочек? На этом вот самом диване, вместе с папой и мамой?

Марианна. Они скоро придут из школы.

Фру Пальм. Вот и хорошо. Ну а пока займемся, пожалуй, биографическими данными. Разрешите узнать ваш возраст?

Юхан. Мне сорок два. Хотя по виду не скажешь. Верно ведь?

Марианна. А мне тридцать пять.

Юхан. Что касается нашего происхождения, то оба мы из сугубо добропорядочных семей. Просто до неприличия.

Марианна. Отец у Юхана — врач.

Юхан. А мать у меня просто мама. В полном смысле слова.

Марианна. Мой отец — юрист. С самого начала было решено, что я тоже стану адвокатом. Я самая младшая из детей, всего нас семеро. Мама у нас была хозяйкой большого дома и привыкла всем заправлять. Сейчас, конечно, она немножко уgomонилась.

Юхан. Разве?

Вежливые улыбки.

Марианна. Как это ни странно, но оба мы в прекрасных отношениях с родителями. Мы довольно много общаемся. Я не помню, чтобы у нас были сколько-нибудь серьезные конфликты.

Фру Пальм. А теперь, если можно, немного о вашей работе.

Юхан. Я научный работник, работаю в Психотехническом институте. Имею звание профессора.

Марианна. Моя узкая специальность — семейное право, работаю я в адвокатской конторе. Главным образом разводы и всякое такое. Самое интересное, что постоянно ведь сталкиваешься...

Фотограф (*появляется*). Минутку внимания... Смотрите друг на друга. Так, хорошо... Прошу прощения...

Марианна. Просто ужас, до чего глупо себя чувствуешь.

Фру Пальм. Это только вначале. Ну а как вы познакомились?

Марианна. Пусть лучше Юхан расскажет.

Юхан. Поистине увлекательная история!

Марианна. Во всяком случае, не любовь с первого взгляда.

Юхан. У нас с ней была масса всяких знакомых, люди мы были общительные, ну и нередко встречались в разных там компаниях. Кроме того, мы тогда очень интересовались политикой да к тому же участвовали в студенческой самодеятельности, играли вместе в спектаклях. Но я бы не сказал, что мы нравились друг другу. Марианна считала, что я много о себе воображаю.

Марианна. У него была тогда громкая связь с одной эстрадной певичкой, и это накладывало, конечно, определенный отпечаток, противно было смотреть.

Юхан. А Марианне было тогда девятнадцать, и она была замужем за неким оболтусом, в котором только и было ценного, что богатство его папочки.

Марианна. Неправда, человек он был очень даже неплохой. Да и влюбилась я как безумная. К тому же я почти сразу забеременела. Это тоже сыграло свою роль.

Фру Пальм. Но как же получилось...

Юхан. Что мы оказались вместе? А это уж идея Марианны.

Марианна. Мой ребенок умер вскоре после родов, и тогда мы с мужем расстались, к взаимному, я бы сказала, облегчению. А Юхан еще до того получил отставку у своей певички, и гонора у него поубавилось. Обоих нас, так сказать, потрепало, и чувствовали мы себя довольно неуютно. Вот я и предложила сойтись. Про любовь и речи не было, просто нам было одиноко и тоскливо.

Юхан. А оказалось, мы здорово друг другу подходим. Мы прекрасно ладили, да и занятия у нас пошли отлично.

Марианна. Вот тогда мы и съехались и стали жить вместе. Мамы наши даже не поморщились, хотя мы боялись, что они будут страшно шокированы. Они же, наоборот быстроенько подружились. Мы и оглянуться

не успели, как стали для них «Юхан с Марианной». В конце концов мы поженились.

Юхан. К тому времени мы, кроме всего прочего, влюбились друг в друга.

Марианна. Да еще как влюбились.

Юхан. Нас считали, можно сказать, идеальной супружеской парой.

Марианна. Так было и дальше.

Фру Пальм. И никаких осложнений?

Марианна. Материально мы всегда были обеспечены. У нас хорошие отношения с родственниками и друзьями с обеих сторон. У нас хорошая работа, которую мы любим. На здоровье не жалуемся.

Юхан. И так далее, и так далее, до степени неприличия. Благополучие, порядок, уют, взаимное доверие. До того хорошо, что даже подозрительно.

Марианна. Конечно, и у нас, как у всех, могут быть какие-то расхождения и разногласия. Но в главном, существенном мы всегда заодно.

Фру Пальм. И вы никогда не ругаетесь?

Юхан. Нет, почему же, Марианна ругается.

Марианна. Юхан совершенно не способен злиться. Это выводит меня из себя.

Фру Пальм. Прямо какая-то фантастика!

Марианна. Один человек сказал нам как раз вчера вечером, что уже сама по себе беспроблемность — серьезная проблема. Довольно верно сказано. Жизнь, подобная нашей, таит в себе свои опасности, и мы это прекрасно сознаем.

Юхан. Мир катится ко всем чертям, а я вот присваиваю себе право возделывать свой сад. Всякая политическая система продажна. Меня тошнит при одной мысли обо всех этих новомодных спасительных евангелиях. У кого в руках вычислительная техника, тот и победитель в игре. Я лично придерживаюсь той непопулярной нынче точки зрения, что я вправе заниматься своим делом, и плевать мне на остальных.

Марианна. Я думаю иначе.

Фру Пальм. Как же именно?

Марианна. Я верю в людское братство.

Фру Пальм. Объясни, пожалуйста.

Марианна. Если бы все люди с самого детства приучались думать друг о друге, наш мир был бы иным, я уверена.

Фотограф. Тихо, не двигайтесь. Не меняйте выражения. Так. Хорошо. Спасибо.

Марианна. А вот и Карин с Эвой. Пойду скажу: чтобы привели себя немножко в порядок.

Марианна торопливо уходит, слышно, как она разговаривает с дочерьми. Юхан набиравает трубку, натянуто-любезно улыбается корреспондентке, а та, улыбнувшись в ответ, прихлебывает свой остывший чай и не находит, о чем бы его сейчас спросить.

Юхан. Честно говоря, не так-то все просто.

Фру Пальм. То есть?

Юхан. Прежде нам казалось, что с нами ничего не может случиться. Теперь мы знаем, что в любую минуту может страстисть что угодно. А это большая разница.

Фру Пальм. У тебя страх перед будущим?

Юхан. Если про это думать, можно просто помереть со страху. Так мне по крайней мере кажется. Поэтому я предпочитаю не думать. Я вот не расстаюсь с этим нашим пухлым диваном и этой керосиновой лампой. Они дают мне иллюзию надежности, пусть и до смешного хрупкой. Мне нравятся баховские «Страсти по Матфею», хоть я и неверующий, потому что они внушают мне смирение, помогают почувствовать себя частицей некоего целого. Я поддерживаю интенсивное родственное общение, потому что это напоминает мне детство, когда я чувствовал себя под защитой. Я люблю слушать разговоры Марианны о людском братстве. Это хорошая отдушина для совести, которую вечно тревожит что-нибудь, не имеющее к нам отношения. Я вообще считаю, что необходимо овладеть своего рода техникой жизни, умением жить и быть довольным своей жизнью. Нет, я серьезно. Надо просто упорно тренироваться в умении отбрасывать лишние заботы и тревоги. Есть такая порода людей — я всегда ими восхищался, — которые умеют воспринимать жизнь как шутку. Я лично не умею. Мне для такого фокуса не хватает чувства юмора. Впрочем, все это, видимо, не пойдет в вашем журнале. Как ты считаешь?

Фру Пальм. Нет, не пойдет. Сложновато будет для наших читательниц. Ты уж меня извини.

Молчание.

Юхан. Про что же будем говорить?

Фру Пальм. О, у меня масса вопросов.

Марианна усаживается на диван вместе с дочками. (Эве двенадцать лет, Карин одиннадцать). Они держатся немного неестественно, хихикают, смущаются, но в восторге, причесаны и приодеты для фотографирования. Взаимные приветствия. Рассаживание и пересаживание под руководством фотографа. Юхан судорожно сжимает свою трубку. Когда с семейной фотографией покончено, дети получают разрешение пойти на кухню, где их ждет полдник: горячий шоколад и бутерброды с сыром. Юхан, извинившись, ему-де необходимо позвонить, испаряется — скорее проворно, нежели деликатно. Фру Пальм решает воспользоваться моментом. Журнал-то все-таки женский.

Фру Пальм. Мы ведь, кажется, со школы не виделись.

Марианна. А с кем-нибудь из наших ты встречаешься?

Фру Пальм. Признаться, ни с кем. (*Берет разгон.*) Мне, конечно, понятно, что живете вы с Юханом хорошо. Правда ведь? Я в том смысле, что вы по-настоящему счастливы. Ведь так? Все, что вы рассказали, совершенно удивительно. Но такого ведь на свете не бывает, чтобы все было в полном ажуре.

Марианна. Не знаю, все ли у нас в полном ажуре, как ты говоришь. Но одно я знаю точно: нам хорошо друг с другом. Мы счастливы, иными словами.

Фру Пальм (*закидывает удочку*). Что ты понимаешь под словом «счастье»?

Марианна. Тебе это обязательно?

Фру Пальм (*серьезно*). Журнал-то, Марианна, рассчитан на женщин.

Марианна. Если бы я и придумала, что сказать про счастье, Юхан бы меня просто высмеял. Нет, правда не могу. Придумай лучше что-нибудь сама.

Фру Пальм (*лукаво*). Нет уж, теперь тебе не увильнуть.

Марианна. Ну хорошо. Счастье — это, по-моему, когда человек доволен. У меня нет такого чувства, будто мне чего-то не хватает или я по чему-то там тоскую. Ну разве что хочется, чтобы поскорее пришло лето. (*Пауза.*) Мое единственное желание — чтобы всегда было, как теперь. Чтобы ничего не менялось.

Фру Пальм (*входит во вкус*). Твое мнение насчет верности?

Марианна. Ой, ради бога...

Фру Пальм. Я серьезно прошу тебя помочь мне хоть как-то оживить материал. Твой Юхан, конечно, прелесть, но согласись, что разговор при нем не очень-то состоялся.

Марианна. Верность, говоришь?

Фру Пальм. Она самая. Супружеская верность, разумеется.

Марианна. Верность. Ну что же можно о ней сказать?

Фру Пальм. Тебе ведь, я думаю, по работе приходится сталкиваться...

Марианна. Мне кажется, верность может существовать лишь как некая данность. Не может быть верности по принуждению. И никогда нельзя заранее обещать верность. Или она есть, или ее нет. Мне вот, например, нравится быть верной Юхану, поэтому я ему верна. Но я, естественно, не могу знать, что будет завтра или, скажем, через неделю.

Фру Пальм. Ты всегда была верна Юхану?

Марианна (*холодно*). Мне кажется, мы кажемся слишком уж интимными.

Фру Пальм. Извини. Еще только один вопрос, пока Юхан там разговаривает. Твое мнение насчет любви? Про любовь, понимаешь, обязательно надо. Без этого такой

материал у нас не пойдет.

Марианна. А если я не желаю?

Фру Пальм. Тогда мне придется самой что-то придумывать, и получится гораздо хуже.

Марианна. За всю мою жизнь никто не сумел объяснить мне, что такое любовь. Да я и не уверена, нужно ли это знать. Но если тебя интересует исчерпывающее определение этого понятия, загляни в Библию, там апостол Павел объясняет, что есть любовь. Одно только плохо: в свете его определения очень уж мы жалко выглядим. Если любовь — действительно то самое, что говорит о ней Павел, значит, она величайшая редкость и нам, простым смертным, практически недоступна. Зато для прочтения вслух на свадьбах и в других торжественных случаях этот отрывок незаменим и очень даже впечатляет. Я лично считаю, вполне достаточно, если человек добр к тому, с кем вместе живет. Желательна еще нежность. Чувство юмора, терпимость и взаимное доверие. И поменьше честолюбия: не надо требовать друг от друга великих свершений. Если ты можешь все это предьявить, то тогда... ну и бог с ней, с этой самой любовью.

Фру Пальм. С чего ты так разволновалась?

Марианна. Понимаешь, при моей профессии постоянно встречаешь людей, которые буквально рухнули под тяжестью совершенно невыполнимых требований насчет так называемых подвигов любви. Самая обыкновенная жестокость. Как было бы хорошо...

Фру Пальм. Что было бы хорошо?

Марианна. Да нет, ничего. Мне тут самой многое неясно, так что лучше не буду. Только очень бы хотелось, чтобы людям... чтобы нам не навязывали множество всяких ролей, которые мы вовсе не желаем играть. Чтобы дозволены были чувства простые и нежные. А ты не считаешь?

Фру Пальм (*как по-писаному*). Чтобы в жизни было чуточку больше романтики!

Марианна. Нет, я совсем не то имела в виду. Совсем, в сущности, наоборот. Вот видишь, как я неуклюже выражаюсь. Давай-ка лучше про кухню и про детей, а? Это хоть что-то конкретное.

Фру Пальм. Пожалуй, мы действительно немного отвлеклись.

Марианна (*вежливо улыбаясь*). Пожалуй что.

Фру Пальм. Ну, так как же ты управляешься и на работе, и дома?

Юхан с Марианной пригласили к обеду Петра с Катариной. Дочки подают на стол. Настроение приподнятое. У Юхана в руках женский журнал. Он читает вслух.

Юхан (*читает*). «...У Марианны сказочно синие глаза, излучающие какой-то внутренний свет. В ответ на мой вопрос, как она все

успевает и на работе, и дома, она чуть загадочно улыбается, словно храня какую-то тайну, и говорит несколько уклончиво, что, мол, ничего страшного, ведь они с Юханом помогают друг другу. Главное — *взаимопонимание*, говорит она, вся вдруг просияв, потому что как раз в этот момент в комнату входит Юхан и садится рядом на их чудесный, старинный, фамильный диван. Он обнимает ее за плечи, как бы желая защитить, а она незаметно придвигается поближе, улыбаясь спокойной и доверчивой улыбкой. И так, я прощаюсь с ними, а они, я замечаю, втайне радуются, что вот я сейчас уйду и они снова будут вдвоем. Молодые, сильные, здоровые, счастливые, полные оптимизма, принимающие жизнь с ее повседневными заботами, но никогда не забывавшие про любовь, возведенную ими на пьедестал.

Юхан заканчивает чтение. Все аплодируют. После чего подкладывают себе на тарелки и подливают вина.

Марианна. Когда нам дали прочитать этот шедевр, мы просто жутко расстроились и потребовали, чтобы все было переделано, но в редакции нам заявили, что, к сожалению, слишком поздно. Произошло какое-то недоразумение, и статья уже в наборе.

Юхан. Мы всерьез подумывали, не отправиться ли нам с жалобой в высшие инстанции. Но наши мамы и дочки пришли в восторг, сказали, что написано очень здорово, и мы сдались без боя. Лично меня больше всего расстроило, что про мои глаза почему-то ни слова! Катарина! Ну-ка, присмотришь! Не излучают мои глаза этакий таинственный свет?

Катарина. Какой там свет. Мрак беспросветный. Сразу видно, сексапильный мужчина!

Петер. Катарина в последнее время просто без ума от тебя.

Катарина. Юхан, хочешь сбежать со мной?

Марианна. Прекрасная мысль. Чутьочку разнообразия ему бы очень даже не помешало. А то вот уже целых десять лет — примерный супруг и ни разу не сбился с пути истинного.

Петер. Ты так в этом уверена?

Марианна. Я с самого начала взяла себе за правило верить всему, что он мне говорит. Правда ведь, Юхан?

Петер. Учись, Катарина.

Катарина. Да, но Юхан наверняка врет гораздо умнее, чем ты, глупыш.

Юхан. К сожалению, я начисто лишен фантазии.

Петер. В том-то все и дело. Люди, лишенные фантазии, врут гораздо лучше, чем те, у кого ее слишком много.

Катарина. Петер всегда разукрашивает

свои отчеты слишком большим количеством подробностей. Даже трогательно.

Марианна. Между прочим, я прочитала в «Технике» статью Петера. Уж на что я невежда, а и то поняла, в чем суть.

Петер. Писала-то Катарина.

Юхан. Господи, Катарина! Ты такая умная?

Петер. Я был в Германии, а тут как раз позвонили, ну Катарина села и моментально накатала для них статью и зачитала мне по телефону.

Марианна. А почему ты числишься автором, раз написала Катарина?

Катарина. Не бойся, это не ущемление женских прав. Мы всегда работаем вместе, ты же знаешь.

Юхан. Прямо позавидуешь.

Петер. Да уж, позавидуешь. Знал бы ты, что у нас сейчас творится. Сказать по совести, живем мы на данный момент хуже кошки с собакой. Не жизнь, а просто ад. Твое здоровье, Катарина. Надеюсь, ничего страшного, что я говорю так при них. Я думаю, от Юхана с Марианной нам нечего скрывать.

Марианна. Катарина, ты чего?

Катарина. Ничего. Абсолютно ничего. Мне только кажется, что Петер бывает иногда ужасно неловок.

Петер. *Неловок.* Деликатно сказано. Лестно слышать, что я неловок. И фантазер. Обычно же я просто негодяй, хотя уж этого я, ей-богу, не заслужил!

Юхан. Посидим-ка лучше в свое удовольствие и не будем углубляться в житейские неприятности.

Петер. Ах да, не следует забывать, учитывая только что проштудированную статью, что мы, так сказать, пребываем под счастливым кровом, где просто неприлично сажать грязные пятна своих дурацких эмоций. Твое здоровье, Марианна, и спасибо за вкусное угощение. Очень может быть, что я и не завидую твоему семейному счастью, но вот такой кулинарный талант ужасно хотелось бы иметь под боком.

Марианна. Катарина готовит гораздо лучше меня.

Катарина. Жаль только, Петер думает, будто я подсыпаю в еду отраву.

Петер. Это наша семейная шутка.

Катарина. Надеюсь, вы и сами понимаете, что это шутка?

Петер. Веселенькая шутка!

Юхан (*отвлекающий маневр*). Может, перейдем в гостиную? На десерт кофе с тортом.

Марианна. Не надо, Катарина, оставь. Девочки все уберут и помогут. Я их, понимаешь, подкупила. Они очень не против подзаработать. Сейчас как раз копят на летние каникулы.

Юхан. Петер, хочешь сигару? Есть отличные.

Петер. Нет, спасибо. Я, знаешь ли, бросил. Юхан. Вот это да. Поздравляю.

Катарина. Он сделался совершенно невозможный, до того нервный, что я стала просить, чтоб он снова начал. Так нет, не курит. Исключительно мне назло. Сама я никак не могу бросить. Я уж рукой махнула. Делаюсь похожа на мумию и умру от рака, ну и шут с ним. Марианночка, у тебя, кстати, нет чего-нибудь от головной боли? С самого утра сегодня мучаюсь. Нет, нет, я с тобой. Дадим мальчикам возможность потрещаться всласть, пусть поделятся грязными подробностями из собственной практики.

Марианна с Катариной отправляются в ванную комнату, отделанную весьма элегантно: мрамор, позолоченные краны, несколько зеркал, два душа и прочая роскошь. Катарина садится на край ванны.

Катарина. Я просто хотела уйти от греха подальше. Я, знаешь, почувствовала, что пьянею. А пьяная я делаюсь совсем бешеная. Бедный Петер. Он похож тогда на перепуганную крысу. Начинает меня увещевать, а глаза так и бегают.

Марианна. Если хочешь, пойдти полежи у меня на кровати.

Катарина. Нет, ни к чему. Здесь так тихо, спокойно. Добрая ты душа, Марианна.

Марианна. Такое впечатление, что вам сейчас нелегко друг с другом.

Катарина *(смеется)*. Нелегко? Ну назовем хотя бы так.

Марианна. Почему бы вам не разъехаться на время?

Катарина. Напротив, Марианночка. Мы отправляемся в длительную деловую поездку за границу. Все наше благополучие держится на нашем альянсе. У нас, видишь ли, все общее. Петер все переписал на меня, и успех нашего предприятия в Италии целиком зависит от наших совместных усилий. Все эти новые синтетические материалы, они же идут сплошным потоком, и мы должны их испытывать. И каждый раз я должна подбирать другие красители, а Петер просто гений в смысле всяких там анализов. Все пойдет прахом, если мы расторгнем наше сотрудничество. Нам это просто не по карману.

Марианна. Разве нельзя продолжать сотрудничество, а жить каждому своей жизнью?

Катарина. Думаешь, мы не пробовали? Сама ведь знаешь.

Марианна. Да, правда.

Катарина. Петер говорит, что с другими женщинами у него не получается. Не знаю, конечно, но думаю, тут он как раз не врет. Он просто с ума сходит, если я ему отказываю. И самое удивительное, что он ведь исключительно нежный и чуткий любовник.

В постели мне с ним очень даже нравится. При том условии, что у меня есть кто-то на стороне.

Марианна. А сейчас, что ли, нету?

Катарина. Нету. Я порвала.

Марианна. Ах ты, бедняжка.

Катарина. Ян не способен был жить двойной жизнью. А я только так и могу жить. В общем, сама понимаешь, что у нас сейчас творится. Настоящий ад. Я начинаю ненавидеть Петера. До того, что готова убить его собственными руками, и не просто убить, а каким-нибудь самым мучительным способом. Бывает, когда у меня бессонница, я лежу и придумываю для него самые невероятные пытки. *(Смеется.)*

Марианна. Неужели нет никакого выхода?

Катарина. Я по крайней мере не вижу.

Марианна. А с Петером ты говорила?

Катарина. Нет, ты просто умилительна.

Марианна. Ну и что он?

Катарина. Ну что он. Говорит, поступай как знаешь, и черт с тобой. Занятно бы, говорит, только поглядеть, до какой степени взаимонужия мы способны дойти. Он это называет: процесс нашей дегуманизации.

Марианна. Ты не думаешь, что ему стоило бы обратиться к врачу?

Катарина. Он пошел как-то раз на психоанализ и бросил — заявил, что психиатр попался совершеннейший идиот.

Марианна. А может, просто плюнуть на все и удрать?

Катарина. Я тут как-то проснулась утром и вижу — его нет рядом. Угадай, куда он девался?

Марианна. Куда же?

Катарина. Оказалось, залез на крышу — мы ведь на последнем этаже, — стоит на самом краю и смотрит вниз на улицу. Я его прошу, слезай ты, ради бога, а он отвечает, ничего, не беспокойся. Да я, говорю, вовсе даже не прочь, чтоб ты покончил с собой. Нет, говорит, не надейся, ты так легко от меня не избавишься.

Марианна. Но было же, наверно, время, когда вам было хорошо друг с другом?

Катарина. Да понимаешь, ведь вот что удивительно. При всем при том я чувствую к нему в глубине души какую-то щемящую нежность, и это сильнее меня. Мне кажется, я понимаю, как ему страшно, и это ощущение пустоты, тоски и тревоги. И мне думается, что он тоже, каким-то шестым чувством, угадывает во мне такое, о чем никто и не подозревает. Его любимая шутка, что с виду-то я баба как баба, а по сути — самый настоящий мужик. *(Смеется.)* Он недалеко от истины. Ну что, может, пойдём? Мне уже лучше.

Они присаживаются рядом с Юханом и Петером, которые занялись было шахмата-

ми, но Юхан быстро оказался побитым, и обоим стало неинтересно. Юхан приносит разные напитки. Марианна разжигает камин.

Петер (*опьянел*). Нет, братцы, это ж просто безумно трогательно.

Юхан. Что именно так уж трогательно?

Петер. Да ваше супружество. Юхан и Марианна. Марианна и Юхан. Умилительно до слез. Сказать по правде, так и подмывает воткнуть булавку в ваш красивенький воздушный шарик. За ваше здоровье!

Катарина. Вы ведь десять лет как жены, верно?

Марианна. Да, мы только что отпраздновали десятилетие нашей свадьбы.

Петер. И никаких тебе скелетов в шкафу.

Юхан (*смеется*). Ну, точно никогда нельзя знать.

Катарина. Да уж, точно знать нельзя.

Марианна. Мы с Юханом оба любим делать уборку.

Петер. Вот видишь, Катарина. А мы с тобой всегда были малость неряхи. Но теперь уж мы покончим с этим делом раз и навсегда, верно я говорю, Катарина? На той неделе я звоню Марианне, назначаю срок, и пусть она нас разводит.

Катарина (*опьянела*). Вот жалость: ведь Петер и протрезветь не успеет, как уже раскается. Потому что тут включается счетная машина, и разговор получается вот какой: ладно, я согласен на развод, если ты откажешься от капиталов в Швейцарии. А я отвечаю: это мои деньги. Это я их заработала. Тут Петер отвечает, что это он их приумножил, а я пусть забираю эту чертову фабрику со всеми потрохами. Тут я отвечаю, нет уж, большое спасибо, на кой мне сдалась какая-то там фабрика в Италии, от которой все меньше прибыли, потому что издержки-то производства все растут и растут. Тут Петер говорит, можешь забирать себе все это барахло в Швеции, все целиком, и квартиру, и дачу, и охотничью избушку, и лодки, и машины, и картины, и акции, и облигации. Тут я отвечаю, благодарю покорно, очень, конечно, мило с его стороны свалить на меня целую кучу барахла, которое облагается налогом. Извините, конечно, что в такой приятный вечер я занимаю вас такими банальными разговорами, но когда Петер начинает говорить, что пора нам наконец расстаться, я в точности знаю, сколько он выпил, и совершенно точно — сколько нам осталось до взаимных оскорблений.

Петер. А я что говорю! Все в точности. Катарина — делец, именно делец, в мужском роде. Кроме того, она гениальный художник. Кроме того, коэффициент умственных способностей — не знаю уж, в чем они выражаются, — у нее значительно выше нормы.

Да и красotka к тому же. Прекрасный характер в прекрасной упаковке. И как мне позволялось залезать под юбку к такому совершенству — ума не приложу.

Катарина. По-моему, Петер, нам пора вызвать такси и ехать домой. Юхану и Марианне, наверно, не слишком приятно быть свидетелями нашей семейной сцены.

Петер (*возбужденно*). У Юхана и Марианны на животики и на спинке по большому красному шелковому банту, как у марципановых поросят нашего детства. Для них даже поучительно заглянуть в последний круг ада. Вряд ли есть на свете зрелище ужасней, чем муж и жена, ненавидящие друг друга. А вы как думаете? Может, по-вашему, зрелище детских мук страшнее? Так пожалуйста! Ведь мы с Катариной — два ребенка. В Катарине сидит где-то маленькая девочка, забилаясь в уголок и плачет, потому что упала и ушиблась и никто не пришел ее утешить. А я забился в свой уголок, я еще не вырос и плачу оттого, что Катарина не может меня любить, хоть сам-то я делаю ей всякие гадости.

Катарина. Одно только утешительно. По крайней мере совершенно точно знаешь, что хуже не бывает. Вот почему я считаю, что мы созрели для развода.

Петер. При условии, что ты будешь уминицей. При условии, что мы одновременно, в присутствии друг друга и надежных свидетелей, подпишем все бумаги, чтобы один не мог подложить свинью другому. Мы позволим тебе на неделю.

Марианна. Я с удовольствием помогу вам. У нас есть как раз отличный юрисконсульт. Борглунд, если ты слышал такую фамилию. Он может помочь вам уладить экономическую сторону дела.

Петер. Ну, Катарина, что скажешь?

Катарина. Даже если мы уладим эту сторону дела, Петер все равно меня не отпустит. Уж я-то знаю.

Петер. Драгоценная моя Катарина, уж не думаешь ли ты, что ты совершенно незаменима? С чего это у тебя вдруг подобные мысли? Интересно бы знать! Может быть, расскажешь мне.

Катарина. Для постели-то я тебе, наверно, все-таки нужна. Ты же просто вынуждаешь меня спать с тобой, жалуясь, что с другими у тебя не получается.

Петер. Ты прямо жить не можешь без угрызений совести, а теперь вот, когда с Яном покончено, ты чуть ли не в панике, верно я говорю, Катарина? Теперь у тебя один лишь старик Петер и остался, единственный, кого ты еще интересуешь и кто обладает необходимым терпением.

Катарина. Ах, вот как, ты думаешь, ты у меня единственный. Очень трогательно. Думаешь, больше у меня никого нет. А хочешь,



Марианна — Лив Ульман, Юхан — Эрланд Юсефсон

Петер, я скажу тебе одну вещь, вы уж, друзья, простите меня за откровенность, но Петер сам лезет на рожон — пусть знает правду. Так вот, Петер, если хочешь знать, у меня к тебе такое физическое отвращение, что я с любым согласна лечь да готова еще приплатить, лишь бы от тебя отмыться.

Петер (декламирует):

Так день уходит навсегда
И больше не придет.
И с миром ночь еще одна
На землю упадет.

Катарина. Вот сволочь...

Петер (декламирует):

Да будет вечно власть твоя,
О милосердный бог!
Дни наши, ночи сотворя,
Ты все провидеть мог.

Как хочешь, так и понимай.

Катарина запускает в Петера рюмкой с коньяком. Петер принимается хохотать, достаёт платок и обтирается. Катарина в слезах выбегает из комнаты. Марианна бежит за ней. Юхан подбирает с ковра осколки.

Петер. Надеюсь, пятен не останется. Я не знаю, как от коньяка... Если что, можешь прислать счет. Кофейку, пожалуйста, а? Я что-то совсем того... Ты уж,

Юхан, извини нас, ради бога. Обычно мы ведем себя гораздо приличнее. Но так уж вам не повезло, что вы наши друзья. Прости меня. Прости нас обоих. Сейчас ты вызовешь такси, я заберу свою жрицу Бахуса домой, и там уж мы продолжим и закончим нашу семейную сцену. Финал обычно не предназначен для публики.

Позже вечером. Гости ушли.

Юхан. О чем ты думаешь?

Марианна. Мало ли о чем.

Юхан. А все-таки?

Марианна. О них, конечно, о Катарине с Петером.

Юхан. Я тоже.

Марианна. Как ты считаешь, могут вообще два человека всю жизнь прожить вместе?

Юхан. Пожизненный договор! Нелепейший пережиток, доставшийся нам в наследство лет на пять. Или вообще из года в год, чтоб хочешь — продолжай, хочешь — нет.

Марианна. И мы чтобы так?

Юхан. Мы — нет.

Марианна. Почему?

Юхан. Мы с тобой то самое исключение, которое подтверждает правило. Мы вытащили счастливый билет. В идиотской массовой лотерее.

Марианна. Значит, ты думаешь, мы всю

жизнь будем вместе?

Юхан. Станный вопрос.

Марианна. А ты никогда не жалеешь, что всю жизнь будешь спать только со мной?

Юхан. А ты разве жалеешь?

Марианна. Бывает.

Юхан (*ошарашен*). Ну и ну. Это уж черт те что.

Марианна. Но у меня это так, чисто теоретическое.

Юхан. Может, я какой-нибудь урод, но только у меня никогда не бывает такого рода фантазий. Я доволен.

Марианна. Я тоже. А! Теперь мне понятно.

Юхан. Что тебе понятно?

Марианна. Понятно, почему у Катарини с Петером так все ужасно.

Юхан. Ну?

Марианна. Они говорят на разных языках. Им приходится переводить все на третий, общедоступный язык, чтобы понять, что каждый хочет сказать.

Юхан. Мне кажется, тут все гораздо проще.

Марианна. Возьми нас с тобой. Мы ведь разговариваем на любые темы и понимаем друг друга с полуслова. У нас общий язык. Поэтому нам так хорошо друг с другом.

Юхан. Мне кажется, все дело в деньгах.

Марианна. Если б у них был общий язык и если б они доверяли друг другу, как мы доверяем, то и деньги не были бы проблемой.

Юхан. Дался тебе этот язык.

Марианна. На работе я постоянно с этим сталкиваюсь. Иногда, знаешь, похоже, как если б муж с женой разговаривали по междугородному телефону, а аппараты в неисправности. Иногда — будто слушаешь две магнитофонные записи. А иногда — космическое безмолвие. Не знаю, что хуже.

Юхан. Сомнительная все же теория.

Марианна. Тебя хлебом не корми, дай только поспорить.

Юхан. Я привык опираться на эксперимент. Представь, например, что мы с тобой работаем на фабрике. Представь, что дети у нас в яслях. И работаем мы поменно или что-нибудь в этом роде.

Марианна. Ну и что? Никакой разницы.

Юхан. Не думаю.

Марианна. Если у людей есть общий язык, они при любых условиях поймут друг друга.

Юхан. Мне кажется, это папахивает романтикой.

Марианна. Ты действительно думаешь, что, оказавшись мы в подобных условиях, это повлияло бы на наши отношения? Ты это серьезно?

Юхан. Да. Серьезно.

Марианна. Что мы и между собой жили бы хуже?

Юхан. Да, именно так. Несмотря на пре-словутый общий язык.

Марианна. А ты не думаешь, что и нам с тобой, и при наших условиях жизни, точно так же может угрожать и отчуждение, и одиночество?

Юхан. Нет, не думаю. Люди, которые проводят свою жизнь в тяжком и однообразном труде, гораздо более подвержены переутомлению и стрессам.

Марианна. А ты глупее, чем я думала. Кроме того, кто бы уж говорил о романтике!

Юхан. Ну что ж, поживем — увидим.

Марианна (*нетерпеливо*). Что именно? Что увидим-то?

Юхан. Откуда я знаю. Может, ты знаешь?

Марианна. Ты просто нарочно меня злишь.

Юхан. Ага, нарочно. Ты есть не хочешь?

Марианна. Ужасно хочу.

Юхан. Может, по стаканчику пива и бутерброд с паштетом и огурчиком, а?

Марианна. Самое милое дело. Юхан, поди ко мне, сядь-ка вот сюда, на диван. У меня к тебе разговор. И не смотри на меня такими глазами. Ничего страшного, честное слово.

Юхан. Вступление угрожающее.

Марианна. Коньячку не хочешь?

Юхан. А ты?

Марианна. И мне заодно принеси.

Юхан. Ничего, если я закурю?

Марианна. Пожалуйста, кури. Мне ничего. Даже приятно.

Юхан. Ну вот, порядок, Давай?

Марианна. Ага.

Юхан. Ну так про что разговор?

Марианна. Я беременна.

Юхан. Так а ж тебе еще три недели назад говорил. Я ты отрицала.

Марианна. Я не хотела тебя тревожить.

Юхан. Меня это несколько не тревожит.

Марианна. Как же нам теперь быть?

Юхан. Ты хочешь сделать аборт?

Марианна. Я хочу, чтоб мы вместе всё обсудили. Как оба решим, так и будет.

Юхан. По-моему, ты сама должна решать.

Марианна. Почему именно я?

Юхан. Само собой ясно. Тебе же все предстоит: и заботы, и ответственность, и материнские радости.

Марианна. Другими словами, тебе безразлично, будет ли у нас еще ребенок?

Юхан. Вовсе не безразлично.

Марианна. Я хочу знать твое мнение. Скажи мне по-честному.

Юхан. Не так-то это легко.

Марианна. Неужели так уж трудно быть откровенным?

Юхан. Перестань, Марианна, не глупи.

Марианна. Какое было твое первое импульсивное побуждение?



Юхан. Мне вообще чужды импульсивные действия, не так я устроен. Я в этом смысле неполноценный.

Марианна. Хочешь ты иметь еще ребенка?

Юхан. Возражений у меня, во всяком случае, нет. Мне это было бы даже приятно.

Марианна. Но ты ведь не станешь утверждать, что ты в восторге. Ты отнюдь не в восторге. Если честно?

Юхан. Что ты все с этой честностью? Почему все я да я? Сказала бы лучше, чего тебе самой-то хочется. Так было бы намного проще.

Марианна. Я тебя сейчас спрашиваю.

Юхан. Интересно все-таки, когда же мы умудрились влипнуть с этим дурацким ребенком. Ты же все время принимала свои таблетки. Разве нет?

Марианна. Я их забыла, когда мы уехали.

Юхан. Ах ты черт! Чего ж ты молчала?

Марианна. Да так, не придавала значения.

Юхан. Ты хотела, чтоб у нас был еще ребенок?

Марианна. Сама не знаю.

Юхан. Это не ответ.

Марианна. Просто я тогда подумала: уж как получится, так получится. Забеременею — значит так нам суждено, пусть у нас будет еще ребенок.

Юхан. О боже! Боже мой! Боже мой!

Марианна. Чего это ты?

Юхан. И кто это говорит! Современная, образованная, работающая женщина, которая сама же везде и всюду проповедует, что необходимо регулировать рождаемость.

Бог ты мой!

Марианна. Я не спорю, тут действительно есть что-то необъяснимое.

Юхан. Выходит, для тебя все уже решено и ничего уже не поделаешь. Так ведь? Чего же тут еще обсуждать?

Марианна. Я думала, ты хоть немножко обрадуешься.

Юхан. Ну зачем ты так. Конечно, я рад.

Марианна. Уже почти три месяца.

Юхан. И даже незаметно, чтоб ты себя плохо чувствовала.

Марианна. Наоборот. Я никогда еще так хорошо себя не чувствовала.

Юхан. Наши мамы будут, во всяком случае, в восторге. А вот что, интересно, скажут наши дочки? Как ты думаешь?

Марианна. В настоящее время их терпимость безгранична. Одной глупостью с нашей стороны больше, одной меньше — не имеет значения. Они нас простят.

Юхан. Ну и ладно. За тебя, Марианна, и за будущего малыша, пусть появляется на свет. Все-таки приятное событие, что ни говори. К тому же тебе очень идет беременность.

Наступает долгое молчание. Вдруг Марианна начинает плакать. Юхан смотрит на нее с изумлением.

Юхан. Ну что еще такое?

Марианна. Ничего.

Юхан. Но что-то да есть.

Марианна. Абсолютно ничего.

Юхан. Ты-то сама чего хочешь?

Марианна. Не знаю.

Юхан. Скорее всего, ни у тебя, ни у меня нет особого желания заводить еще детей.

Марианна. По-твоему, так?

Юхан. Да. По-моему, оба мы с ужасом думаем о кормлении, детском плаче, пеленках. И вечная спешка, и бессонные ночи — вся эта чертова карусель. Мы радуемся, что все это у нас позади.

Марианна. Если б ты знал, как меня совесть мучает.

Юхан. Из-за чего?

Марианна. Да из-за того, что сначала вот я мечтаю о ребенке, забавляюсь этой мыслью, фантазирую и радуюсь, а потом, когда дело сделано, рассказываю и жалею. Глупо и нехорошо.

Юхан. Ты не можешь без морали.

Марианна. Это, Юхан, мой четвертый ребенок. Один умер, другого я сама уморю.

Юхан. Ну, знаешь, так нельзя рассуждать.

Марианна. А я вот рассуждаю именно так.

Юхан. Тут надо смотреть практически, вот и все.

Марианна. Да не в том вовсе дело.

Юхан. А в чем же?

Марианна. Все дело в любви.

Юхан. Не надо впадать в патетику.

Марианна. Нет, я серьезно.

Юхан. Тогда объясни, что ты имеешь в виду.

Марианна. Нет, не могу, потому что это чувство, ощущение. С некоторого времени я как бы перестала ощущать свою собственную реальность. Будто я на самом деле существую. И ты. Ты тоже какой-то невсамделишный. И дети. И вдруг вся эта история с ребенком. Это вот реальность. Это на самом деле.

Юхан. Можно взглянуть и наоборот.

Марианна. А мы живем какой-то игрушечной жизнью, погрязли в своем дурацком комфорте, всего боимся — самим стыдно. И никакой у нас нежности. И никакой любви. И никакой радости. Мы могли бы принять малыша с распростертыми объятиями. И мне кажется, правильно, что я так ему радовалась, строя про себя всякие планы и фантазируя. Мне кажется, это было правильное чувство. Сейчас бы самое время. Я *созрела* для ребенка.

Юхан. Ты говоришь что-то непонятное.

Марианна. Вижу, что тебе непонятно.

Юхан. Можно подумать, ты уже сделала аборт.

Марианна. В каком-то смысле так оно и есть.

Юхан. Нельзя же казнить себя за одни только мысли.

Марианна (*почти кричит*). Это очень серьезно, Юхан! *Решается наше будущее*. Подумай: вдруг мы сделаем сейчас непоправимое! Подумай: вдруг это серьезно, а мы и не подозреваем, насколько это серьезно!

Юхан. Чего ты от меня требуешь? Что ты пугаешь меня какими-то нелепыми призраками будущего? Это ж самое настоящее суеверие.

Марианна. Ты не понимаешь.

Юхан. Из того, что ты сейчас наговорила, я действительно ни черта не понял.

Марианна. Мы просто стараемся увильнуть.

Юхан. Мы стараемся обойтись без резолюций и эффектных заключений, если ты про это. И по-моему, поступаем здраво. (*Тоскливо глядит на Марианну*.)

Марианна. Что-то ты тоже невеселый.

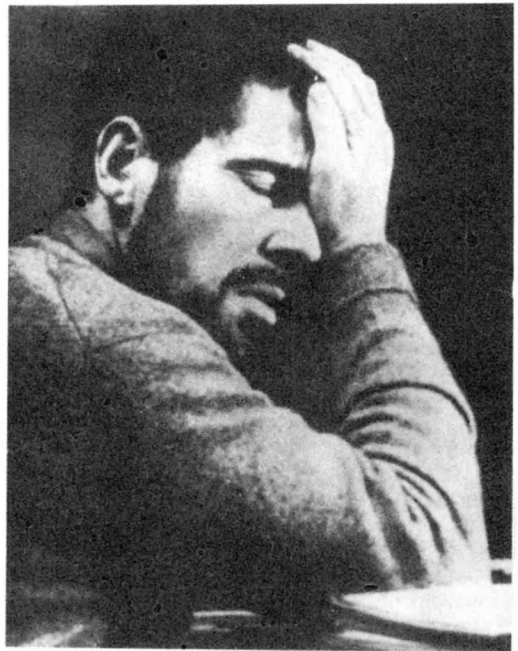
Юхан. Не по душе мне весь этот разговор.

Марианна. Юхан!

Юхан. Ну?

Марианна. А что если нам, не мудрствуя лукаво, оставить этого ребенка и просто радоваться ему? Разве нельзя позволить себе чуточку легкомыслия и просто любить этого малыша, плод нашего легкомыслия?

Юхан. Я уже говорил, что мне это было бы приятно, я не понимаю, о чем тут еще



толковать. Ты сама все усложняешь. Не я ведь.

Марианна. Так что, принимаем решение?

Юхан. Прости, какое именно решение?

Марианна. Мы принимаем решение завести еще ребенка.

Юхан. Ну, скажем, так.

Марианна. Фу, прямо гора с плеч.

Юхан (*ласково*). Вообще-то, наверно, не такой уж исключительный случай, когда сам не знаешь, хочешь тебе или нет.

Марианна. Наверно.

Юхан. Я даже думаю, что так оно, как правило, и бывает.

Марианна. Речь-то, в сущности, вовсе не о ребенке.

Юхан. Да, пожалуй.

Марианна. Речь-то о нас с тобой.

Юхан. Опять плакать собралась?

Марианна. Сама не знаю, что со мной творится.

Юхан. По-моему, тебе надо коньячку, а?

Марианна. Ага, хорошо бы.

Какое-то время спустя. Марианна лежит в постели. Входит Юхан, садится рядом. Берет ее руку в свою.

Юхан. Ну, как ты себя чувствуешь?

Марианна. Вполне прилично.

Юхан. Тяжко пришлось?

Марианна. Да нет, не особенно.

Юхан. Врач сказал, что завтра, в крайнем случае послезавтра, тебе уже можно домой.

Марианна. Ох и отосплюсь же я.

Юхан. Я тут подумал, хорошо бы нам

уехать вдвоем на дачу, когда ты немного оправившись. С десятого я, видимо, смогу взять несколько дней. Я звонил твоей маме, спрашивал, не могла бы она побыть это время с девочками, она сказала, что с великим удовольствием. Так что мы свободны.

Марианна. Да, было бы, наверно, чудесно.

Юхан. Вчера я, знаешь, обедал в компании с Йёраном и Свенном. Они предполагают, что Стуре будет назначен послом в Преторию, надо же, выбрали человеку местечко. Интересно, что скажет Айна. Тяжкий удар по ее самолюбию. Ты только представь: лишиться чаепитий у принцессы Сибиллы по пятницам! Нет, она не переживет.

Марианна. А когда будет точно известно?

Юхан. Да в любую минуту можно ждать.

Марианна. Между прочим, ты позвонил насчет обеда у Эгерманов? Надо ведь заранее предупредить, что мы не сможем.

Юхан. Нет, совсем забыл. Ну ничего, как приду, сразу позвоню.

Марианна. Ты родителям говорил?

Юхан. Я сказал, что тебе надо было сделать одну там пустяковую операцию и лечь пришлось срочно, потому что врач уезжает за границу.

Марианна. Ну и как мама?

Юхан. Мама рвалась принять участие и может объявиться в любую минуту.

Марианна. Еще чего!

Юхан. Если хочешь, я позвоню ей, скажу, что сейчас не надо. Могу, например, сказать, что ты спишь.

Марианна. Нет, нет, будет только хуже.

Юхан. Болит у тебя?

Марианна. Да нет, так, немножко.

Юхан. Я хотел поговорить с тобой насчет дачи. Ты как сейчас, в состоянии? Или, может, тебе лучше бы...

Марианна. Конечно, в состоянии.

Юхан. По-моему, надо бы нам пристроить веранду. Такую, знаешь, в сельском духе. Голубенькую.

Марианна. Может, и дом заодно перекрасить?

Юхан. Я уже про это думал. И крышу не мешало бы починить. А то скоро потечет.

Марианна. А денег у нас хватит?

Юхан. Можно сделать как подешевле.

Марианна. Тебе, наверно, надо поговорить с Густавом.

Юхан. Да, я с ним поговорю.

Марианна. Юхан.

Юхан. Да, милая.

Марианна. Держи меня за руку.

Юхан. Тебе приятно?

Марианна. Ага.

Юхан. Вот и хорошо, что приятно.

Марианна (*шепчет*). Юхан.

Юхан. Да?

Марианна. Я ужасно жалею.

Юхан не отвечает, держит ее руку.

Марианна. Глупо, конечно.

Юхан. Завтра тебе станет легче.

Марианна. Что же я наделала?

Юхан. Нелепо так думать.

Марианна. Да.

Юхан. Через месяц-другой все забудется.

Марианна. Неужели?

Юхан. Уверен, что забудется.

Марианна. Юхан.

Юхан. Да.

Марианна. Я не представляю, как я из этого выберусь.

Юхан. Тебе надо постараться немножко поспать.

Марианна. Ага.

Юхан. А я, пожалуй, пойду. Мне пора. Будь умницей, слышишь?

Марианна. Ну пока. Девочек поцелуй.

Юхан. Спи спокойно. На случай, если придет твоя мама, я велю сестре сказать, что ты спишь.

Марианна. Может, и правда лучше позволить. Чтобы не бегала зря.

Юхан. Я и говорю.

Марианна. Ты у меня хороший.

Юхан. Мне очень приятно, что ты так считаешь.

Марианна. На даче нам вдвоем будет просто чудесно.

Юхан. Будем вкусно есть и сладко спать. И смотреть телевизор. И ни о чем не будем думать.

Марианна. И будем всегда рядом.

Юхан. Ну спи. Спи спокойно.

Марианна. Не забудь позвонить Эгерманам.

Юхан. Не забуду, не забуду.

Марианна одна. Она закрывает глаза, но сон не идет к ней. Она лежит и смотрит в потолок. Слезы каплют на подушку. Она тихонько вздыхает.

2 ИСКУССТВО ПРЯТАТЬ ГОЛОВУ ПОД КРЫЛО

Марианна. Доброе утро.

Юхан. Привет. Доброе утро.

Марианна. Хорошо спал?

Юхан. Как убитый. А ты?

Марианна. Да вообще ничего. Глупо только, что проснулась в пять, ну а потом уж не могла заснуть.

Юхан. А почему не могла?

Марианна. Злость меня заела. Лежала и злилась.

Юхан. Это, наверно, на моей совести.

Марианна. В порядке исключения, ты не



виноват, милый. Я злилась из-за этого проклятого воскресного обеда с родителями.

Юхан. Да, но мы же всегда обедаем в воскресенье у родителей. То у твоих, то у моих.

Марианна. И глупо делаем.

Юхан. Мы делаем это ради них.

Марианна. Ну а сейчас вот я хочу позволить и отказаться.

Юхан. Хочешь отказаться? А что, по-твоему, скажет твоя мама?

Марианна. Пусть говорит, что хочет. К черту. Проведем хоть одно воскресенье по-человечески — ты, я и ребята.

Юхан. Посмотрим, как у тебя получится!

Марианна. Я сейчас злющая как черт.

Юхан. Наверно, срок подходит?

Марианна. У тебя на все одно объяснение.

Юхан. Так значит нет?

Марианна. Вообще-то я жду в понедельник, но можно подумать, у меня нет более серьезных причин, чтоб беситься.

Юхан. Но что именно, Марианночка? Что?

Марианна. Да ты сам подумай. Ведь вся наша жизнь расписана и расчерчена на клеточки по дням, по часам, по минутам. В каждой клеточке написано, что мы должны делать. Клеточки постоянно и своевременно заполняются. Если вдруг какая-нибудь клеточка оказывается пустой, мы страшно пугаемся и моментально вписываем соответствующие каракули.

Юхан. Но у нас есть отпуск.

Марианна (смеется). Юхан! Ты ж ничегошеньки не понял. Во время отпуска мы и подавно в кабале. Между прочим, во всем мама виновата. Да и твоя мамочка руку приложила.

Юхан. Что же за преступление совершили эти симпатичные старушки?

Марианна. Тебе все равно не понять, так что давай лучше не будем.

Юхан. Девочек не пора будить?

Марианна. Нет, пусть поспят. У Карин се-

годня свободный день, а Эва вечером что-то жаловалась на горло, пусть посидит дома. (Зло.) А то еще не сможет присутствовать на воскресном обеде. Представляю, какие последуют комментарии, ахи, охи, вопросы да расспросы. С ума можно сойти. Сам ведь знаешь.

Юхан. Ты же хотела позвонить и откататься.

Марианна. По-моему, лучше, если б ты.

Юхан. Я?! Нет уж, уволь. Я не собираюсь ввязываться в переговоры с твоей мамой. Ты уж как-нибудь сама.

Марианна. Потом еще позвоню твоей сестре и скажу, что у меня нет ни малейшего желания идти с ней в пятницу на этот показ моделей. И на обед к Бергманам в пятницу я тоже не собираюсь идти, так и скажу, что не придем. Они, конечно, жутко обидятся, ну и черт с ними. А ты откажись от этого приема в перуанском посольстве. И на французские уроки к твоей маме я тоже больше ходить не буду. И в театр сегодня вечером не пойду. А ты на следующей неделе постарайся освободиться, и мы поедем куда-нибудь проветриться. (Со слезами на глазах.) Господи! Вот дура! Будто от этого что-то изменится.

Юхан (ласково). Ну чем ты недовольна? Что бы тебе хотелось изменить?

Марианна (мочает головой). Не могу я этого выразить. Ну вот давай посмотрим. Мы с тобой много сил и времени отдаем работе. Ну и что? Это даже хорошо. Мы постоянно на людях. Также вроде ничего плохого. Всякую свободную минуту мы уделяем детям. И тут все правильно. Мы почти никогда не ссоримся, а если и ссоримся, всегда проявляем благоразумие, стараемся спокойно выслушать друг друга и прийти к справедливому компромиссу. Чего, казалось бы, еще желать?

Юхан. Прямо идиллия.

Марианна. Опасная идиллия. Что-то здесь есть очень тревожное.

Юхан. (улыбается). А виноваты, конечно, наши мамы.

Марианна. Мне кажется, они. Хотя у меня нет доказательств.

Юхан. Ну что ж, остается лишь высказать благое пожелание, чтоб милые дамы поскорее скончались.

Марианна (серьезно). Раньше надо было убивать!

Юхан. В Библии, кстати, сказано...

Марианна (рассеянно). Что же именно? Что сказано в Библии?

Юхан. Там ведь есть такое место: И всякий, кто оставит отца или мать, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Ну так как, будешь звонить своей маме? Уже можно. Она ведь у нас ранняя пташка.

Марианна. Разве мы не договорились, что ты позвонишь?

Юхан. Нет уж, моя радость. Давай сама звони. Прямо сейчас. А я буду держать тебя за руку, чтоб оказать моральную поддержку.

Марианна. Ладно, звоню. Чувствуешь? Сердце так и прыгает. А, была не была. Когда-то же надо сделать первый шаг.

Юхан. Первый слабенький выстрел великой революции. Не отвечает? Фу, слава богу!

Марианна. Алло. Доброе утро, фрёкен Альм. А мама уже встала? Вот и хорошо. Если нетрудно, позвоните ее, пожалуйста. Кстати, как ваши суставы? Не лучше, говорите? Даже хуже? Очень вам сочувствую. А что говорит врач? Так. Так. Ничего не понимает? Да уж, знаете, теперешние врачи... (Другим тоном.) Мама? Доброе утро. Как ты себя чувствуешь? Ну что ж, уже хорошо. А папа ушел? Ах да, верно, он же на дачу собирался. Ты не боишься отпускать его одного? С Эриком? Это хорошо. Мамочка, я должна тебя огорчить. (Длинная пауза, мать что-то говорит.) Все правильно. А как ты догадалась? Причины? Да никаких особых причин. Просто мне хочется провести это воскресенье с Юханом и ребятами. Нет, никуда не собираемся. Нет, не вообще, а только в этот раз. (Говорит мать.) Да не верю я, чтоб папа так уж радовался этому обеду. (Говорит мать.) Послушай, мама, но это ведь должно быть в удовольствие, а не по обязанности. (Говорит мать.) А, ну понятно. Понятно. Так я ж не знала. Ты же мне ничего не говорила. (Говорит мать.) Сказать по правде, восторга не испытываю. Нет, нет, мамочка. Забудь весь разговор. Да нет же, нет. (Говорит мать.) Ну, как услаливались. Ну ладно, хорошо. Да? Прекрасно! Спасибо. Привет тебе от Юхана. Пока, мамуля. Целую. (Кладет трубку.)

Юхан. Революция была задушена в зародыше.

Марианна. Тетя Эльза должна прийти. Первый раз за целых полгода выбралась в город, и уж так ей захотелось нас повидать, так она радовалась, что мы придем. И у нее для тебя подарок. (Зло.) Черт бы их драл!

Юхан. А мама специально попросила фру Даниельсон прийти приготовить обед. А папа просто адски по нас соскучился.

Марианна. Черт бы их драл!

Юхан. Но ты, должен сказать, вела себя мужественно. (Целует ее.) Ничего, в следующий раз не пойдем. Не огорчайся.

Марианна. Приедешь домой пообедать?

Юхан. Давай лучше встретимся прямо перед театром. Ну что-нибудь минут двадцать восьмого у правой кассы. Я приеду порань-

ше, чтобы успеть взять билеты.

Марианна. Странно все-таки.

Юхан. Что странно?

Марианна. Что не хочешь побыть дома.

Юхан. Ну и денек! Сплошные сложности.

Марианна. А знаешь, чего бы мне хотелось? Залезть бы вдвоем в постель, спрятаться от всего света и провалиться целую неделю. И поплакать всласть.

Юхан. Мы сами выбирали себе образ жизни.

Марианна. Еще неизвестно, сами ли мы выбирали или наши мамы.

Юхан. У тебя просто мания.

Марианна. Ты *хотел* себе такой вот жизни?

Юхан. Я считаю, единственное мерило ценности нашей жизни — наше собственное к ней отношение. Я не собираюсь оценивать свою жизнь с точки зрения вечных истин.

Марианна. Представь, если б мы с тобой изменили друг другу.

Юхан (*в растерянности*). Скажешь тоже...

Марианна. Я имею в виду не случайную разовую измену. А постоянную связь. Если б мы вдруг всерьез влюбились. Как бы ты к этому отнесся?

Юхан. Я бы тебя, разумеется, убил.

Марианна (*вздыхает*). Ах, как хочется иногда...

Юхан. Чего же?

Марианна. Ничего (*Поцелуй.*) Пока, милый!

Юхан. Пока! (*Поцелуй.*)

Марианна. Обожди минутку, Юхан. Я поеду с тобой.

Юхан. Может, поедешь лучше на своей?

Марианна. Нет, я тоже останусь в городе. А после театра приедем вместе домой. Так гораздо лучше.

Юхан. А девочки?

Марианна. Сегодня фру Андерссон придет убирать. Можно ей позвонить и попросить, чтоб покормила. Блинчики она делает изумительно. Одну минутку, я их только разбужу.

Юхан. Я уже опаздываю.

Марианна. Я быстренько.

Марианна убегает, и слышно, как она тормозит заспавшихся принцесс на горошине. Юхан снимает телефонную трубку, но, передумав, кладет ее обратно. Марианна возвращается. Она прихватила свой портфель. Юхан подает ей пальто. Они выходят, садятся в машину, отъезжают. На улице сильный дождь.

Юхан. Мне вполне достаточно где-нибудь перехватить пару сосисок по дороге в театр.

Марианна. Не забудь: в три тебе к зубно-му. А то в прошлый раз...

Юхан. Забыл, знаю, ты уже четвертый

раз повторяешь. Надо бы, между прочим, отвести машину в ремонт, тормозные огни ба-рахлят.

Марианна. До чего приятно прокатиться вот так вдвоем. И почему мы не ездим? А тебе ведь, признайся, не хотелось брать меня с собой. Да?

Юхан. Я не люблю импровизаций, ты же знаешь.

Марианна. А я наоборот. Иногда подумаешь: хорошо бы просто жить как живется. Как бог на душу положит. Есть, когда захочется, спать, когда захочется, любить, когда захочется. Немножко и поработать, когда соскучишься. Иногда меня охватывает непреодолимое желание плыть себе по течению, а утонешь так утонешь.

Юхан. У кого не бывает такого желания.

Марианна. У тебя. У тебя не бывает такого желания.

Юхан (*неожиданно резко*). Откуда ты знаешь?

Марианна. Нет уж, миленький, уж в этом-то отношении я тебя, по-моему, изучила. Ты слишком хорошо приспособлен к окружающей среде, чтобы тебе приходили подобные идеи. Ты во всем любишь ясность и порядок.

Юхан. И ты тоже.

Марианна. Не знаю. Разве?

Юхан. Ты жуткая педантка.

Марианна. Неужели?

Юхан. Ты ненавидишь всякий беспорядок, и душевный, и телесный.

Марианна. Вот как.

Юхан. Да, вот так.

Марианна. А у меня нет твоей уверенности.

Юхан. Уверенности в чем?

Марианна. В том, что я, в сущности, собой представляю.

Юхан. Да, пока не забыл. Заплати ты, пожалуйста, наконец свои штрафы. У тебя в машине уже целая пачка квитанций. Ну сколько можно?

Марианна. Будет сделано, господин профессор. Боже, ну и дождь. Надо было взять зонтик. И ноги теперь промочу.

Юхан. Ничего не поделаешь, тебе вылезать.

Адвокатская контора расположена в тихом переулке. Марианна целует мужа в щеку и выбирается из машины. Юхан, пома-хав ей на прощание рукой, трогается с места. Дождь так и льет, и Марианна вбе-гает в подъезд, быстро пересекает холл и поднимается по парадной лестнице этого старинного, солидного здания с его до блеска отполированными лестничными перилами, разноцветными окнами-витражами и массивными, облицованными мрамором стенами. Она здороваается на ходу с секретаршей и первой на сегодняшний день клиенткой,

которая уже дожидается ее в приемной. В кабинете она надевает другие туфли, снимает жакет, вешает его в шкаф и облачается в удобную вязаную кофту. Приоткрывает дверь и приглашает клиентку в кабинет.

Марианна. Пожалуйста, заходите, фру Якоби. Садитесь, пожалуйста. Поскольку это наша первая с вами встреча, мы сегодня попытаемся лишь сформулировать, в чем заключается проблема. А уж потом посмотрим, как нам ее разрешить.

Фру Якоби. Я хочу развестись.

Марианна. И давно вы замужем?

Фру Якоби. Я замужем двадцать лет.

Марианна. Вы где-нибудь работаете или служите?

Фру Якоби. Нет, я, как это называется, домохозяйка.

Марианна. Сколько у вас детей?

Фру Якоби. У нас трое детей. Все уже взрослые. Младший отбывает сейчас военную службу. Старшая девочка замужем, а вторая учится в университете и живет отдельно.

Марианна. Значит, вы сейчас одна.

Фру Якоби. Со мной, естественно, мой муж.

Марианна (улыбается). Ну да, само собой. Он что, тоже в основном дома?

Фру Якоби. Нет, он преподаватель. Читает лекции.

Марианна. Почему вы хотите развестись?

Фру Якоби. Между нами нет любви.

Марианна (осторожно). Да, но вы ведь уже столько лет женаты. Это что же, всегда так было или же...

Фру Якоби. Всегда так было. Да.

Марианна. А теперь, значит, когда дети выросли и ушли из дома, вы хотите порвать. Так?

Фру Якоби. Муж у меня очень внимательный. Мне не в чем его упрекнуть. Человечек он добрый, очень положительный. Он всегда был прекрасным отцом. Мы никогда не ссорились. У нас хорошая квартира и чудесный старинный загородный дом, доставшийся нам от его матери. Оба мы увлекаемся музыкой и даже состоим в обществе любителей камерной музыки, то есть сами играем.

Марианна. Ну что ж, все у вас вроде бы хорошо.

Фру Якоби. Вроде бы хорошо. Но между нами нет любви. И никогда не было.

Марианна. Простите за нескромный вопрос. Может быть, в вашей жизни появился другой мужчина?

Фру Якоби. Нет, у меня никого больше нет.

Марианна. А как насчет вашего мужа?

Фру Якоби. Насколько я знаю, он мне ни-

когда не изменял.

Марианна. А вас не пугает одиночество?

Фру Якоби. Пугает, конечно. Но лучше уж одиночество, чем жить с человеком без любви.

Марианна. Но в чем же, простите, все-таки проявляется это отсутствие любви?

Фру Якоби. Да ни в чем.

Марианна. Тогда я ничего не понимаю.

Фру Якоби. Это очень трудно объяснить.

Марианна. Вы говорили своему мужу, что хотите развестись?

Фру Якоби. Естественно. Я еще пятнадцать лет назад говорила ему, что не хочу с ним больше жить, потому что какой же это брак без любви. Он тогда проявил очень много понимания. Он только просил меня подождать с разводом, пока дети станут взрослые. Теперь я могу получить развод.

Марианна. А что говорит ваш муж?

Фру Якоби. Он просит, чтоб я сначала хорошенько все обдумала. Он сто раз меня спрашивал, чем уж так плох наш брак, что я хочу развестись. А я ему всегда говорю, что нельзя продолжать жить с человеком, если нет любви. А он каждый раз спрашивает, в чем же должна заключаться эта самая любовь. Но я же ему сотни раз говорила, что невозможно описать то, чего нет.

Марианна. А как у вас сложились отношения с детьми? Я говорю про чувства.

Фру Якоби. Я никогда не любила своих детей. Это я точно знаю. Но матерью я была все же неплохой, даже хорошей. Я делала для них все, что могла, хотя, в сущности, ничего к ним не чувствовала. (Улыбается.) А я ведь знаю, что вы сейчас думаете.

Марианна (застыгнутая врасплох). Вот как? Вы, должно быть, умеете читать мысли на расстоянии?

Фру Якоби. По-моему, вы сейчас вот что думаете: ну и зануда же эта фру Якоби, просто-напросто с жиру бесится. Все у нее, кажется, есть, все, что душе угодно, так нет же, подайте ей еще какого-то там журавля в небе под названием любовь. Существует ведь и еще кое-что: взаимное доверие, нежность, дружба, симпатия.

Марианна. Пожалуй, мне и правда подумалось что-то в этом роде.

Фру Якоби. А хотите, я открою вам про себя одну вещь. Мне почему-то представляется, что я, в сущности, совсем не такая, какой меня все знают. У меня в голове есть совсем другой образ самой себя.

Марианна. Простите, фру Якоби, но у меня к вам вопрос чисто личного порядка. А что если любовь...

Фру Якоби. Да, я слушаю.

Марианна. Да нет, ничего. Продолжайте.

Фру Якоби. Мне, видите ли, представляет-

ся, что во мне заложена способность любить, но все это у меня где-то за семью печатями. И мне ужасно жаль, что та жизнь, которой я до сих пор жила, не благоприятствовала раскрытию этой способности, а, наоборот, все больше загоняла ее куда-то внутрь, в какую-то герметическую оболочку. Я больше так не могу, надо что-то с этим делать. И первым шагом здесь должен быть развод. Я считаю, что мы с мужем мешаем друг другу, вроде как бы умерщвляем друг друга.

Марианна. Какие вы страшные вещи говорите.

Фру Якоби. Да, это действительно страшно. Происходит, знаете ли, что-то совсем уж страшное. Мои чувства, ну, я имею в виду осязание, зрение, слух, начинают мне изменять. Я, например, знаю, вот это вот стол, я его вижу, могу потрогать. Но восприятие какое-то ограниченное, неполнокровное. Вы меня понимаете?

Марианна (неожиданно). Мне кажется, понимаю.

Фру Якоби. И так во всем. Музыка, запахи, человеческие лица, голоса. Все делается каким-то бесцветным, убогим, незначительным.

Марианна. Вы надеетесь встретить другого спутника жизни?

Фру Якоби (улыбается). Нисколько. Я не строю себе никаких иллюзий.

Марианна. А вы можете объяснить мужу, что с вами происходит?

Фру Якоби. Что вы, он только злится и начинает говорить грубости. Говорит, что я романтическая дура и что это просто климакс.

Марианна. Самое лучшее, если б вам удалось уговорить мужа, чтобы он дал согласие на развод.

Фру Якоби. Он говорит, что не даст согласия ради моего же блага. Ты, говорит, сама потом пожалеешь.

Марианна. Но вы-то твердо решили?

Фру Якоби. У меня нет выбора. Вы меня понимаете?

Марианна (уклончиво). Кажется, да.

Вдруг Марианна встает, про что-то вспоминая, и просит фру Якоби извинить ее, она только на минутку. Она выходит в приемную и звонит по телефону секретарши. Подходит Юхан.

Марианна. Привет. Прости, что отрываю.

Юхан. Ничего.

Марианна. Ты как насчет ленча? Может, вместе перекусим?

Юхан. Давай. Весь мой ленч — кефир с бутербродом. В половине первого.

Марианна. А ты куда ходишь — в грильбар, так ведь? Значит встречаемся там в половине первого. Ну пока!

Юхан в своей лаборатории. Стоя на маленькой металлической стремянке, он фотографирует прикрепленные к стене карточки с результатами эксперимента.

Звонит телефон. Юхан, чертыхнувшись, слезает со стремянки и берет трубку.

Юхан. Алло. Да, это я. А, привет, мамуля, я тебя не узнал. Что-то плохо слышно. Спасибо, нормально. А ты как? Беспокоишься? В каком смысле? Марианнина мама звонила? А в чем дело-то? Тоже беспокоится? О боже! Да нет же, нет, уверяю тебя. Все у нас отлично. Мы здоровы, веселы, бодрь, к тому же полны оптимизма, к тому же безумно счастливы друг с другом. Абсолютно ничего не случилось. Клянусь тебе. Не беспокойся ты, ради бога. Интуиция? Ну, на сей раз твоя интуиция тебя подвела, уверяю тебя. Все у нас отлично. Отношения прекрасные. Советую тебе позвонить Марианниной маме и передай ей от меня, пусть лучше делом займется, а не болтает с тобой по телефону. Извини, мне сейчас некогда. Конечно, увидимся. В пятницу заглянем, как договорились. Папе привет. (*Кладет трубку.*) Фу! Совсем заговорила. Болтуны чертовы!

Он передвигает стремянку и снова приступает к работе.

Стук в дверь.

Юхан. Войдите.

Эва. Привет.

Юхан. А, привет.

Эва. Помешала?

Юхан. Само собой.

Эва. Я только посмотреть, над чем ты тут колдуешь. Говорят, ты что-то удивительное задумал. (*Оглядывается кругом.*) И что же это такое будет? Чудеса какие-то!

Юхан. А как ты здесь оказалась? Ты же вроде должна быть сегодня в Лунде.

Эва. Вообще-то да. Но студенты опять устроили демонстрацию по какому-то там важному поводу, так что лекции отменили.

Юхан. Тебе повезло.

Эва. Ага. Вот я и примчалась. А что ты, собственно, такое задумал? Расскажи, а?

Юхан. Давай лучше покажу.

Эва. А что мне надо делать?

Юхан. Возьми этот вот карандаш в правую руку. Я сейчас выключу свет, и тут вот на стене, на карточке, ты увидишь яркую, светящуюся точку. Попытайся попасть в нее кончиком карандаша. На карточке останутся отметки. А эта вот телекамера будет фиксировать твои движения.

Проводится эксперимент. Эва никак не может попасть и под конец уже не на шутку злится...



Эва. Нет, не могу, надоело. Включи, пожалуйста, свет.

Юхан (включает). А здорово ты разозлилась.

Эва. Ага. Действует, знаешь, на нервы.

Юхан. Вот именно. Под конец все начинают нервничать. Забавно, правда? Вот иди сюда, погляди. Видишь, какой беспорядочный узор и все дальше от цели. Видно, что ты все больше нервничала.

Эва. Действительно. Ну а какие же выводы?

Юхан. Выводы еще рано делать. Это только начальная стадия.

Эва. Понятно. Ох, сигаретку бы сейчас...

Юхан. Располагайся, кури.

Эва. Да я, понимаешь, шесть дней как бросила. Жуткое состояние.

Юхан. Трудно, значит, отвыкать-то?

Эва. И Стефан как назло уехал, и друзья совсем меня забыли. Я, наверно, снова закурю, но все-таки попробую еще немножко продержаться.

Юхан. Ничего, одну-то можно. Даже нужно. Вот, пожалуйста. Это Бромейс забыл свою пачку, он тут заявился вчера произвести разведку. Бери, бери.

Эва (вздыхает, прикуривает, сидит наслаждается). Ах, хорошо! Сразу легче стало.

Юхан. Потом тебя будет мучить совесть, а это тоже своего рода наслаждение. В наше время нельзя упускать ни малейшей

возможности понаслаждаться. (Улыбаясь.) Ну, что скажешь?

Эва. А я ведь, собственно, ради этого и пришла.

Юхан. Умница.

Эва. Я вчера специально выкроила вечер и очень внимательно все прочитала два раза подряд.

Юхан. Ну и как тебе?

Эва. Я ничего не поняла.

Юхан. Вот как? Что, так уж сложно?

Эва. Наоборот.

Юхан (горько улыбается). Значит, слишком просто?

Эва. Может, я и ошибаюсь. А Марианна эти стихи читала?

Юхан. Нет, кроме тебя, никто не читал. Марианна не слишком интересуется поэзией.

Эва. Но ей следовало бы интересоваться тобой.

Юхан. Она это и делает, только по-другому.

Эва (смотрит на него с улыбкой). Вот, значит, как. Не читала.

Юхан. И ничего тут такого удивительного. Мы с тобой друзья со студенческих лет. Мы не связаны интимными отношениями. От тебя я могу ожидать беспристрастной оценки, а мне важно ее услышать, прежде чем я пойду предлагать свои стихи в издательство.

Эва. Ну и зря.

Юхан. Что зря?

Эва. Зря ты хочешь идти в издательство.

Юхан. Настолько уж, по-твоему, плохо?

Эва. Да нет, Юхан, не в том дело, что плохо. Чуть было не сказала: хорошо бы, если б плохо.

Юхан. То есть, по-твоему, вообще никак?

Эва молча вздыхает.

Юхан. По-твоему, это бледно, безобидно и прилизанно. По-твоему, это просто жалкое нытье, интересное только самому автору. Этакий приватный душевный онанизм.

Эва. Я скажу тебе одну вещь.

Юхан. Ну?

Эва. Ведь в нашей группе очень многие думали, что из тебя получится что-нибудь выдающееся. Мы считали, что ты просто феномен. Ты всегда и во всем обгонял нас, и мы даже немножко завидовали.

Юхан. А какое отношение это имеет к моим стихам?

Эва. Не знаю. Просто вдруг пришло в голову.

Юхан. Ну что ж. У меня нет оснований жаловаться.

Эва. Вот и прекрасно.

Юхан. А ты уверена, что твое впечатление от стихов никак не связано с твоим теперешним состоянием? Видно ведь, что



нервы у тебя на пределе.

Эва. Очень может быть.

Юхан. Тебе не кажется, что все дело просто в том, что ты шесть дней не куришь?

Эва. Вполне вероятно. *(Добродушно улыбается.)*

Юхан. Я намерен все же показать свои стихи кому-нибудь еще, прежде чем браковать их.

Эва. Юхан, милый, разумеется, покажи.

Юхан. Я намерен послать их сразу в несколько издательств. Чтоб у меня были веские доказательства их непригодности.

Эва. Я очень тебя обидела, да?

Юхан. А ты как думаешь!

Эва. Ну прости, пожалуйста.

Юхан. Между прочим, есть *один человек*, кому мои стихи нравятся.

Эва. Кто же это?

Юхан. Много будешь знать, скоро состарись.

Эва. Ну не хочешь — не надо. Вот видишь: один голос за, один против. И не думай больше про то, что я сказала. Во всем виновато это проклятое курево. Так и решим. Ну я пошла, дружок. Рукопись оставляю в проходной. Привет Марианне. *(Оборачивается.)* И помни, что я тебя все равно люблю. Пока!

Юхан. Пока.

Эва уходит, и Юхан остается один в

своей мрачной келье. Он хватается было за телефонную трубку, но пересиливает себя.

Снова приступает к фотографированию.

Гриль-бар довольно тесный, и народу полно. Юхану и Марианне достался старозаветный столик у окна.

Марианна. До чего приятно позавтракать вместе. Давно уж мы так не сидели.

Юхан. Ну? Так в чем дело?

Марианна. Я считаю, что этим летом нам надо поехать в какое-нибудь путешествие. Только ты и я, вдвоем. С отпусками ведь все улажено, и лучше уж куда-нибудь поехать, чем сидеть дома. Вот погляди. Я обегала все туристические бюро и набрала целую кучу проспектов. Если заранее сделать заявку, можно поехать с какой-нибудь группой, это совсем недорого. А там уж мы можем быть сами по себе. Просто обойдется немного дешевле.

Юхан. А на даче, значит, вообще не будем?

Марианна. Дача от нас не уйдет, можем бывать там хоть всю весну и всю осень.

Юхан. Ну и куда же, ты думаешь, нам поехать?

Марианна. Да куда угодно. Мы, например, никогда не были во Флоренции. А можно поехать на Черное море. Тебе не хочется? А может, в Африку? Есть, например, очень дешевые туристские маршруты в Марокко.

Или вот в Японию. Ты только представь — посмотреть Японию!

Юхан. Откуда вдруг такая жажда путешествий?

Марианна (*после паузы*). А ты разве не считаешь, что это было бы здорово? Взять да и махнуть куда-нибудь подальше. А?

Юхан. Не знаю.

Марианна. Ну тогда не о чем и говорить. (*Собирает проспекты.*)

Юхан. Ты расстроилась?

Марианна. Когда ты не в духе, ты всегда предъявляешь мне одно очень странное обвинение. Ты говоришь, что я не забочусь о поддержании наших отношений. Твои ведь слова, верно? Ну вот я и решила позаботиться.

Юхан. Чрезвычайно предупредительно с твоей стороны.

Марианна. К чему тут ирония?

Юхан. Никакой иронии. Я действительно считаю, что ты проявила редкое внимание. Просто дело в том, что мне как-то не улыбается колесить в жару по всему свету. Когда можно тихо-мирно сидеть в лодке и удить рыбу.

Марианна. И все будет, как всегда.

Юхан. Детей можно бы, наверно, отправить к твоей сестре. И мы пожили бы вдвоем, без забот и хлопот.

Марианна. Если мы останемся дома, то нельзя.

Юхан. Почему же?

Марианна. Это произведет довольно странное впечатление.

Юхан. Ну и что?

Марианна. Нет, нечего и думать. А что, по-твоему, скажет мама? Начнутся ахи, охи, разговоров не оберешься. Детям, кстати, это тоже покажется странным. Можно, конечно, договориться с Вальборг, скажем, на неделю, ну дней на десять, но никак не больше.

Юхан. Почему мы вечно должны думать о том, кто что скажет?

Марианна. Непонятно, чего ты доби- ваешься.

Юхан. Марианна!

Марианна (*неожиданно серьезно*). Да, Юхан.

Юхан. Ты считаешь, что жить на свете скучно?

Марианна. Нет. Ну и вопрос! А тебе скучно?

Юхан. Не знаю. Это не моя терминология.

Марианна. Я по-прежнему считаю, что жить очень увлекательно.

Юхан (*смотрит на нее*). Какая ты все же у меня красавица.

Марианна. Господи! С такой вот причесочкой и в этой жуткой старой кофте, и я даже не успела накраситься.

Юхан. Марианна!

Марианна. У тебя что-то на душе, да?

Юхан. Неужели на свете так коварно устроено, что вся твоя жизнь может вдруг пойти кувырком? И сам даже не знаешь, как это получается. Вроде бы само собой.

Марианна (*тихо*). Ты это про нас?

Юхан. То ли все дело в том, что человек сам ошибается в выборе. То ли и выбора никакого не существует, а есть просто рельсы, и ты бездумно катишься по ним. Пока не окажешься на свалке.

Марианна (*испытующе*). Что-нибудь случилось, Юхан?

Юхан. Ничего. Абсолютно ничего. Клянусь тебе.

Марианна. Мы ведь вообще довольно откровенны друг с другом. Правда?

Юхан. По-моему, да.

Марианна. Ужасно носить что-то в себе и терзаться в одиночку. Обязательно надо все высказывать, как бы это ни было трудно. Ведь надо, правда?

Юхан (*раздраженно*). Вот черт... Сколько на твоих?

Марианна. Четверть второго.

Юхан. Мои опять стоят. Так про что ты? Ну да, откровенность. В эротическом плане? Ты ведь это имеешь в виду?

Марианна. Иногда мне кажется, что мы...

Юхан. Нельзя жить в постоянной близости. Это было бы слишком утомительно.

Марианна. Можно подумать, это главная проблема нашей жизни!

Юхан. Ты извини, но мне пора.

Марианна. А я пойду немножко прогуляюсь. Заодно, может, куплю Карин брюки.

Юхан. О господи, ты ведь только на той неделе купила.

Марианна. Так те были для Эвы.

Юхан. Пускай бы донашивали одна за другой. Мы почему-то могли.

Марианна. Не те нынче времена, пора бы тебе, беденький мой, привыкнуть. Ну пока, в театре увидимся.

Юхан. До встречи.

Марианна (*неожиданно*). А знаешь ли ты, что я тебя очень, очень люблю? Тебе это известно? Ты знаешь, что я ужасно боюсь тебя потерять? Мне надо бы почаще говорить тебе такие вот слова, я понимаю, что тебе важно их слышать. Да я не очень-то умею, такая уж уродилась. Но я постараюсь исправиться. Ты у меня лучше всех. И я тебя очень, очень люблю.

Юхан. Постараюсь это запомнить.

Марианна. Ну пока. Смотри, будь осторожней с машиной.

Марианна с Юханом едут домой из театра, где они смотрели «Кукольный дом» Ибсена.

Юхан. Эх, сейчас бы бутербродиков с пивом! А то, знаешь, смотреть Ибсена на пустой желудок, проглотив вместо обеда пару

сосисок, — это хоть кого доконает.

Марианна. Нора, по-моему, была очень хороша.

Юхан. Да, но сама-то пьеса совсем не смотрится. Жутко устарела. Кстати, и Стриндберг тоже так считал.

Марианна. Это он из зависти.

Юхан. Что ни говори, за последние сто лет в мире кое-что изменилось. Правда, все произошло не совсем так, как надеялся Ибсен.

Марианна. Изменилось ли?

Юхан (усмехается). Женский вопрос давно уж набил всем оскомину, Марианночка. Женщины сейчас могут выбирать себе дело по собственному желанию. Жаль только, что желания-то нет.

Марианна (улыбается). Да? Интересно!

Юхан. Женщины изображают из себя мучениц. Очень выгодная позиция. А главное — никакой ответственности, когда доходит, так сказать, до дела. Я всегда считал не слишком-то оправданными все эти охи и ахи вокруг поборниц женского равноправия. Особенно когда речь идет об их попытках пробудить к жизни своих сестер по несчастью. Безликая масса суетных, пустых, косных существ, которые сами же с пеленок «промывают себе мозги». Поистине душераздирающее зрелище!

Марианна. Лиха беда начало. Погоди — еще увидишь.

Юхан. Ничего я никогда не увижу. Есть вот, например, у меня на работе две старые тетki, которые черт те сколько лет просидели рядом. Общаются они друг к другу не иначе как «фрёкен Шульц» и «фру Пальмгрен» и уж не упустят случая напакостить или позлословить друг о друге.

Марианна. Убедительная аргументация.

Юхан. А ты слышала, чтоб когда-нибудь существовал женский симфонический оркестр? Ты только представь себе: сто десять баб со всякими там естественными женскими недомоганиями исполняют увертюру к «Сороке-воровке» Россини!

Марианна. Твое счастье, что никто тебя сейчас не слышит.

Юхан. Все женщины немного ненормальные. Представь себе какого-нибудь подонка, спившегося, опустившегося, в общем не человек, а живая развалина. И клянусь тебе: обязательно отыщется энное количество прелестных женщин, которые будут порхать этими белокрылыми птицами вокруг останков этой свиньи. Свинья заживо разлагается и смердит, всячески их третирует — ничто не имеет никакого значения. Алчные взоры, плающие щечки и мученические мины — все вместе выглядит неотразимо. Некий идиот от равноправия — вроде бы из прогрессивных священников — утверждал, что женщина так долго жила в рабстве, что полюбила свое

унижение.

Марианна (улыбается). Вот уж, действительно, глупость.

Юхан. Женщина с самого начала захватила себе лучшую роль. И черта с два она теперь с ней расстанется, когда уже в совершенстве овладела ею, и к тому же добилась того, к чему всегда стремилась: мужских мук совести, которые дают ей колоссальные преимущества, без малейших усилий с ее стороны. Зачем женщине в риксдаг или в правительство? Для того, чтобы разделить с мужчиной ответственность? Чтобы лишиться своего выгодного положения оппозиции? Чтобы расстаться со своими излюбленными страстишками: страстью воспитывать детей и быть содержанкой и рабыней? Одна женщина, я слышал, как-то сказала: «Но разве не обладаем мы, женщины, совершенно особым даром нежности?» Я не расхохотался только потому, что я человек воспитанный. Типичная пропагандистская фраза из тех, которыми вы пользуетесь, когда надо вывернуться из щекотливого положения. В таком случае позволительно спросить: а разве не обладает женщина совершенно особым даром грубости, жестокости, вульгарности и бесцеремонности? (Смеется.) Да ничего я такого не думаю, треплюсь просто, и вообще: чихать я хотел на все эти дела.

Бутерброды с пивом за кухонным столом. Марианна сняла свое черное вечернее платье и облачилась в белый махровый халат. Юхан без пиджака, в рубашке с закатанными рукавами.

Марианна. Ты знаешь, я вернулась сегодня после ленча на работу и вижу: наша Эльза, ну секретарша, ты знаешь, так вот, вижу, она сидит на диване вся зареванная, из носа у нее кровь, а под глазом вот такой синяк. Оказывается, на нее напали какие-то ребята, лет так по пятнадцать. Прямо на улице, среди бела дня. Ты думаешь, кто-нибудь вмешался? Стояли вокруг и глазели. Потом явились двое полицейских с жутко недовольными физиономиями, допросили свидетелей и чуть ли не отругали Эльзу, мол, стати она таскает в сумке свою зарплату. Сама же еще оказалась и виновата.

Юхан. И куда мы катимся? Иногда начинает казаться, что все наше общество трещит по швам.

Марианна. А в молодости мы ведь были полны надежд.

Юхан. Помнишь, как нас не хотели пускать в дом, когда мы явились с первомайской демонстрации?

Марианна. А наши любительские спектакли!

Юхан. Я был не такой идейный, как ты.

Марианна. Ругался, что я совсем забросила

семью.

Юхан. Это было в ту зиму, когда мы все болели гонконгским гриппом. А ты все равно тащишься на свои политические мероприятия. И с детьми обязательно хотела управляться сама, без прислуги, и при этом еще чтоб работать как полагается. Ох, как мы ссорились!

Марианна. А потом перестали. Нет, все же хорошая была у нас тогда жизнь.

Юхан. Да, пожалуй.

Марианна. Что ни говори, у нас была вера. Мы верили в светлое будущее человечества.

Юхан. Хорошо, конечно, когда есть вера. Не спорю. Но кроме того, нам доставляло удовольствие злить своих родителей, тоже вещь немаловажная. Ох, какая ты была злючка! Очаровательная злючка. Ты была совершенно неотразима, когда была социалисткой.

Марианна. А сейчас разве нет?

Юхан. Что «нет»?

Марианна. Не неотразима?

Юхан. Ты и сейчас, конечно, привлекательна. А почему ты спрашиваешь?

Марианна. Я тоже над этим задумывалась.

Юхан. Всегда, что ли, так бывает, что когда люди долго живут вместе, они начинают немножко уставать друг от друга?

Марианна. Устать-то мы, конечно, не устали.

Юхан. Ну что-то похожее.

Марианна (*уступает*). Это самая обычная физическая усталость. Просто мы слишком выматываемся за день, и вечером нам уже ни до чего.

Юхан. Марианна, я же не в упрек тебе.

Марианна. Не уверена.

Юхан. Честное слово.

Марианна. Но мы по-прежнему нравимся друг другу, во всех отношениях.

Юхан. Только не в этом. Во всяком случае, не так чтобы очень.

Марианна. Ну как же. Вот именно очень.

Юхан. Да, вот только теперешняя наша интимная жизнь — это сплошные уговоры, отказы, ограничения и запреты.

Марианна (*обиженно*). Я не виновата, если меня не так уже тянет, как раньше. Что я могу поделать. На то есть вполне естественные причины. И нечего меня обвинять. Не хватало еще, чтоб я чувствовала себя виноватой!

Юхан (*ласково*). Ну не надо волноваться!

Марианна. Я считаю, у нас с тобой и так очень даже хорошо. Ну нет у нас особой страсти, и не надо, нельзя же требовать всего сразу. Бывает, поверь мне, гораздо хуже.

Юхан. Конечно. Что бывает, то бывает.

Марианна. На сексе свет клином не сошелся! Это уж точно.

Юхан (*смеется*). Марианна, ну чего ты...

Марианна (*дрожащим голосом*). А если я тебя не устраиваю — пожалуйста, заведи се-

бе любовницу, чтоб была изобретательней меня и сумела бы тебя расшевелить. А я на большее не способна. Я и так стараюсь изо всех сил.

Юхан (*мрачнеет*). Что верно, то верно.

Марианна. И не строй, пожалуйста, такую мину.

Юхан. Ничего я не строю.

Марианна. Терпеть не могу эту твою мину и этот тон. Из тебя клещами надо вытягивать. Давай выкладывай.

Юхан. Не знаю, стоит ли. Что бы я ни сказал на эту тему, ты только злишься.

Марианна. Я не буду злиться. Я тебя слушаю. И постараюсь быть совершенно объективной.

Юхан. Я вот иногда думаю: с какой вообще стати мы делаем из этого целую проблему и так все усложняем и запутываем? Разве спать друг с другом не элементарнейшая, в сущности, вещь? По идее, тут и проблемы-то никакой нет, а у нас она чуть ли не все заслоняет. Мне кажется, тут твоя мама виновата. Хоть ты и не любишь, когда я так говорю.

Марианна. Просто я считаю, что это самое обыкновенное идиотское верхоглядство.

Юхан. Не надо лезть в драку, Марианна. Я же с тобой по-хорошему.

Марианна. Ну да, а сам меня во всем винишь. Я одна у тебя виновата, что нам теперь хуже, чем раньше.

Юхан. Ты только что сказала, что стараешься изо всех сил.

Марианна. Да, я действительно стараюсь. Я стараюсь. Юхан.

Юхан. И тебе не стыдно произносить это вслух?

Марианна. Ты думаешь, я вру?

Юхан. Да нет же, черт возьми! Нет же! Нет!

Марианна. Тогда я не понимаю.

Юхан. Давай-ка лучше прекратим этот разговор и пойдем спать. Тем более время уже позднее.

Марианна. Вот ты всегда так. Сам же начинаешь выяснять отношения, а когда доведешь меня до точки, зеваешь и говоришь, что тебе спать хочется.

Юхан. Марианна! (*Пауза*). Ты удручающе честолобива. Сколько уж мы острили по этому поводу. И сколько ругались. Может, устроим все-таки передышку и дадим нашей бедной сексуальной жизни чуточку отдохнуть от твоего честолобия.

Марианна (*плачет*). Господи, ну почему ты вечно со мной из-за этого скандалишь. То ругаешься, почему я ленюсь, то ругаешься, почему стараюсь.

Юхан (*кратко*). Правда. Это я первый начал.

Марианна. Ты, конечно, кто ж еще. Лучше б ты был со мной поласковее. Было бы

гораздо больше проку.

Юхан. Наверное. (*Уступает.*) Ну, девочка моя милая. Ну не расстраивайся, пожалуйста. Дурак я, что начал во всем этом копать-ся.

Марианна. По-моему, знаешь что? По-моему, в таких делах надо иногда уметь промолчать.

Юхан (*уступает*). Очень может быть.

Марианна. Считается, правда, что надо всегда всем делиться и нельзя ничего скрывать, но, по-моему, это не должно касаться чисто интимных вещей.

Юхан (*слышал это и раньше*). Пожалуй, ты права.

Марианна (*настойчиво*). Есть вещи, которые нельзя вытаскивать на свет, на всеобщее обозрение.

Юхан. Ты думаешь?

Марианна. Я просто убеждена. Мы только напрасно огорчаем и раним друг друга. А занозы-то остаются. И в постели остаются. Ей-богу, не постель получается, а какая-то доска с гвоздями!

Юхан (*смеется*). Вот-вот.

Марианна (*подозрительно*). Над чем ты смеешься?

Юхан. Над «доской с гвоздями».

Марианна (*милостивее*). И ты еще можешь смеяться?!

Юхан. Может, пойдем все-таки спать?

Марианна. Признайся, что ты вел себя ужасно. Глупо, грубо и бестактно.

Юхан. Ну прости меня.

Марианна. Ты считаешь, что я проявляю к тебе слишком мало нежности?

Юхан. Нежность требует времени.

Марианна. Но тебе мало, да?

Юхан. Мы и получаем, и даем слишком мало.

Марианна. Вот поэтому я и хотела поехать с тобой куда-нибудь летом.

Юхан. Я не думаю, что нежность — специально отпускное занятие.

Марианна (*целует его*). Ты у меня все равно хороший, хоть и дурак.

Юхан. Выходит, мне крупно повезло с женой.

Марианна (*целует его*). У тебя бывают, конечно, свои светлые минуты, но в промежутках ты чудовищная посредственность.

Юхан. В нашем возрасте ежедневно разрушается до десяти тысяч нервных клеток, а они ведь невосстановимы.

Марианна (*целует его*). У тебя, наверно, разрушается в десять раз больше, раз ты такой глупый.

Юхан. А ты у меня все равно красавица, хоть и скандалистка.

Он целует ее и кладет руку ей на грудь. Она осторожно отводит его руку. Он усмеивается, встает и зевает. Марианна улыбает-

ся немного виноватой улыбкой.

Юхан. Прямо глаза закрываются.

Марианна. Я сейчас, только загляну, как там девочки.

В детской она обнаруживает, что Карин не спит, лежит с открытыми глазами, тихо и неподвижно.

Марианна. Карин, детка, ты не спишь?

Карин. Нет.

Марианна. А почему?

Карин. Я не хочу засыпать. Мне очень страшное снится.

Марианна. Что же тебе такое снится?

Карин. Мне все время снится, будто началась война.

Марианна. Хочешь, принесу тебе стакан молока?

Карин. Принеси, пожалуйста.

Марианна идет на кухню и наливает стакан молока. Когда она возвращается, Карин уже спит. Она ставит молоко на тумбочку возле кровати и на цыпочках выходит из комнаты, оставив дверь полуоткрытой. Юхан уже лежит в их двуспальной супружеской кровати. На носу очки, он читает. Она тоже берет с тумбочки книгу и надевает очки, кладет в рот какую-то таблетку, запивает водой и устраивается поудобнее. Вскоре Юхан выключает свою лампочку. Марианна выключает свою.

Юхан. Спокойной ночи.

Марианна. Спокойной ночи, милый.

Юхан. Ты будильник завела?

Марианна. Ага. Чуть не забыла. (*Пауза.*)

Юхан! Если ты хочешь, чтоб мы...

Юхан. Спасибо за приглашение, но я уже сплю. Спокойной ночи, милая.

Марианна. Спокойной ночи.

3 ПАУЛА

На даче. Поздний вечер.

Марианна уже легла и вот-вот заснет. Услышав, что к дому подъехала машина, она моментально открывает глаза и сна как не бывало. Как подброшенная, вскакивает с кровати и в одной рубашке мчится вниз по лестнице. Юхан входит с веранды и ставит на пол свой маленький чемоданчик.

Не успевает он снять пальто, как она кидается ему на шею и, прижав к себе, несколько раз крепко целует.

Марианна. Уже приехал? А говорил, не раньше чем завтра утром. Вот здорово! Есть хочешь? Господи, а я уже бигуди накрутила. Какой ты молодец, что приехал. Девочки уже спят, мы рано легли. По телевизору

ничего не было, и мы с удовольствием завалились. У нас, понимаешь, был сегодня разгрузочный день. Хочешь омлет? А может, просто хлеба с паштетом и пива?

Юхан. Спасибо. Хорошо бы.

Марианна. А может, хочешь чего-нибудь поосновательней? Могу сделать яичницу с ветчиной. Или суп разогреть.

Юхан. Нет, самое бы лучшее бутерброд с пивом. Тебе, кстати, привет от Петера с Катариной. В понедельник они будут звонить тебе на работу.

Марианна. Жуткая предстоит волынка. Вот бедняги.

Юхан. Значит решили все же разводиться? А у меня создалось впечатление, что они сами не знают, чего хотят.

Марианна. По-твоему, это так уж странно? Я просила, чтобы каждый взял себе отдельного адвоката, но они не желают. Может, пойдешь сразу переоденешься на ночь, а я бы принесла поднос прямо в спальню.

Юхан. Нет, давай посидим лучше на кухне.

Марианна. А я тут все беспокоилась, что ты на меня разошелся.

Юхан. Почему я должен был разозлиться?

Марианна. Будто не знаешь. Вспомни наш вчерашний разговор по телефону.

Юхан. Ах это. Да ну, подумаешь.

Марианна. Я тут же перезвонила, но ты, наверно, отключил телефон.

Юхан. Я ужасно вчера устал. Целый день таскался по институту с неким деятелем из министерства. Просто поразительно, что за идиоты распоряжаются у нас государственным деньгами и решают наши судьбы.

Марианна. Как хочешь, а я считаю, что вела себя вчера ужасно глупо. Я это признаю.

Юхан. Ну и что? Наплевать и забыть.

Марианна. Интересный ты человек, никогда почему-то не хочешь довести разговор до конца. Ладно, я вовсе не собираюсь быть женой-занудой. Я только хочу сказать, что ты совершенно прав. И я тоже права. По-своему. Ты не желаешь мучиться в смокинге — ну что ж, это твое личное дело. Тут ты совершенно прав. Но с другой стороны, все-таки тебе не мешало купить новый смокинг.

Юхан. Мне не нравится смокинг. Мне в нем неудобно. По-моему, это совершенно идиотский наряд. В смокинге я чувствую себя ряженой обезьяной.

Марианна. Ага. Помню, помню. *(Смеется.)* Ну хорошо, не будем, а то еще опять поссоримся. Я тебя и такого люблю, без смокинга. Наш брак из-за этого не рухнет.

Юхан. Вчера, по крайней мере, казалось, что рухнет.

Марианна. Я же признала, что вела себя глупо. Господи, смотреть не могу без зависти, как ты ешь. Пожалуй, позволю себе один бутербродик. Не могу удержаться. Меня прямо

тошнит от голода. За последнюю неделю я похудела почти на два кило. Заметно? **Юхан.** Нет.

Марианна. Зато очень даже ощутимо. Иногда я думаю, а зачем, собственно, все это надо, полнейшая бессмыслица. Зачем отказывать себе во всех земных удовольствиях? Почему нельзя быть большой, и толстой, и добродушной? Ты только представь, какие бы мы с тобой стали сразу симпатичные. Помнишь тетю Мириам и дядю Давида? До чего же они были оба симпатичные и в каком согласии жили, а уж какие были оба толстяки. И каждый вечер они укладывались в свою огромную двуспальную скрипучую кровать и держались за руки, и каждый радовался, что у него есть другой, такой вот именно толстый и добродушный. Почему бы нам не стать, как тетя Мириам с дядей Давидом, парочкой солидных толстяков, излучающих довольство и благополучие? Хочешь, я сниму бигуди?

Юхан. Ничего, не стесняйся.

Марианна. Я и правда стесняюсь. Я же знаю, что ты их терпеть не можешь. И хватит на сегодня разговоров. Пойдем-ка, милый, укладываться. Ты ведь, наверно, ужасно устал, да и мне что-то спать хочется, хоть я и успела немножко вздремнуть. Ты чего, Юхан? Ты чем-то расстроен? Что-нибудь случилось? Ну что такое? Ну скажи мне.

Юхан. Я не просто так приехал. У меня к тебе важный разговор. Дело в том, что я полюбил другую женщину. Смешно, конечно, да и вообще из этого, скорей всего, ни черта не выйдет. Познакомился я с ней на конгрессе еще в июне. Она работала там переводчицей и стенографисткой. То есть вообще-то она кончает сейчас институт. Будет преподавать славянские языки. Внешне она ничего собой не представляет. Ты бы, наверно, даже сказала, что она просто некрасивая. И я сам не знаю, что из всего из этого выйдет. Вообще ничего не знаю. Я в полной растерянности. С одной стороны, мне, конечно, хорошо и радостно. Хотя я, конечно, чувствую себя страшно виноватым перед тобой и детьми. У нас ведь была хорошая семья. Ну, в том смысле, что не лучше и не хуже, чем у большинства людей. Чего же ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь, черт возьми!

Марианна. Что я могу сказать?

Юхан. Ты, конечно, считаешь, я поступил некрасиво, что не сказал тебе об этом раньше. Но я и сам не знал, как все сложится. Я думал, может, это просто увлечение. Мне не хотелось тебя зря тревожить.

Марианна. Как странно.

Юхан. Что странно?

Марианна. Что я ничего не понимала. Ни о чем не догадывалась, ничего не замечала. Ведь все было, как обычно. Даже, я бы сказа-

ла, лучше, чем обычно. Ты был такой ласковый. Вот дура доверчивая! Даже и не подозревала! Кошмар какой-то.

Юхан. Да, действительно, ты ни о чем не догадывалась. Но ты ведь никогда не отличалась проницательностью. Особенно в смысле наших с тобой отношений.

Марианна. Ну и что же дальше?

Юхан. Не знаю.

Марианна. Ты хочешь развестись? Собираешься на ней жениться? Кстати, почему ты примчался сказать мне об этом именно сегодня вечером? Почему такая спешка?

Юхан. Завтра вечером мы уезжаем в Париж.

Марианна смотрит на него, молчит.

Юхан. Мне хочется сбежать подальше. Хотя бы на время. Я все равно собирался туда поехать, только попозже. Мне надо встретиться с Гранденом и его ассистентом. А Паула получила какую-то там стипендию и думала использовать ее именно осенью. А я хочу быть с ней. Я не могу без нее. Так что завтра вечером мы с ней уезжаем.

Марианна смотрит на него, молчит.

Юхан. Сейчас вот, когда я рядом с тобой, когда я снова дома, мне больше всего хочется послать все к черту. Ничего во мне сейчас нет, ничего я не чувствую, кроме страха и усталости.

Марианна смотрит на него, молчит.

Юхан. Трудно представить себе что-нибудь глупее, банальнее и комичнее. Я ведь знаю, что ты сейчас думаешь, и мне, конечно, нет оправдания.

Марианна. Откуда ты знаешь, что я сейчас думаю?

Юхан. Я стараюсь избавиться от угрызений совести. Ведь как там ни крути — это всего лишь своего рода кокетство. Что есть, то есть, Марианна. И ничего тут не попишешь.

Марианна смотрит на него, молчит.

Юхан. Лучше вообще не говорить. Слова тут ни к чему. Толкового все равно ничего не скажешь. Теперь ты знаешь всю правду, и это главное.

Марианна. Ничего я не знаю и знать не хочу. Пойдем-ка лучше спать. Поздно уже. А тебе, наверно, рано подниматься.

Юхан. В девять у меня совещание.

Марианна. Пора, значит, укладываться. Пойдем.

Они поднимаются по лестнице в спальню. Марианна, уже сидя в постели, смотрит, как Юхан раздевается. Он чувствует себя неловко под ее взглядом, имеются явные улики — следы зубов у него на груди. Отягчающее

вину обстоятельство.

Марианна. У тебя на груди остались следы.

Юхан. Я знаю.

Марианна (*улыбаясь*). Очень бестактно с вашей стороны.

Юхан. Ты не знаешь, мой серый костюм здесь или в городе? Я что-то не мог его найти.

Марианна. Он в химчистке.

Юхан. Вот досада.

Марианна. Ты хотел взять его с собой?

Юхан. Естественно.

Марианна. Квитанция у меня здесь. Он должен быть готов, так что можешь забрать, если хочешь.

Юхан. Я не успею. До трех у меня весь день расписан, а потом уже и времени не остается.

Марианна. Если хочешь, я сама могу приехать забрать. Заодно и соберу тебя, если ты не против. Ты ведь у меня бестолковый.

Юхан. Спасибо. Не надо.

Марианна (*улыбаясь*). Глупый ты.

Юхан. Да, я действительно немного старомоден.

Марианна. Ну а в остальном все необходимое у тебя, по-моему, есть. Рубашки и белее можешь захватить с собой и отсюда, все выстирано. А что если тебе поехать в блейзере и фланелевых брюках? И красиво, и очень тебя молодит.

Юхан. Ты считаешь? Ну что ж, можно.

Марианна. А ты надолго?

Юхан. Смотря по обстоятельствам.

Марианна. То есть?

Юхан. В институте мне дали отпуск на полгода. А до того у меня будет командировка. Получится месяцев семь-восемь самое меньшее.

Марианна (*убита*). Ох.

Юхан. По-моему, нам пойдет на пользу, если мы основательно отдохнем друг от друга.

Марианна. Ты думаешь, что застанешь меня, когда вернешься?

Юхан. Застану, не застану — мне плевать.

Марианна. Понятно.

Юхан. А хочешь знать, сколько уже времени все это продолжается? Я имею в виду не Паулу, а сколько уже я ношусь с мыслью сбежать и от тебя, и от детей, и от этого дома. Ты не догадываешься?

Марианна (*смотрит на него испуганно*). Не надо, не говори.

Юхан. Целых четыре года я все ходил и размышлял, как бы от тебя избавиться. И не то чтобы я стал плохо к тебе относиться. Не думай, пожалуйста.

Марианна (*натягивает простыню, закрывая лицо*). Не надо больше, не говори.

Юхан. Да, ты права. Лишний разговор.

Марианна. На что же ты будешь жить? Ну то есть то время, пока не будешь работать?

Тебе же все-таки придется и на детей приглядывать.

Юхан. Можешь не беспокоиться. Мне вполне хватит.

Марианна. Значит, у тебя должны быть какие-то побочные доходы, про которые я не знаю.

Юхан. Точно, Марианна. Ты угадала.

Марианна. Но как же это могло быть?

Юхан (в бешенстве). Ну, так слушай, черт дери, хотя тебя это вообще не касается. Впервые, я продал яхту, а во-вторых, взял в кредит в банке. Фрид был настолько любезен, что дал мне. С первого сентября банк выплачивает тебе и детям тысячу сто крон ежемесячно. Пока я в отъезде. Потом, когда я вернусь, мы подумаем, как лучше все устроить. Можешь посоветоваться с кем-нибудь из твоих коллег-адвокатов. Мне все равно. Сама назначишь цену. Барахло мне ни к чему, я не возьму ни единой вещи, разве что свои книги, если ты не возражаешь. Я просто исчезну, улечусь, поняла? Дематериализуюсь. Я буду платить, сколько только смогу, чтобы ты с детьми ни в чем не нуждались. Самому мне ничего не надо. Мне одно важно — вырваться на волю. Если б ты только знала, как мне все это обрыдло! Все эти бесконечные разговоры про то, что мы будем делать, что мы должны сделать, что нам надо принять в расчет. Что скажет твоя мама. Что скажут дети. Как нам устроить обед, и не следует ли все же пригласить моего папу. Что надо поехать на воды Фалькенберг. Что надо съездить на курорт в Санкт-Мориц. Что надо отпраздновать рождество, пасху, троицу, дни рождения, именины, целую прорву этих проклятых праздников. Я знаю, что я несправедлив. Знаю, что несущ сейчас черт те что. Знаю, что жили мы с тобой хорошо. И в сущности, я тебя, мне кажется, по-прежнему люблю. В каком-то смысле даже больше, чем прежде, с тех пор, как я встретил Паулу. Я точно знаю. Но можешь ли ты понять это чувство ожесточения? Я не знаю, как это еще назвать. Ожесточение — я не могу сейчас подобрать более точного слова. И никто ничего не может мне растолковать по той простой причине, что мне и поговорить-то не с кем, кроме как с Эриком Бромесом, а он ведь, так сказать, душевно неграмотный, и чем он мне может помочь, кроме денег, хотя в данной ситуации и это не лишнее.

Марианна. Почему же ты ничего мне не говорил?

Юхан. А как сказать про то, чему и названия-то нету? Как сказать про то, что скучно спать с тобой, хотя в физическом смысле все происходит как надо? Как сказать про то, что так и хочется тебя ударить, когда ты сидишь утром за кухонным столом, вся такая чистенькая и аккуратненькая, и кушаешь свои яички всмятку? И эти девчонки,

эти избалованные пигалицы со своими капризами, фокусами и требованиями. Почему мы их так избаловали, зачем так тряслись над ними? Можешь ты мне сказать? Я тебя не обвиняю, Марианна. Просто все пошло к черту. И никто не знает, отчего.

Марианна. Наверно, я все время делала что-то не так.

Юхан. Да брось ты. Очень, конечно, удобно — всегда брать вину на себя. Кто берет вину на себя, тот, выходит, и сильный, и великодушный, и возвышенный, и смиренный. Ни ты не виновата, ни я не виноват. И не стоит щеголять раскаянием и угрызениями совести, хотя один черт знает, до чего меня эта совесть замучила, ни вздохнуть-ни охнуть... Слепой случай, и ничего больше. Почему именно нам с тобой удалось бы избежать унижений и катастроф? Все вполне логично. И ни к чему говорить про ошибки и вину.

Марианна. Бедный ты, бедный.

Юхан. Я не нуждаюсь в твоём сочувствии. И, пожалуйста, не прикасайся ко мне. Наверно, все это одно притворство с моей стороны. Ну то есть мои разлагательствования. Ни слова истины. Да и нет вообще никакой однозначной истины. Кругом одна сплошная рана. И всякое движение, всякое слово причиняет боль.

Марианна. А ты не можешь не ездить?

Юхан. Исключено.

Марианна. Но если я тебя очень, очень попрошу?

Юхан. Не трудись, ты толькоставишь нас обоих в неловкое положение.

Марианна. Но ты не можешь хотя бы отложить, хотя бы на несколько месяцев? Ты не оставляешь мне никакой надежды. Я думаю, мы еще сможем все наладить. Мы могли бы, мне кажется, найти какую-то новую форму нашей совместной жизни. Паула, наверное, сумела бы меня лучше понять. Нам бы надо с ней встретиться и поговорить. Глупо рвать все как раз в тот момент, когда мы наконец стали откровенны друг с другом. Разве не лучше пережить катастрофу вдвоем? Мы слишком много потеряем, разрушив то, что построили. Ты не имеешь права отнимать у меня последнюю надежду, Юхан. Нехорошо вот так взять и поставить меня перед фактом. Ты бросаешь меня в смешном и невыносимом положении. Ты должен меня понять.

Юхан. Я совершенно точно знаю, что ты имеешь в виду. Что скажут родители? Что подумает моя сестра? Как прореагируют знакомые? Вот уж будет разговоров! Все косточки переомоют. И в каком положении окажутся девочки, и что подумают мамы их подруг. И как же теперь с обедами, на которые мы приглашены в сентябре и октябре. И что тебе сказать Катарине с Петером.

А мне плавать! Я намерен поступить, как последний негодяй, и представляю, как это будет здорово!

Марианна. Да я ведь совсем про другое.

Юхан. Про что же, интересно?

Марианна (*тихо*). Ни про что.

Они улеглись в свою двуспальную кровать и погасили свет. Ни он, ни она не могут заснуть, долгое время лежат молча, не шевелясь, в глубокой подавленности. Полнейшая тишина.

Марианна. Я забыла завести будильник. Тебе в котором встать?

Юхан. Поставь, пожалуйста, на полшестого. Надо еще успеть кое-что собрать, а к девяти мне уже в институт, с утра у нас совещание.

Марианна. Все никак не куплю новый. Этот так трещит, что инфаркт можно получить. Да и надеяться на него нельзя. Ну вот, на полшестого. Вообще-то я всегда сама просыпаюсь, без будильника. Ты не беспокойся. (*Неожиданно.*) Расскажи мне про Паулу.

Юхан. Зачем тебе это надо?

Марианна. Просто хочется.

Юхан. И охота тебе устраивать такое самоистязание.

Марианна. Никакое это не самоистязание. Мне хочется знать, какая она. Гораздо мучительнее ходить и думать про кого-то безликого. У тебя есть ее фотография? Наверняка ведь есть.

Юхан. Марианна, ради бога...

Марианна. Ну прошу тебя. Мне так правда легче. Пойми.

Юхан. Ну смотри, пеняй потом на себя. Где же у меня бумажник? Ах да, в пиджаке. Ну вот. Тут две фотографии. Эта вот сделана два года назад, когда она ехала в отпуск на Черное море. А это фотография на паспорт, совсем недавняя, какой-нибудь месяц назад. По-моему, она тут довольно похожа.

Марианна. Отличная фигура. Грудь очень уж хороша. Это так?

Юхан. Да, грудь у нее красивая.

Марианна. А волосы у нее крашенные? Такое впечатление, что крашенные.

Юхан. Я как-то про это не думал, но очень может быть.

Марианна. И улыбка приятная. Сколько ей?

Юхан. Двадцать три. Ей не слишком везло в любви. Она дважды была помолвлена и, судя по всему, вела вообще довольно беспорядочную жизнь и не отличалась разборчивостью.

Марианна. Тебя это мучает?

Юхан. Еще бы. Выслушивать откровенности бывает не слишком приятно. Я предпочел бы ни о чем не знать, но она упорно хочет поведать мне свою эротическую автобиографию. Иногда я просто еле сдержи-

ваюсь. Ревность к прошлому — мучительная штука, кто знает, что это такое. Она ни во что хорошее не верит. Все твердит, что и насчет меня не питает никаких иллюзий. Что я, мол, все равно вернусь к тебе, что ей с тобой не тягаться. Иногда будто слушаешь старую, скверную, надоевшую пьесу, в которой знаешь чуть не наизусть каждую реплику. У нее это просто форма самозащиты, потребность заранее оградить себя от неудач. Даже трогательно. Она, надо сказать, во многом еще ребенок, несмотря на свои двадцать три года, на весь свой ум и самостоятельность. Она дико ревнива, но я ведь тоже, так что в этом отношении мы друг друга стоим. Тебя она просто ужасно боится, хотя это-то как раз можно понять. Но она боится и моей секретарши, и всех женщин, с которыми, она знает, я так или иначе общаюсь. Она вообще не отличается уверенностью в себе. Я стараюсь быть для нее поддержкой. Но я ведь не привык и часто теряюсь.

Марианна. А в смысле постели у вас все хорошо?

Юхан. Сначала было просто ни к черту. Дело, конечно, и во мне самом. Опыта-то, можно сказать, никакого, ну то есть с другими женщинами, а мы с тобой слишком избаловали друг друга. Я вообще ничего не мог. Но она говорила, что никто еще не был с ней так ласков и нежен. Я даже собирался порвать, хоть и был влюблен. Я ведь понимал, что если не смогу спать с ней, то и всем нашим отношениям конец. Но она пришла в такое отчаяние, когда я ей сказал. Я боялся, как бы она чего над собой не сделала. Ну а потом мы с ней уехали на неделю.

Марианна. Уехали?..

Юхан. Ну помнишь, я в апреле уезжал в Копенгаген читать лекции.

Марианна. Ах, значит еще тогда. В апреле.

Юхан. По вечерам мы напивались и вообще вели себя по-свински. Дрались, скандалили, пока нас наконец не выдворили из отеля. Помнишь, я еще рассказывал, что мне пришлось сменить гостиницу, потому что улица была очень шумная. Мы сняли номер в каком-то подозрительном заведении, и вот там-то мы вдруг обрели друг друга и уже не смогли оторваться. Она сказала мне тогда, что ей еще никогда и ни с кем не было так хорошо. Мне это, естественно, придало уверенности. Я знаю, про что ты сейчас думаешь, Марианна, и так оно и есть. И у нас с тобой все стало лучше после той копенгагенской поездки.

Марианна. Пауле ты про это говорил?

Юхан. Нет, не решился. Я ей еще раньше сказал, что мы с тобой давно уже не живем. Что я был импотентом. Приврал, конечно, но ведь с ней-то я был импотент, так почему бы не притвориться, что и с тобой тоже. Но Паулу не проведешь, интуиция у

нее просто потрясающая. Может, конечно, и я не слишком здорово умею врать. Только она сразу видит, когда я говорю неправду. И вообще. Она прямо-таки насквозь меня видит. Для меня даже полезно. Делаю кое-какие выводы.

Марианна. Да, я всегда была слишком доверчива.

Юхан. Дело не только в доверчивости. И ты и я — оба мы отгородились от жизни, от действительности и существовали в замкнутом пространстве, надежно защищенном от влияния извне. Все было прилажено, подогнано, ни единой щелочки. Мы задохлись от недостатка кислорода.

Марианна (улыбаясь). А теперь, значит, ты надеешься, что твоя юная Паулочка воскресит тебя из мертвых.

Юхан. Я не слишком-то хорошо разбираюсь сам в себе и совсем плохо разбираюсь в жизни, хоть и прочитал столько книг. Но что-то мне подсказывает, что происшедшая с нами катастрофа может обернуться для нас с тобой спасением.

Марианна. Это, что ли, твоя Паула внушает тебе подобные глупости? Нельзя же, знаешь, быть до того уж наивным.

Юхан. Сейчас, я думаю, мы могли бы обойтись без шпилек и гадостей.

Марианна. Ты прав. Извини, пожалуйста.

Юхан. Я стараюсь, пойми ты, стараюсь быть как можно более открытым. Это нелегко. Мы же никогда не говорили с тобой о таких вещах. И я считаю, тут нам позволительно быть и наивными и глупыми. А как же иначе? Эта история с Паулой — самая настоящая катастрофа. И для тебя, и для меня. Я сколько раз пытался вырваться, и все безуспешно. Она меня не отпускает, а... я одержим ею. Говорит, что ты кем-то «одержим», — звучит, конечно, идиотски, как в плохой мелодраме. Но это единственно точное слово. Вначале я еще боролся, а теперь — пусть все идет к черту. Меня лично такое положение вполне устраивает.

Марианна. Я только об одном прошу: отложите вашу поездку.

Юхан. Паула ни за что не согласится на отсрочку, а я — как она. Все решено.

Марианна. А нельзя мне с ней повидаться?

Юхан. И что это даст? Она, кстати, просто слышать про тебя не может. Я даже имя твое упоминать не решаюсь.

Марианна. Да, положеньице у тебя.

Юхан. Ну это как посмотреть. Нам очень хорошо друг с другом. Она такая живая, непосредственная и ко мне очень ласкова. И тем для разговоров у нас всегда масса. А в промежутках — самые настоящие оргии. Я даже начинаю беспокоиться, не вредно ли для здоровья. Я ведь всю жизнь был такой пай-мальчик, такой разумный, уравновешенный,

осмотрительный. Не знаю. Ничего я не знаю.

Марианна. Иди ко мне. Ну иди. Ну что тебе, трудно? Ради старой-то дружбы.

Она выключает настольную лампочку у кровати. За окном уже рассветает. Бурные объятия. Она издает стон наслаждения. Потом вдруг раздражается слезами, плачет, лежа на боку, спрятав лицо в ладони. Быстро застывает и успокаивается, крепко и в то же время нежно обнимает своего мужа и целует его много, много раз. Они глядят друг на друга с глубокой нежностью и отчаянием.

Марианна. Положи мне голову на плечо, и давай уснем. Мы так ужасно устали.

Юхан. Мне все равно, наверное, не заснуть. Лучше бы выпить сейчас кофе, собраться и сразу уехать.

Марианна. Нет, нет, положи вот так голову и закрой глаза. Заснешь, вот увидишь. Надо хоть немножко поспать. Завтра у нас очень трудный день.

Юхан. Мне так стыдно.

Марианна. Не надо сейчас про это. Сейчас ничего этого нет, только ты и я. Эта ночь — наша с тобой, только наша. Только ты и я.

Наконец они засыпают обнявшись.

Марианна едва вздремнула и пробуждается мгновенно, словно от толчка. Мысль о случившемся обрушивается на нее всей своей тяжестью. Она замирает не дыша, пытаясь переждать первый приступ тоски, но боль все нарастает. Лучше уж двигаться. Она осторожно поворачивается, высвобождается из объятий мужа, протягивает руку к будильнику и нажимает на кнопку. До полшестого еще несколько минут. Юхан спит крепко, дышит глубоко, но на лице застыла мучительная гримаса. Облокотясь на подушку и подперев рукой голову, она долго смотрит на него, а будильник над ухом все тикает и тикает, отсчитывая последние секунды.

Время истекло, и пора будить Юхана. Она легонько трогает его за плечо. Он сразу просыпается. Неуверенно протягивает руку и привлекает ее к себе. Она пассивно подчиняется, но сама как каменная. Несколько мгновений они лежат в этой позе, потом он отпускает ее, рывком садится в постели, встает, идет в ванную и включает электробриту. Марианна сидит в оцепенении, придавленная тяжестью собственного тела, ей кажется, что весит она сейчас все две тонны, потом идет к мужу в ванную и встает под второй душ. Юхан не торопится вылезать из-под душа, моется долго и основательно, потом они стоят рядом на полу, молчаливые, голые, чужие, и вытираются своими красивыми, яркими махровыми полотенцами. Марианна расчесывает перед зеркалом свои длинные волосы, сначала гребенкой, потом щет-



кой. Юхан идет обратно в спальню и начинает одеваться.

Марианна. Начнем укладываться или ты сначала позавтракаешь? Что ты, кстати, будешь — чай или кофе?

Юхан. Как сама хочешь. Пожалуй, чай.

Марианна достает сверху из стенового шкафа чемодан. Юхан вынимает из другого шкафа костюм в дорогу (*блейзер и фланелевые брюки*) и еще кое-что из одежды. Марианна начинает обстоятельно все складывать и упаковывать. Юхан идет в ванную, причешивается и чистит зубы, возвращается с маникюрными ножницами.

Юхан. Помоги, пожалуйста. Ноготь сломался. Никак не получается.

Марианна идет за очками, подводит его к окну и принимается осторожно подстригать.

Марианна. Опять ты грызешь ногти.

Юхан. Ты не знаешь, куда подевались мемуары Шпера? Я оставлял на ночном столике, точно помню.

Марианна. Я думала, ты уже кончил, и да-

ла почитать маме.

Юхан. Так. Очень мило. Ой, черт!

Марианна. Пришлось побольше остричь. Он же сломан! Тут чуть-чуть кровь, давай заклею пластырем. И что ты делаешь со своими ногтями?

Юхан. Спасибо, не надо. И так сойдет.

Марианна. Бритву уложить или возьмешь ту, что в городе?

Юхан. Все равно придется еще заходить на квартиру, так что не надо.

Марианна. Квитанцию в химчистку возьмешь?

Юхан. Давай, пожалуйста. Может, я успею. А кстати, где это?

Марианна. На Стургатан, почти напротив церкви.

Юхан. А, знаю. Эти ботинки я с собой не потащу. Тяжесть такая.

Марианна. Зимой очень даже могут пригодиться. Пижамы какие возьмешь?

Юхан. Вот что. Ты давай там насчет завтрака, а я уж сам dokonчу.

Марианна. Ты чувствуешь себя неловко, что я тебе помогаю укладываться?

Юхан. Не стану отрицать, что, по-моему, в этом есть что-то неприличное.

Они принужденно смеются. Марианна надевает старые потертые брюки и свободную трикотажную рубашку на пуговицах. Юхан продолжает укладываться. Марианна стоит и смотрит на него, скрестив руки на груди. Молчание. Вдруг Юхан взрывается.

Юхан. Ну чего ты уставилась?

Марианна. Ничего. Извини.

Она тут же выходит из комнаты, предоставляя Юхану возиться самому. Его раздражение растет. Он пытается закрыть чемодан, ничего не выходит, тогда он вытаскивает зимние ботинки и с размаху швыряет их в угол.

Марианна хлопочет на кухне с завтраком, накрывает на стол, варит яйца, заваривает чай и поджаривает хлеб. Юхан проходит мимо с чемоданом, выходит на улицу к машине и швыряет чемодан в багажник. Марианна вовсе не хочет плакать, но слезы сами бегут из глаз, она торопливо утирает их, всхлипывает и берет себя в руки. Они садятся, привычно принимаются за еду, накладывают, наливают, передают. Марианна забыла поставить соль для яиц.

Марианна. Как мне быть с твоей почтой?

Юхан. Я тебе напишу и сообщу адрес. Самые важные письма я попрошу тебя пересылать мне. А счета и всякое такое — это все можно сделать через банк. Ты уж, пожалуйста, позаботься. Я буду тебе очень благодарен.

Марианна. Еще одно. Как насчет слесаря? Ведь до нашего приезда надо обязательно в ванной все починить. Ты с ним говорил или мне самой позвонить? Ты сказал, что договорился. Если ты вдруг забыл во всей этой суматохе, я сама постараюсь.

Юхан. Я раз десять ему звонил и никак не мог поймать. Так что вовсе я не забыл, как ты думаешь.

Марианна. А где будет это время машина? Поставишь ее в гараж?

Юхан. Я договорился с сестрой Паулы. Она как раз переехала за город, так что машина ей пригодится, зачем ей стоять без пользы.

Марианна. Понятно.

Юхан. У меня к тебе еще просьба. Ты не сможешь позвонить моему зубному и все отменить? А то я обязательно забуду.

Марианна. Это-то как раз не проблема. Меня другое беспокоит. Как теперь быть с днем рождения твоего отца в пятницу. Мы ведь обещали прийти. Я была бы очень тебе благодарна, если б ты сам позвонил и объяснил им. Позвони, пожалуйста, хорошо?

Юхан. Для меня это прямо нож острый. Я ему, пожалуй, лучше напишу.

Марианна. Главное — не забудь.

Юхан. Хуже нет, чем объясняться с родителями. Чувствуешь себя дурак дураком. Ну что им скажешь?

Марианна. Еще вот что. Что мне, по твоему, сказать фру Андерссон?

Юхан. Велика важность, что подумает какая-то там прислуга. Плевать я хотел.

Марианна. А злиться-то зачем?

Юхан что-то бормочет себе под нос.

Марианна. Она как-никак десять лет к нам ходит и очень нам предана, да и для нас она просто клад.

Юхан. А! (Пауза.) Ладно. Лучше, наверно, чтоб ты знала. Как-то утром она нас с Паулой застукала. Я не знал, что она с тобой договорилась прийти не в свой день, и пожалуйста — объявляется в спальне. Положение, прямо скажем, не из приятных. (Пауза.) Это было примерно месяц назад. У меня тогда машина сломалась, а мы как раз обедали в том районе, я и подумал, ничего страшного, если разок переночуем у нас дома. Ну что было делать?.. Отправился к старухе на кухню и стал уговаривать, чтоб держала язык за зубами. Старушеницю, прямо всю трясло от справедливого негодования и от обиды за тебя. А потом она даже приготовила нам завтрак и страшно суетилась и хлопотала. С Паулой она обращалась как с невинной жертвой моих животных инстинктов. Под конец я, сам не знаю как, сунул ей тридцать крон сверх ее обычных. Чего же ты молчишь?

Марианна. Значит, с фру Андерссон мне можно не говорить. И то хорошо.

Она встает и начинает убирать со стола. С грохотом складывает посуду в моечную машину. Вдруг замирает, стоит, низко опустив голову, с трудом переводя дыхание.

Юхан (ласково). Марианна, ты чего? Что с тобой?

Марианна. Ничего, сейчас пройдет.

Ему уже пора. Они стоят в передней, друг против друга. Он надевает пальто.

Марианна. Что мне сказать детям?

Юхан. Скажи что хочешь.

Марианна. Так и сказать, что ты полюбил другую женщину и бросил нас?

Юхан. По-моему, формулировка просто отличная. К тому же имеет то преимущество, что отражает истину. Я не жду, чтоб они меня поняли.

Марианна. Карин наверняка будет переживать. Она в последнее время очень к тебе привязалась. Только о тебе и говорит.

Юхан. Перестань меня растревлять. Думаешь, мне не больно? Ладно, надо ехать. Хочу проскочить, пока нет пробок. Ну пока, Марианна, береги себя.

Марианна. Пока.

Они продолжают стоять друг против друга, скованные страхом и нерешительностью. Он наклоняется к ней, хочет поцеловать ее в губы, но она отворачивается. Он усмехается.

Юхан. Не исключено, что через неделю я буду дома.

Марианна. Хорошо бы. Мы бы начали с тобой все сначала. Вытащили бы на свет божий всю нашу привычную, вялую повседневность. Поговорили бы обо всем, что было. Мы бы отыскивали, где сделали ошибку. Ты никогда не услышал бы ни одного упрека. Я обещаю. Я сейчас как во сне. Нет, я не могу поверить... Как же я теперь? Что же делать... Что делать... Не бросай меня. Обещай мне, что ты вернешься, ладно? Тогда я хоть что-то буду знать. Не оставляй меня без всякой надежды. Это несправедливо. Даже если ты не собираешься вернуться, то хоть скажет, что собирается.

Юхан. Мне надо идти, Марианна.

Он качает головой, глядя куда-то сквозь нее невидящим взглядом. Делает шаг, другой и выходит за дверь. Дверь захлопывается. Она стоит как стояла. В окно ей видно, как он садится в машину. Машина заводится не сразу, потом, будто через силу, трогается с места, выезжает за ворота, спускается по склону, заворачивает направо и скрывается за холмами. Марианна надолго замирает в той же позе, не в силах сделать ни шагу, будто каждое движение стоит ей отныне невероятных усилий. Наконец она идет на кухню, вынимает из моечной машины посуду, начинает расставлять по местам. Включает радио. Бросает все на полдороге и идет в детскую. Здесь царят тишина и сон. Она присаживается, сидит и смотрит на спящих детей.

Марианна (сама с собой). Не понимаю.

Нет, не понимаю.

Тут ей приходит в голову одна мысль. Она идет к телефону и набирает номер. Отвечают не сразу.

Марианна. Привет, Фредрик, это я, Марианна. Прости, что я вас разбудила. А Биргиту можно? Да нет, неважно. Пусть спит. Ну как вы там? Ясно. Любишь побыть в это время один? Нет, нет, не буду тебе больше мешать. Нет, тут у нас пасмурно. Ну что ж, завидую. Просто хотела поговорить с тобой об одном деле. Да нет, просто хотелось с кем-нибудь поговорить. Вы ведь с Биргитой наши друзья. А мне надо... мне надо... Это какой-то кошмар, Фредрик. Я не могу поверить... Будто во сне... Я без конца реву, а от этого мне еще тяжелее. Ну, дело в том, что Юхан полюбил другую. Ее зовут Паула, и вот теперь они уезжают в Париж, прямо сегодня. Ты не мог бы поговорить с Юханом? Может, уговоришь его не торопиться? Зачем же ему убежать сломя голову. Что, что? Уже говорил? Так, понятно. Понятно. Значит, вы с Биргитой с самого начала были в курсе? *С самого начала были в курсе и даже ничего мне не сказали?* Хороши друзья! Как же вы могли? Это ж свинство по отношению ко мне, самое настоящее предательство. И слушать ничего не хочу, не оправдывайся. Сколько встречались, болтали о чем угодно, а вы все знали — и мне ни слова? *(В ярости.)* Да пошли вы к чертовой матери, какие вы после этого друзья? Нужны мне твои объяснения! А кто еще знал? Много таких? Порядочно, говоришь? Ну что ж, спасибо, что просветил.

Она швыряет трубку.

Телефон звонит. Она не отвечает.

До боли закусывает руку, чтоб не разрыдаться.

1973 г.

(Продолжение следует)

АНОНС

ЧИТАЙТЕ в третьем номере журнала сценарий нового фильма

СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА

«РОССИЯ...»

«Моя задача в том, чтобы показать, что мы имели, но потеряли. То, что мы узнаем, переворачивает душу. Сегодня, издалека, кажется дьявольским наваждением то, что происходило с Россией в начале XX века. словно Господь отнял у людей разум...» — так говорит о своей работе С. Говорухин.

В 1991 г. фильм «Серый волк энд красная шапочка» выдвигнут на соискание премии «Оскар» американской академии киноискусства.



Гарри БАРДИН

Я с ним знаком пятьдесят лет. Он был школьником, рабочим, солдатом, студентом, артистом, драматургом. Сейчас он — сценарист и режиссер анимации. И вроде бы на этом успокоился. С годами лучше не становится. Я точно это знаю, потому что вижу его каждое утро. Когда бреюсь.

СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Еще до начала рассказа я хотел бы ввести читателя в курс дела. А дело в том, что фильм будет музыкальный, посему, читая сюжет, необходимо слушать ту или иную музыкальную тему, упомянутую в сценарии. Это несложно, потому что все темы будут давно знакомые и узнаваемые. Тексты новых стихов на старые темы обещал написать тоже знакомый вам Юрий Сергеевич Энтин.

А пока что никакой музыки нет, а есть мама и дочка, разворачивающие пакет с мукой. Мука сыплется в миску. Да! Совсем забыл описать, как выглядят мама и дочка. Так вот, дочка похожа на маму. А дочка — дуреха. И обе — из пластилина, как, впрочем, и остальные герои фильма. Неожиданно чихает дочка — и кадр заволакивается белым туманом, на нем первый титр —

**СЕРЫЙ ВОЛК
ЭНД КРАСНАЯ ШАПОЧКА**

Туман рассеялся. Мама, укоризненно покачивая головой, сует дочке платок, но тут сама чихает, подняв облако муки, — и пошел второй титр.

Дочка смеется над мамой, но сама не выдерживает — Апчи!

Титр.

Мама укоризненно грозит пальцем, но от сотрясения воздуха взвизгивает вверх мука, и мама очередной раз чихает. Очередной титр. Дочка собралась было чихать, но мама вовремя хватает ее за нос и радуется, что избежала чиханья. Не тут-то было! Чихает сама мама. Очередной титр.

Поднимаются две головы из-под стола, зажав себе носы. Переглядываются. Вроде пронесло. Отпускают носы. И попеременно неожиданно чихают. Титр.

Обе стоят над миской с мукой обнявшись. Рты раскрываются, закатываются глаза. Они от нас резко отворачиваются, но чих не наступил. Они поворачиваются к нам. Слезы текут по лицам. Облегченно вздыхают и улыбаются. Вот тут и наступает их страшный синхронный чих.

Последний титр.

Мы познакомились с мамой, дочкой, а теперь предстоит знакомство с Серым Волком. Он — олицетворение Зла в нашем фильме. Но в тот момент, когда мы с ним знакомимся, он не представляет ни для кого большой опасности. Почему? Да потому, что он беззуб. Тощий, голодный, но беззубый, он бродит

в поисках пищи, но и ту, что находит, разгрызть не может. Но вот — о чудо! — на поляне медицинский кабинет. И очереди почти нет. Заяц не в счет. Заяц только постучался, чтобы войти в дверь с нарисованным красным крестом, как Серый Волк останавливает незадачливого посетителя знакомой фразой:

— Ну, заяц, погоди!.. — и входит в кабинет.

В кабинете в этот день принимал известного доктор Айболит.

Начинается первый музыкальный номер под музыку английской песни «Чай вдвоем». Смысл номера и будущего написанного текста в том, что Волк, шамкая и пришепывая, требует от доктора Айболита вставной челюсти. Да не какой-нибудь, а металлической! Да еще чтоб была большая! Не просто большая, а такая большая, каких ни у кого нет! То есть самая большая и металлическая!

Доктор Айболит тянет время, говорит, вернее, поет о сложности работы, о нехватке материала. Одним словом, хитрит...

Оставим их и посмотрим, что делают мама с дочкой. А они месят тесто. И параллельно возникает вторая музыкальная тема. Она идет на музыку И. Дунаевского из фильма «Кубанские казаки» — «Урожайная». У нас она станет «Каравайная». В этом номере мама раскрывает дочери секреты кулинарного искусства караваепечения. Сколько чего надо положить, чтобы получилось то чудо, которым не стыдно было бы угостить бабушку...

Дочка послушно вторит маме, перенимая драгоценный опыт. При этом они месят, добавляют муки, воды, раскатывают. Здесь готовят доброе дело...

...А в медкабинете продолжается первая тема — и она не сулит ничего хорошего. Доктор, как гуманист, согласен сделать зубы, но маленькие, для еды. Но волк не согласен, ему зубы нужны не только для еды, вернее, не столько для еды, сколько для обороны. Вокруг них столько врагов! А кто защитит, как не он?! Да еще таких слабых! Он открывает дверь, показывая доктору сидящего у двери с перевязанной щекой зайца. И доктор, наивный либерал, соглашается.

Плачет огонь в печи. Звучит «Каравайная». Мама суетится у плиты. Подходит пирог. Дочка норовит попробовать. По рукам! Терпение! Но вот, наконец, румяный, с поджаристой корочкой, пыщущий жаром, появляется каравай! Мама и дочь завершают музыкальный номер ритуальным хороводом вокруг готового пирога...

...И готовы зубы. Ну до чего страшные! Ужас! Заяц, заждавшись, заглядывает в кабинет, но Серый, не прерывая беседы с доктором, захлопывает дверь.

Волк благодарит доктора, жмет ему руку. Растроганный доктор жмет пациенту лапу. Волк не знает, какими словами выразить свою благодарность, но доктор скромно останавливает его:

— Не надо благодарности.

Умилительная сцена заканчивается. Волк поворачивается, идет к двери, но в дверях не выдерживает, разворачивается...

Да и доктор хорош! Смахнул непрошеную слезу (свидетельство старческой сентиментальности) и широко распахнул руки для объятий. Волк подошел к доктору. Жалко расставаться с таким благородным человеком!

Поэтому Волк опустил одну его руку, потом другую...

И отправил доктора Айболита к себе в пасть. Целиком.

Потом распахнул дверь кабинета.

— Следующий! — выкрикнул Волк.

— Я — к доктору, — нерешительно сказал Заяц, оглядывая кабинет.

Волк гостеприимно распахнул пасть.

— Прошу.

И Заяц отправился к «доктору». Закончилась музыкальная тема «Чай вдвоем».

А в другом месте началась другая тема — «Подмосковные вечера» В. Соловьева-Седого. На эту музыку будет написано напутствие мамы.

Путь дочке предстоит неблизкий. Если верить Ш. Перро, то бабушка живет во Франции. Именно туда внучка и понесет кулинарное чудо. Главное, не сбиться с дороги. Мама указывает направление, где, по ее представлению, находится Франция. Во-вторых, дает наставление: опасаться Серого Волка. Мама снабжает дочку фотографией Волка в фас и в профиль. Дочка, кажется, все поняла. Во всем случае, обещает маме выполнять все ее советы, живой, с пирогом, прийти до Франции и, также живой, но без пирога, вернуться домой. Дочка, подхватив музыкальную тему, а заодно и пирог, пошла в направлении, указанном мамой.

Но вдруг мама, о чем-то вспомнив, выскочила из кадра, потом, вернувшись, нагнала дочку и нахлобучила ей на голову красную шапочку.

Вот теперь порядок! Есть Красная Шапочка, есть пирог, есть Серый Волк и где-то во Франции бабушка.

Именно о любви к своей бабушке поет, с трудом неся пирог, Красная Шапочка. Идет прямо, вернее, напролом во Францию...

...А в это время Серый Волк, используя



музыкальную тему разбойника Мекки-Мессера из «Трехгрошовой оперы», воспеваает зубы, но не акулы, а свои.

И вообще, наличие зубов гораздо лучше, чем отсутствие оных. Но уж когда они есть, да еще такие огромные, то об этом должны знать все! И бояться! Иначе зачем они, зубы?!!

И тут судьба сталкивает Красную Шапочку и Серого Волка. Пауза.

Красная Шапочка кланяется Волку, сняв шапочку. А в шапочке, на дне, фотография особо опасного Волка. Девочка так долго сличала изображение с оригиналом, что оригинал, заинтересовавшись, заглянул тоже в шапочку. Увидев там свое суровое обличье, Серый Волк расплылся в добродушной, металлической улыбке. Так он действительно стал не похож на фотографию, и Красная Шапочка, успокоившись, водрузила шапочку на голову.

А Волк не торопился глотать новую жертву. Красная Шапочка, убедившись, что это не тот Волк, не убежала, но держалась от него на почтительном расстоянии. Все-таки волк. Диалог начался на знакомой теме «Чай вдвоем».

Волка интересовало: кто такая, откуда и куда идет и что несет.

Наивная девочка (так часто, чтобы не обидеть, называют дур) все рассказала (про-

пела) про бабушку, про пирог, который ни в коем случае есть нельзя. Ну, в крайнем случае, Волк придет в гости к бабушке, там и попробует. Не успел Волк спросить: «А с чем пирог?», как совсем где-то рядом раздался хор охотников из оперы Вебера «Волшебный стрелок».

А вскоре появились и охотники с ружьями! Но их увидела только Красная Шапочка. Серого Волка как ветром сдуло.

Оглянувшись Красная Шапочка и пошла дальше во Францию, распевая о любви к незнакомой бабушке на мотив «Подмосковных вечеров».

Все стихло, когда на поляне появился Серый Волк.

Да! Надо сказать, что габариты Серого Волка очень выросли с начала фильма. Двигаться ему стало труднее, но вид он имел уже внушительный, когда в обратную сторону пошли охотники со своей музыкальной темой. Волк замечен!!!

Хор охотников распался, зато возникла погоня на музыку И. Штрауса «Полька».

И погнался Волк между деревьями в овраг, из оврага — на полянку... А на полянке оказались Крокодил Гена с Чебурашкой. А рядом с Геней лежала гармошка. Рассуждать было некогда. Волк сунул гармошку Гене в лапы, сам лег, на него сели Чебурашка

с Крокодилем.

Когда влетели охотники, Гена уже пел знакомые всем, в том числе, наверно, и охотникам, куплеты своей деньрожденной песни.

Охотники потеряли след, кончилась «Полька», Штрауса вместе с погоней.

Пел только Гена, увлекшись музыкой В. Шаинского и стихами А. Тимофеевского. Увлёкся настолько, что не заметил, как был проглочен Чебурашка. Волк аккуратно взял из лап Крокодила гармошку. Добродушный Гена продолжал петь, не веря до конца в коварство Серого Волка. Ведь можно петь и без гармошки. Так и отправился с песней вслед за Чебурашкой. Без гармошки, но с трубкой.

Отдыхавшись, Серый Волк вернулся к своей музыкальной теме из «Трехгрошовой оперы». О чем он пел? Он пел о том, что потерял Красную Шапочку, а вместе с ней — и это главное! — пирог. Петь Волку мешали клубы дыма, валившие у него из пасти. Волк кашлял, но пел.

Виною всему был Крокодил Гена, дымивший в животе у Волка своей трубкой.

Не прерывая пения, Волк наполнил из лужи, внутри у него зашкворчала и погасла трубка.

Крокодил Гена повертел сырой трубкой и выкинул ее на улицу через пасть.

А Серый Волк продолжал горевать о пироге. Но тут его осенило! Зачем ему Красная Шапочка? Ему нужна бабушка! Именно туда идет пирог! Во Францию! К бабушке!

— Во Францию! К бабушке! — пела Красная Шапочка пограничнику у пограничного столба.

Пока она рассказывала ему, кто она такая и откуда идет, пограничник деловито проводил таможенный досмотр. Проверил наличие металла, просветил на рентгене пирог. Отдал честь и пропустил Красную Шапочку за границу.

Да, вторая часть фильма проходит за границей. Это сейчас модно. А нам это трудно: никаких командировок, только игра воображения.

Итак, заграница.

Появляется из-под земли заграничный кротишко, но тут же поднимается на воздух и исчезает в пасти Серого Волка. Да! Он здесь! Он торопится. Он должен успеть раньше Красной Шапочки оказаться во Франции.

Но тут, как назло, появляются всякие вкусные персонажи.

То хотел было проскочить, но не успел, Дональд Дак.

А вот возникла музыкальная тема «Трех поросят», а вот и сами поросята.

Серый Волк торопится, но не может отказать себе в удовольствии.

Не допели поросята свою бесстрашную песню «Нам не страшен Серый Волк».

Нет, все-таки страшен. Проглотил — и дальше, дальше, дальше.

Но идти становилось все труднее. В брюхе у Волка бунтовали и бурлили не смирившиеся со своей трагической судьбой жертвы.

Красная Шапочка брела из последних сил. Непомерно большой пирог то ставила на голову, то несла, прижимая к боку. Только любовь к бабушке толкала ее вперед.

С семью гномами, возвращавшимися с работы и распевавшими свою песню, Волк церемониться не стал. Дождь, когда они все оказались на мосту, поднял мост вместе с гномами и ссыпал их себе в пасть, как горох. И не то чтобы есть хотелось, а так, по привычке. Непомерно растянутое брюхо Волка уже ходило ходуном, когда впереди показалась Франция.

А в это время бабушка — изящная француженка — лежала в постели. Старая, большая женщина пудрилась, глядя в зеркальце, и напевала знакомый шансон из репертуара ее молодости (Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете»). Кстати, пела она, насколько я понимаю, на чистом французском языке.

Вдруг раздался стук.

Бабушка быстро сняла очки, достала из стакана вставную челюсть, покрасила губы, напялила парик, чтобы спросить:

— Кто там? (по-французски).

Серый Волк, стараясь подражать Красной Шапочке, рассказал, вернее, спел на знакомую тему «Чай вдвоем» про то, что она шла из дому и несла от мамы гостинец — пирог для бабушки.

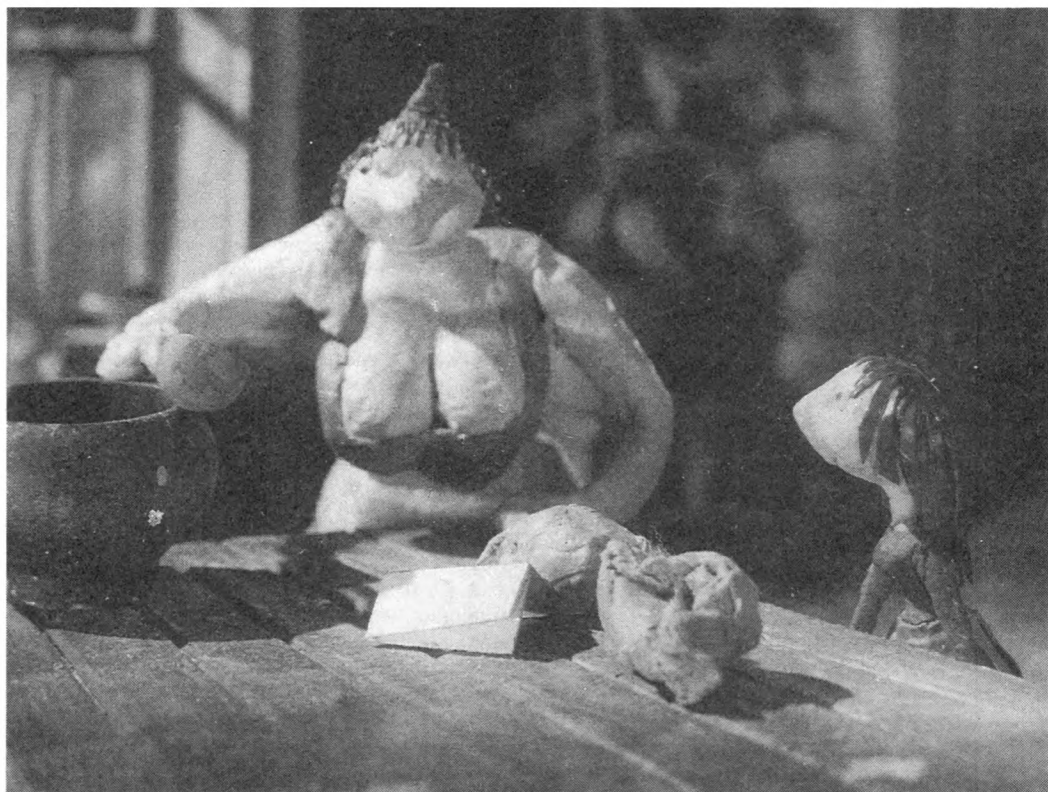
Бабушка совмещала в себе маразм и подозрительность.

Потому что только в маразме можно было принять сипатый рецитатив Волка за нежное пение внучки. Бабушка пела на очень ломаном русском языке, а Волк пел очень громко. Ему казалось, что так будет понятнее. Он торопил события, потому что вдалеке уже слышны были «Подмосковные вечера». Наконец бабушка, убедившись окончательно, что за дверью стоит внучка, распорядилась дернуть за веревочку.

Мы только можем догадываться, что последовало за этим.

Грустно, конечно. Но бабушка свое отжила, а вот Красную Шапочку мне лично очень жаль. Идет издалека, юная-юная, несет с таким трудом пирог бабушке, а бабушки уже нет. Очень жаль. Но не будем забегать вперед.

Пока что Красная Шапочка стучит в дверь. За дверью раздается такое бабушкино «Кто там?» — что Красная Шапочка от



неожиданности роняет пирог.

Пирог с грохотом упал, но не сломался. Потому что черствый, потому что издалека.

«Бабушка» лежит в парике, напевает «Жизнь в розовом свете». При этом фальшивит безбожно. И лупит периодически себя по животу, который совершенно вышел из подчинения. Красная Шапочка на ломаном французском языке поет о том, кто она и зачем пришла. И ей разрешили дернуть за веревочку.

Что же увидела Красная Шапочка? На маленькой постели лежала большая «бабушка» с огромным шевелящимся животом. Но Красная Шапочка видела бабушку первый раз в жизни. К тому же женщины во Франции, может быть, все такие? Бабушке не терпелось ухватить пирог, внучка не препятствовала. И вот «бабушка» вонзила два ряда металлических зубов в пирог.

Произошло непоправимое!

«Бабушка» осталась сама по себе, а челюсть с пирогом — сами по себе. Волк вскрикнул! Парик сбился на сторону! Красная Шапочка увидела истинное лицо, вернее, морду не своей бабушки!

Волку уже терять было нечего. Он поднялся и угрожающе пошел на Красную Шапочку. Красная Шапочка отступала все

дальше, дальше.

« Вот порог... ступеньки...

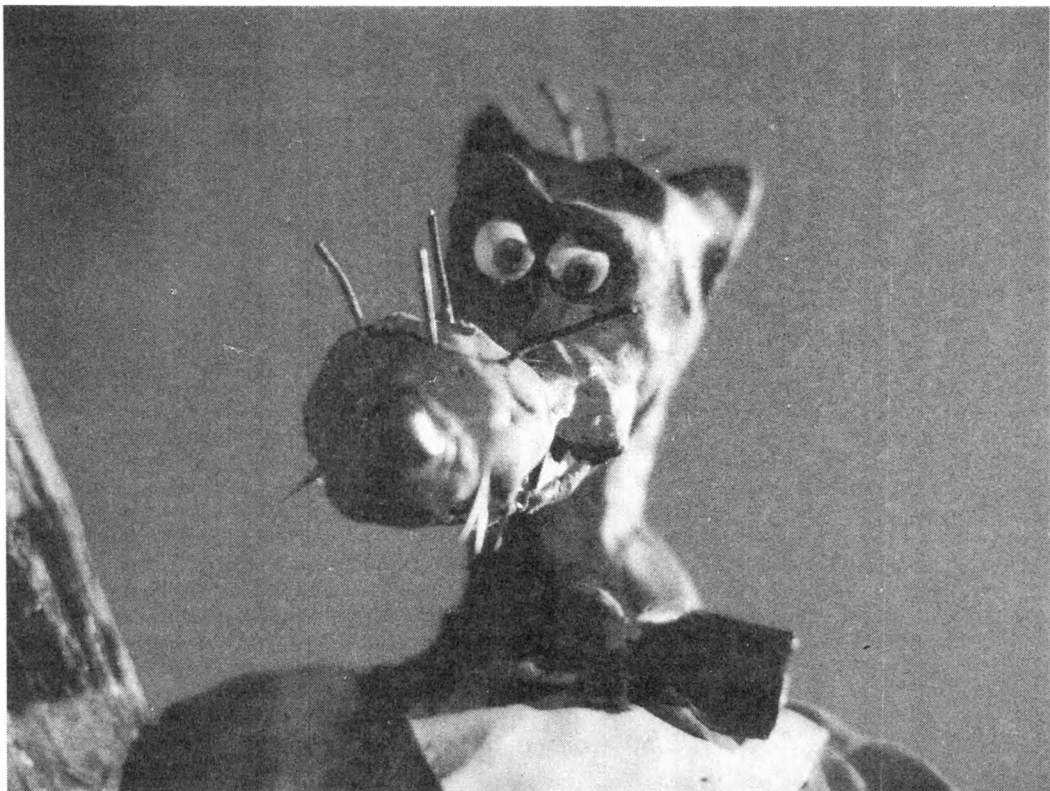
Споткнулась! Скатилась! Упала! Закрывает руками глаза! И замерла...

Огромная туша Волка вывалилась на крыльцо. Он сделал еще шаг по направлению к Красной Шапочке... Но тут! Возмущение проглоченных достигло своего предела!

И если до этого брюхо Волка исходило буграми и доносился гул голосов, то сейчас гул превратился в рев. А усилия свои они объединили и бились дружно то в одну сторону, то — в другую. Волк лишь тупо переводил взгляд с одного толчка на другой. И вдруг пузо со страшным треском лопнуло!

Под финальные звуки рок-оперы «Христос — супер стар» распахнулся, как занавес, Серый Волк.

Толпы проглоченных персонажей, наших и зарубежных, ликовали, кричали, обнимались, радуясь обретенной свободе. Бабушка прижимала к себе Красную Шапочку. Из этого ликования возникли бравурные звуки марша из фильма «Бабетта идет на войну». Неизвестно откуда, но у героев нашего фильма оказались в руках плакаты, транспаранты, цветы и воздушные шарик. Они дви-



нулись стройными колоннами. На многих транспарантах была изображена огромная металлическая челюсть, перечеркнутая двумя жирными черными чертами.

О чем они пели? О том, что нужно держаться вместе и тогда нам действительно не будет страшен никакой волк.

А что Волк? Он торопился догнать демонстрацию. Брюхо у него было зашнуровано, как ботинок. Он снова был тощий и беззубый.

Волк с трудом догнал последнюю шеренгу. Пристроился. Взял ногу. И запел. Вместе со всеми. Но при этом глаза его кого-то

выскивали в толпе. Нашел! Он пробрался поближе к доктору Айболиту и показал на свой беззубый рот. Но интеллигент и бывший либерал Айболит скрутил фигу и бесстрашно сунул ее в нос беззубому агрессору.

Стройно пели демонстранты, дружно шагали по планете, оставляя слева и справа от себя пограничные столбы, а к ним, слева и справа, пристраивались все новые и новые любимые старые персонажи из мультфильмов.

1988 г.

**ЖУРНАЛ «КИНОСЦЕНАРИИЙ»
ИЩЕТ СПОНСОРА**

СОДЕРЖАНИЕ

Сценарии

- 3 *В. Кунин*
РЕБРО АДАМА
- 37 *В. Тодоровский*
ЛЮБОВЬ
- 69 *М. Шептунова*
ПРЕКРАСНАЯ ДАМА
- 90 *И. Бергман*
СЦЕНЫ ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
- 122 *Г. Бардин*
СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Над номером работали:

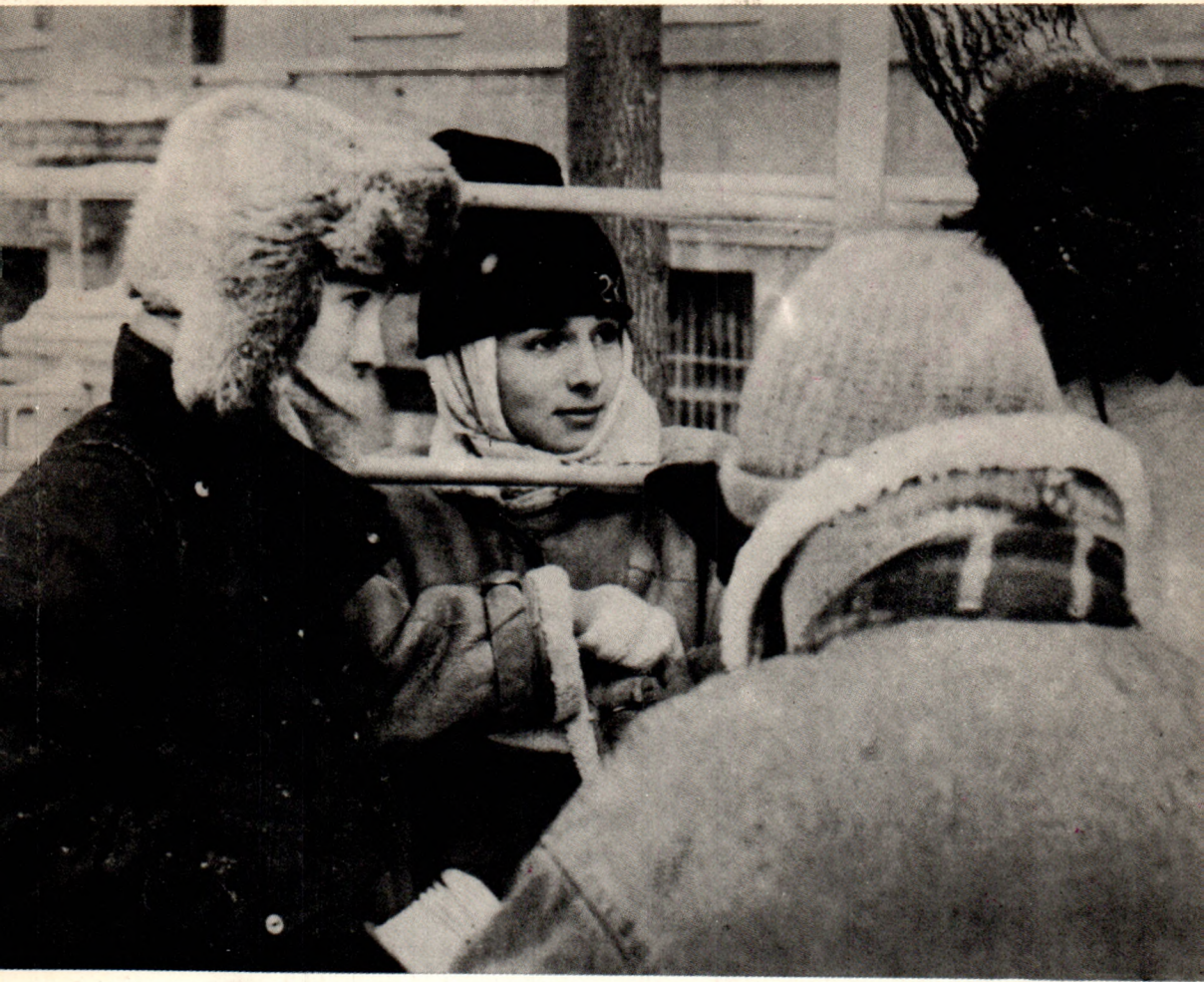
**Н. РЮРИКОВА, Л. МАРКОВА, Т. ПОКРОВСКАЯ,
И. МОСКАЛЕВА, М. СЕРГИЕНКО,
И. ШОРСТКИНА, Н. БОЛЫЧЕВА**

Обложку оформил художник А. М. ПОЛЯК

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. По всем вопросам подписки и доставки журнала обращаться в местные отделения «Союзпечать». О типографском браке сообщать в Чеховский полиграфический комбинат.

Сдано в набор 28.01.92. Подписано в печать 04.03.92.
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 18,16.
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типогр. «Сыктывкар».
Гарн. таймс. Заказ 133. Цена 2 р. 00 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр»
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01.
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Министерства печати и информации Российской Федерации
142300, г. Чехов Московской области



Киносценарии 2'92

